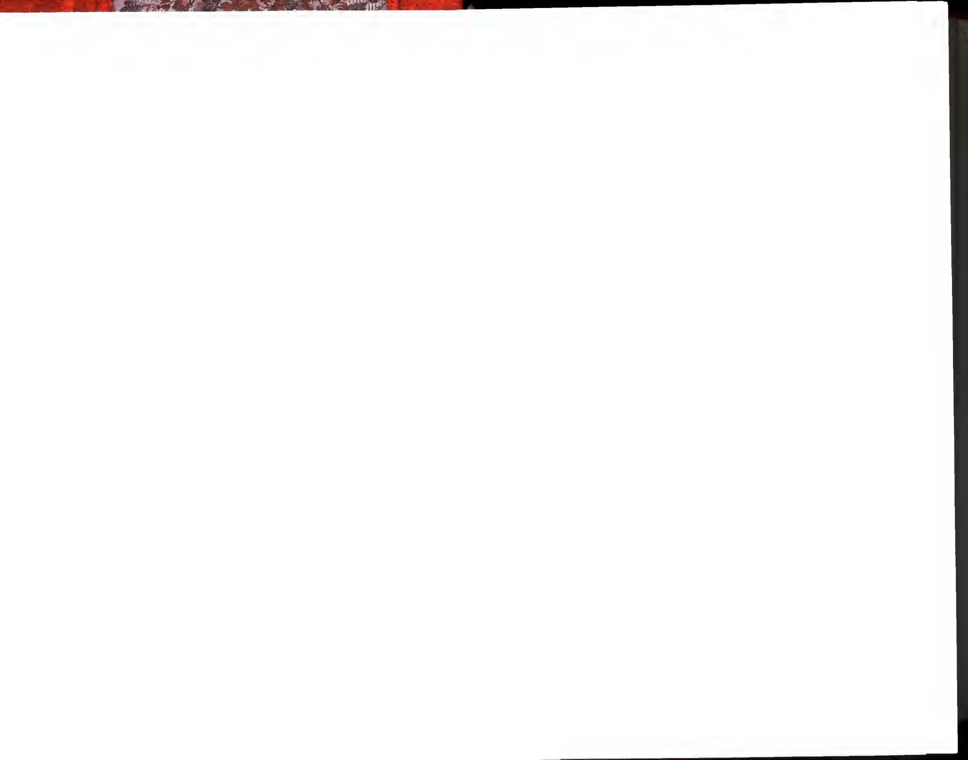

СОВРЕМЕННИКИ И КЛАССИКИ
Герберт
УЭЛЛС
Чудотворец



Герберт
УЭЛЛС

Чудотворец

Астрель
МОСКВА

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)
У98

Серия «Современники и классики»

Перевод с английского

Уэллс, Г.
У98 Чудотворец : [пер.с англ.] / Герберт Уэллс. — М.: Астрель, 2012. — 349, [3] с. — (Современники и классики).

ISBN 978-5-271-41915-7

Впервые под одной обложкой здесь собраны все лучшие рассказы создателя мировой фантастики Герберта Уэллса, разбросанные ранее по многим его сборникам. В славной викторианской Англии шерлок-холмсовской эпохи вдруг обрушиваются дикие происшествия на головы благонамеренных британцев. И все это получает сугубо логические объяснения.

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

ISBN 978-5-271-41915-7

9 785271 419157

Подписано в печать 30.01.12. Формат 84x108 1/32.
Тираж 5000 экз. Заказ № 4224025

ООО «Издательство «Астрель»
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

Издание осуществлено при техническом участии
ООО «Издательство АСТ»

НОВЕЙШИЙ УСКОРИТЕЛЬ

ЧУДОТВОРЕЦ

Весьма сомнительно, чтобы этот дар был врожденным. Лично я считаю, что он появился у него неожиданно. Ведь до тридцати лет этот человек был заядлым скептиком и не верил в чудотворные силы.

А теперь, за неимением более подходящего места, я упомяну здесь, что рост у него был маленький, глаза карие, а волосы рыжие и вихрастые; кроме того, он обладал усами, которые закручивал вверх, и большим количеством веснушек. Его звали Джордж Макуиртер Фодерингей — имя отнюдь не из тех, которые сулят чудеса, — он служил клерком в конторе Гомшотта. Он очень любил по всякому поводу доказывать свою правоту, и его необычайный дар обнаружился именно в тот момент, когда он категорически заявил, что чудеса невозможны.

Этот спор завязался в баре «Длинного дракона», и оппонент мистера Фодерингея, Тодди Бимиш, парировал все его аргументы довольно однообразным, но весьма действенным утверждением: «Это по-вашему так», — чем совсем вывел его из себя.

Кроме них двоих, в баре были запыленный велосипедист, хозяин заведения Кокс и мисс Мейбридж — в выс-

шей степени порядочная и весьма корпулентная буфетчица «Дракона». Мисс Мейбридж стояла спиной к мистеру Фодерингею и мыла стаканы. Остальные же смотрели на него, забавляясь тщетностью его попыток доказать свою правоту.

Доведенный до белого каления торрес-ведрасской тактикой мистера Бимиша, мистер Фодерингей пустил в ход все свое красноречие.

— Послушайте-ка, мистер Бимиш, — сказал он. — Давайте разберемся, что такое чудо. Это нечто не совместимое с законами природы и произведенное усилием воли, нечто такое, что не могло бы произойти, если бы кто-то не сделал подобного усилия.

— Это по-вашему так, — сказал мистер Бимиш победоносно.

Мистер Фодерингей воззвал к велосипедисту, который до сих пор слушал молча, но теперь выразил свое согласие, смущенно кашлянув и взглянув на мистера Бимиша. Хозяин отказался высказать свое мнение, но когда мистер Фодерингей вновь повернулся к мистеру Бимишу, тот неожиданно согласился с таким определением чуда, хотя и со значительными оговорками.

— Например, — сказал, воспрянув духом, мистер Фодерингей, — чудом было бы следующее: вот та лампа, согласно законам природы, не может гореть, если ее перевернуть вверх дном, не так ли, Бимиш?

— Это по-вашему не может, — ответил Бимиш.

— А по-вашему как? — воскликнул Фодерингей. — Значит, по-вашему она...

— Да, — неохотно согласился Бимиш, — не может.

— Отлично, — продолжал мистер Фодерингей. — Допустим, кто-то приходит, ну хотя бы я, например, становится здесь и, собрав всю силу воли, говорит этой лампе, вот как я сейчас скажу: «Перевернись вверх дном, но не разбейся и продолжай гореть и...» Ой!

Тут было из-за чего воскликнуть «Ой!» Невозможное, невероятное свершилось у всех на глазах. Перевернувшись вверх дном, лампа повисла в воздухе и продолжала

спокойно гореть, а ее пламя было обращено вниз. Это был факт столь же достоверный и неоспоримый, как и сама эта лампа, обыкновенная лампа в баре «Длинного дракона».

Мистер Фодерингей стоял, вытянув вперед указательный палец и сдвинув брови, как человек, ожидающий неизбежной катастрофы. Велосипедист, который сидел ближе всех к лампе, пригнулся и перепрыгнул через стойку. Все повскакали с мест. Мисс Мейбридж обернулась и взвизгнула.

Около трех секунд лампа продолжала спокойно висеть.

Затем мистер Фодерингей испустил стон, исполненный мучительной тревоги:

— Я больше не могу удерживать ее!

Он попятился, перевернутая лампа выбросила язык пламени, стукнулась об угол стойки, отлетела в сторону, разбилась об пол и погасла. К счастью, резервуар у нее был металлический, иначе начался бы пожар.

Первым молчание нарушил мистер Кокс. Если отбросить излишнюю крепость выражений, смысл его слов сводился к тому, что Фодерингей дурак, но мистер Фодерингей находился в таком состоянии, что не стал оспаривать даже столь абсолютное утверждение. Он был слишком ошеломлен случившимся. Тут заговорили и другие, но не пролили света ни на суть дела, ни на роль в нем мистера Фодерингея. Общее мнение совпало с мнением мистера Кокса, но было выражено еще более бурно. Все обвиняли Фодерингея в глупой проделке и доказывали ему, что он легкомысленно нарушил покой окружающих и подверг их жизнь опасности.

Мистер Фодерингей до того растерялся и смутился, что был готов с ними согласиться, и, когда ему предложили удалиться восвояси, он не оказал почти никакого сопротивления.

Он брел домой, красный, как рак; ворот его пиджака был измят, глаза щипало, уши пылали. Он с беспокойством косился на каждый из десяти уличных фонарей, мимо которых ему пришлось пройти. И только очутив-

шись в уединении своей маленькой спальни на Черч-роу, он наконец собрался с мыслями и, припомнив все обстоятельства вечера, спросил себя: «Что же все-таки случилось?»

К этому времени он уже снял пиджак и ботинки и теперь сидел на краю кровати, засунув руки в карманы, в семнадцатый раз повторяя в свое оправдание: «Я же не хотел, чтобы эта проклятая лампа перевернулась!»

Но тут он вспомнил, что, произнося слова команды, бессознательно пожелал, чтобы его приказ исполнился и что потом, увидев лампу в воздухе, почувствовал, что поддерживать ее в таком положении должен тоже он, хотя и не понимал, каким образом.

Если бы мистер Фодерингей отличался философским складом ума, он непременно принялся бы размышлять над словами «бессознательно пожелал», поскольку они охватывают сложнейшие проблемы волевого акта; но он не был склонен к абстрактным размышлениям, и эта мысль была настолько смутной, что он принял ее безоговорочно. Затем, опираясь на нее, он — как я должен признать, без особой логики — прибегнул к проверке опытом.

Решительным жестом мистер Фодерингей протянул руку к свече, сосредоточился, хотя чувствовал, что делает глупость, и сказал:

— Поднимись!

В то же мгновение сомнения его исчезли: свеча поднялась и на какой-то миг повисла в воздухе, а затем вслед за его ошеломленным «Ах!» с громким стуком ударилась о тумбочку, оставив мистера Фодерингея в полной темноте, если не считать тлевшего фитиля.

Некоторое время мистер Фодерингей сидел в темноте и не шевелился.

— Значит, так оно и было, — проговорил он наконец. — Но в чем тут дело, не пойму.

Тяжело вздохнув, он начал рыться в карманах, отыскивая спички. Не найдя их, он поднялся и стал обшаривать тумбочку.

— Хоть бы одну найти, — сказал он.

Он взялся за пиджак, но и там спичек не было, и тут ему пришло в голову, что чудеса можно творить даже со спичками. Он вытянул руку и в темноте, грозно нахмурившись, произнес:

— Пусть в этой руке будет спичка.

Ему на ладонь упал какой-то легкий предмет, и он зажал его в кулаке.

После нескольких неудачных попыток зажечь спичку мистер Фодерингей обнаружил, что она безопасная. Он бросил ее, и тут же ему пришло в голову, что она загорится, если он того пожелает. Он пожелал, и спичка вспыхнула на салфетке, постланной на тумбочке. Он поспешно схватил ее, но она погасла. Сообразив, что его возможности далеко не исчерпаны, Фодерингей ощупью нашел свечу и вставил ее в подсвечник.

— А ну-ка зажгись! — приказал он, и в ту же секунду свеча загорелась, и он увидел в салфетке черную дырочку, над которой курился дымок.

Некоторое время мистер Фодерингей глядел то на дырочку, то на свечу, а потом, подняв глаза, встретился взглядом со своим отражением в зеркале. Несколько секунд он с его помощью безмолвно общался со своей душой.

— Ну а что вы сейчас скажете насчет чудес? — спросил он наконец вслух, обращаясь к отражению.

Последующие размышления мистера Фодерингея носили хотя и напряженный, но весьма смутный характер. Насколько он понимал, ему достаточно было пожелать, и его желания тут же исполнялись. После того, что случилось, он не был склонен рисковать и решался только на самые безобидные опыты. Он заставил листок бумаги взлететь в воздух и окрасил воду в стакане в розовый, а затем в зеленый цвет. Кроме того, он создал улитку, которую тем же чудодейственным способом сразу уничтожил, и сотворил для себя новую зубную щетку. Когда миновала полночь, он пришел к выводу, что его воля должна быть на редкость сильной. Разумеется, он это и раньше подозревал, хотя и не был твердо уверен, что прав. Испуг и растерянность первых часов теперь сменились гордостью от со-

знания своей исключительности и от туманного предчувствия возможных выгод.

Неожиданно до его сознания дошло, что куранты на церковной башне бьют час ночи, и, поскольку он не сообразил, что чудесным образом может избавиться от необходимости пойти утром в контору Гомшотта, он стал раздеваться дальше, чтобы поскорее лечь в постель.

Он уже начал стаскивать рубашку, но тут его внезапно осенила блестящая мысль.

— Пусть я окажусь в постели, — произнес он и очутился там.

— Раздетый, — тут же поправился он и, почувствовав прикосновение холодных простыней, поспешно добавил:

— И в ночной рубашке... Нет, не в этой, а в хорошей, мягкой, из тонкой шерсти. А-ах! — вздохнул он удовлетворенно. — А теперь я хочу уснуть сладким сном...

Проснулся он в обычное время и за завтраком был задумчив: все, что произошло с ним накануне, начало казаться ему необыкновенно ярким сном. Тогда он решил проделать еще несколько безопасных опытов. Так, например, за завтраком он съел три яйца: два, поданные хозяйкой — приличные, но все же чуточку лежалые, и третье — превосходное гусиное яйцо, снесенное, сваренное и поданное на стол его чудодейственной волей.

Мистер Фодерингей поспешил в контору Гомшотта в состоянии сильного волнения, которое он тщательно скрывал. И о скорлупе третьего яйца он вспомнил лишь вечером, когда о ней заговорила хозяйка. Весь день чудесные свойства, которые он открыл в самом себе, не давали ему спокойно работать, однако это не навлекло на него никаких неприятностей, так как вся работа была выполнена за последние десять минут при помощи чуда.

К вечеру удивление сменилось глубокой радостью, хотя ему по-прежнему неприятно было вспоминать обстоятельства его изгнания из «Длинного дракона», тем более что сильно приукрашенный рассказ об этом событии дошел до его сослуживцев и вызвал немало шуток. Мистер Фодерингей пришел к выводу, что хрупкие вещи следует

поднимать с большой осторожностью, зато во всех остальных отношениях его дар обещал ему все больше и больше. В частности, он решил пополнить свое имущество, неприметно сотворив кое-что. Он уже создал пару великолепных бриллиантовых запонок, но тут же поспешно уничтожил их, так как к его конторке подошел Гомшотт-младший. Мистер Фодерингей опасался, что Гомшотт-младший может заинтересоваться, откуда они у него. Он ясно сознавал, что должен пользоваться своим даром осторожно и осмотрительно, но, насколько он мог судить, это было не труднее, чем научиться ездить на велосипеде, а эти трудности он уже преодолел. Быть может, именно эта ассоциация идей даже в большей степени, чем предчувствие холодной встречи в «Длинном драконе», побудила его после ужина отправиться в проулок за газовым заводом и там втихомолку поупражняться в сотворении чудес.

Пожалуй, опыты мистера Фодерингея не отличались оригинальностью, так как, если не считать его необычайного дара, он был самым заурядным человеком. Он вспомнил чудо с жезлом Моисея, но вечер был темный и неподходящий для присмотра за огромными сотворенными змеями.

Затем он припомнил чудо из «Тангейзера», о котором однажды прочитал в концертном зале на обороте программы. Оно показалось ему очень приятным и безопасным. Он воткнул свою трость — превосходную пальмовую трость — в траву у дорожки и приказал этой сухой деревяшке зацвести. В то же мгновение воздух наполнился ароматом роз, и, чиркнув спичкой, мистер Фодерингей убедился, что это прекрасное чудо было повторено. Его радость была прервана звуком приближающихся шагов. Боясь, что его чудодейственный дар будет обнаружен преждевременно, он поспешно скомандовал зацветшей трости:

— Назад!

На самом деле он хотел сказать: «Стань снова тростью», — но второпях оговорился.

Трость стремительно понеслась прочь, и приближавшийся человек издал сердитый возглас, подкрепив его смачным словцом.

— В кого это ты швыряешься колючими ветками, дурак? Всю ногу мне исцарапал!

— Простите, — начал мистер Фодерингей, но, сообразив, что объяснения могут только еще больше испортить дело, смутился и начал нервно теребить усы.

К нему приближался Уинч, один из трех полицейских, охраняющих покой Иммеринга.

— Тебе что, нравится палками швыряться? — спросил полицейский. — А! Да это вы! Лампу в «Длинном драконе» вы разбили?

— Нет, не нравится. Совсем нет, — ответил мистер Фодерингей.

— Так зачем же вы швырнули эту палку?

— Угораздило же меня! — воскликнул мистер Фодерингей.

— Вот именно! Она ведь колючая! Для чего вы ее швырнули, а?

Мистер Фодерингей растерянно пытался сообразить, для чего он ее швырнул. Его молчание, по-видимому, раздражало мистера Уинча.

— Вы понимаете, что вы совершили нападение на полицейского, молодой человек? На полицейского!

— Послушайте, мистер Уинч, — с досадой и смущением сказал мистер Фодерингей. — Мне очень жаль... Дело в том, что...

— Ну?

Мистер Фодерингей так и не сумел ничего придумать и решил говорить правду.

— Я творил чудо... — Он старался говорить небрежным тоном, но из его усилий ничего не получилось.

— Творил чу... Что это еще за чушь!.. Творил чудо! Смех, да и только. Да ведь вы тот самый молодчик, который не верит в чудеса... Значит, опять устроили дурацкий фокус! Ну, вот что я вам скажу...

Однако мистеру Фодерингею так и не пришлось услышать, что именно хотел сказать ему мистер Уинч. Он понял, что выдал себя, разгласил свою драгоценную тайну! Злость придала ему энергии. Он яростно крикнул, шагнув к полицейскому:

— С меня довольно! Я вам сейчас покажу дурацкий фокус! Отправляйтесь-ка в преисподнюю! Марш!

И в то же мгновение он остался один.

В этот вечер мистер Фодерингей не творил больше чудес и не пытался даже узнать, что стало с его расцветшей тростью. Испуганный и притихший, он вернулся домой и прошел прямо к себе в спальню.

— Господи! — пробормотал он. — Какой же сильный дар! Просто всесильный! Я вовсе этого не хотел... Интересно, какая она, преисподняя?

Мистер Фодерингей сел на кровать, чтобы снять сапоги, и тут ему пришла в голову счастливая мысль. Он переправил полицейского в Сан-Франциско, а затем, предоставив события их естественному ходу, уныло лег спать. Ночью ему снился разгневанный Уинч.

На следующий день мистер Фодерингей услышал две интересные новости. Во-первых, кто-то посадил великолепный куст вьющихся роз перед самым домом мистера Гомшотта-старшего на Ладдабороу-роуд; а во-вторых, реку до самой мельницы Роудинга собираются обшарить, чтобы найти тело полицейского Уинча.

Весь день мистер Фодерингей был рассеян и задумчив и чудес больше не творил, если не считать нескольких распоряжений относительно Уинча и того, что он при помощи чуда безупречно выполнял свою работу, несмотря на беспокойные мысли, роившиеся в его голове, словно пчелы. Его необычная рассеянность и подавленность были замечены окружающими и сделались предметом шуток, а он все время думал об Уинче.

В воскресенье вечером Фодерингей пошел в церковь, и, как нарочно, мистер Мейдиг, который интересовался оккультными явлениями, произнес проповедь о «деяниях

противозаконных». Мистер Фодерингей не особенно усердно посещал церковь, но его стойкий скептицизм, о котором я уже упоминал, к этому времени значительно поколебался. Содержание проповеди пролило совершенно новый свет на его недавно открывшиеся способности, и он внезапно решил сразу же после окончания службы обратиться к мистеру Мейдигу за советом. Приняв это решение, он удивился, почему не подумал об этом раньше.

Мистер Мейдиг, тощий, нервный человек с очень длинными пальцами и длинной шеей, был явно польщен, когда молодой человек, чье равнодушие к религии было известно всему городку, попросил разрешения поговорить с ним наедине. Поэтому мистер Мейдиг, едва освободившись, провел мистера Фодерингея к себе в кабинет (его дом примыкал к церкви), усадил его поудобнее и, став перед весело пылавшим камином, — при этом ноги его отбрасывали на противоположную стену тень, напоминавшую колосса Родосского, — попросил изложить свое дело.

Мистер Фодерингей смутился, не зная, как начать, и некоторое время бормотал фразы вроде: «Боюсь, едва ли вы мне поверите, мистер Мейдиг...» Но потом собрался с духом и спросил, какого мнения он придерживается в вопросе о чудесах.

Мистер Мейдиг внушительно произнес «видите ли», потом еще раз повторил это слово, но тут мистер Фодерингей перебил его:

— Думаю, вы не поверите, чтобы самый обыкновенный человек, например, вроде меня, сидящего вот тут, перед вами, умел с помощью какой-то внутренней своей особенности творить усилием воли всякие чудеса.

— Это возможно, — сказал мистер Мейдиг. — Что-нибудь в этом роде, пожалуй, возможно.

— Если вы разрешите мне воспользоваться какой-нибудь вашей вещью, я покажу вам это на деле, — сказал мистер Фодерингей. — Вот, например, банка с табаком, там, на столе. Будет ли чудом то, что я собираюсь с ней сделать? Одну минутку, мистер Мейдиг.

Сдвинув брови, он протянул палец к банке с табаком и произнес:

— Стань вазой с фиалками!

Банка с табаком послушно выполнила приказание.

Увидев такое превращение, мистер Мейдиг вздрогнул и застыл на месте, поглядывая то на чудотворца, то на вазу с цветами. Он ничего не сказал. Наконец он все-таки решился нагнуться над столом и понюхать фиалки: они были только что сорваны и необыкновенно красивы. Затем он опять устремил взгляд на мистера Фодерингея.

— Как вы это сделали? — спросил он.

Мистер Фодерингей подергал себя за усы.

— Просто приказал, и вот вам, пожалуйста! Что это: чудо, или черная магия, или что-нибудь еще? Что это со мной, как вы думаете? Об этом-то я и хотел спросить вас.

— Явление это в высшей степени необычное.

— А неделю назад я не больше вашего знал, что способен на это. Все получилось совсем неожиданно. Моя воля, наверное, обладает каким-то странным свойством, а больше я ничего не знаю.

— Вы только вот это способны делать? А больше ничего?

— Да сколько угодно! — воскликнул Фодерингей. — Все, что хотите!

Он задумался и вдруг вспомнил фокус, который когда-то видел.

— Вот, пожалуйста! — Он протянул руку. — Наполнись рыбой... Нет-нет, не это! Стань прозрачной чашей, полной воды, и чтобы в ней плавали золотые рыбки! Так-то лучше. Видите, мистер Мейдиг?

— Удивительно! Невероятно! Или вы необыкновенный... Впрочем, нет...

— Я мог бы превратить эту вазу во что угодно, — сказал мистер Фодерингей. — Во что угодно. Смотрите! А ну-ка, стань голубем!

В следующее мгновение сизый голубь уже порхал по комнате и вынуждал мистера Мейдига наклоняться всякий раз, когда пролетал мимо него.

— Замри! — приказал мистер Фодерингей, и голубь неподвижно повис в воздухе.

— Я могу превратить его опять в вазу с цветами, — сказал он и, спустив голубя снова на стол, сотворил и это чудо.

— Вам, наверное, скоро захочется выкурить трубку. — И с этими словами он восстановил банку с табаком в ее первоначальном виде.

Мистер Мейдиг наблюдал за этими последними превращениями в молчании, которое было красноречивее всяких слов. Теперь он поглядел круглыми глазами на Фодерингея, осторожно поднял банку с табаком, осмотрел ее и опять поставил на стол.

— Мм-да!.. — только и мог он сказать.

— Ну, теперь мне будет легче объяснить, зачем я пришел сюда... — И Фодерингей принялся сбивчиво и многословно рассказывать о странных событиях последних дней, начав с происшествия в «Длинном драконе», но то и дело перескакивал на судьбу Уинча, чем сбивал слушателя с толку.

По мере того как он рассказывал, гордость, вызванная в нем изумлением мистера Мейдига, исчезла, и он опять стал самым обыкновенным мистером Фодерингеем, каким его знали все.

Мистер Мейдиг внимательно слушал, сжимая в руках банку с табаком, и выражение его лица постепенно менялось. Когда мистер Фодерингей дошел до чуда с третьим яйцом, священник, подняв дрожащую руку, перебил его.

— Это возможно! — воскликнул он. — Вполне вероятно. Конечно, это поразительно, зато позволяет объяснить некоторые совершенно загадочные явления. Способность творить чудеса есть дар, особое свойство, вроде гениальности или ясновидения. До сих пор оно встречалось очень редко, и только у исключительных людей. Но в данном случае... Меня всегда приводили в недоумение чудеса Магомета, йогов и госпожи Блаватской... но теперь все стало ясно. Да, это особый дар! И как превосходно это доказывает правоту рассуждений нашего великого мыслителя, — мистер Мейдиг понизил голос, — его светлости герцога

Аргайльского. Здесь мы проникаем в тайны, более глубокие, чем обыкновенные законы природы. Да... Так продолжайте, продолжайте же!

Мистер Фодерингей стал рассказывать о неприятном инциденте с Уинчем, а священник, уже забывший недавнее благоговейное изумление и испуг, то и дело прерывал его удивленными восклицаниями и жестами.

— Вот как раз это меня и беспокоит больше всего, — продолжал мистер Фодерингей. — Именно по этому поводу я хочу получить у вас совет. Уинч сейчас в Сан-Франциско, где это, я не знаю, но он, конечно, там. Но в результате мы оба — и он и я — оказались в весьма затруднительном положении, как вы сейчас сами поймете. Ему, конечно, трудно понять, что с ним стряслось, но, надо думать, он и напуган, и взбешен до крайности, и рвется поскорее рассчитаться со мной. Я уверен, что он все время пытается выехать из Сан-Франциско и вернуться сюда. А я каждые два-три часа отсылаю его обратно, едва вспомню об этом. Он, конечно, не понимает, что с ним происходит, и это, разумеется, его раздражает. И если он каждый раз покупает билет, то изведет уйму денег. Я сделал для него все, что мог, но ему ведь трудно поставить себя на мое место. Еще я подумал, что если преисподняя такова, какой мы ее себе представляем, то его одежда успела обгореть прежде, чем я переправил его в другое место. В таком случае в Сан-Франциско его могли бы посадить в тюрьму. Конечно, едва я об этом подумал, я тут же распорядился, чтобы на нем немедленно появился новый костюм. Но вы понимаете, как я запутался?

Мистер Мейдиг нахмурился.

— Да, я понимаю. Положение весьма затруднительное. Какой выход могли бы вы найти... — И он произнес несколько туманных и ничего не решающих фраз, а затем продолжал: — Но забудем на время об Уинче и обсудим вопрос более широко. Я не считаю, что это черная магия или что-нибудь в том же роде. Я не считаю, что в этом есть что-либо преступное, мистер Фодерингей, если только вы не скрыли каких-нибудь существенных фактов. Нет, это

чудеса, чистейшие чудеса, я бы сказал, чудеса высшего класса.

Он начал расхаживать по ковру жестикулируя. А мистер Фодерингей с озабоченным видом сидел у стола, подперев щеку рукой.

— Не знаю, что мне делать с Уинчем, — проговорил он.

— Дар творить чудеса, по-видимому, весьма могучий дар, обязательно поможет вам уладить дела с Уинчем, — продолжал мистер Мейдиг. — Дорогой сэр, вы же совершенно исключительный человек, в ваших руках поразительные возможности. Взять хотя бы то, что вы сейчас показали. Да и в других отношениях... Вы можете сделать многое такое, что...

— Да, я уже кое-что придумал, — сказал мистер Фодерингей, — но не все получается как надо. Вы ведь помните, какой сперва получилась эта рыба: и рыба вышла не та, и сосуд не тот. Вот я и решил посоветоваться с кем-нибудь.

— Весьма похвальное решение! — перебил мистер Мейдиг. — Весьма похвальное. Весьма!

Он на миг умолк и посмотрел на мистера Фодерингея.

— В сущности, ваш дар безграничен. Давайте испытаем вашу силу. Действительно ли она... Действительно ли она такова, какой кажется.

И вот, хотя это может показаться невероятным, вечером в воскресенье 10 ноября 1896 года в кабинете домика позади пресвитерианской церкви мистер Фодерингей, подстрекаемый и вдохновляемый мистером Мейдигом, начал творить чудеса. Мы просим читателя обратить особое внимание на число. Он, конечно, может возразить, что некоторые детали этой истории неправдоподобны и что, если бы нечто похожее действительно случилось, об этом уже год назад было бы написано во всех газетах. Особенно невероятным покажется читателю все то, что будет рассказано дальше, ибо если допустить, что это произошло на самом деле, то читателю и читательнице придется признаться, что уже больше года назад они при совершенно небывалых обстоятельствах погибли насильственной смертью. Но ведь чудо и есть нечто невероятное, иначе оно не

было бы чудом, и читатель на самом деле погиб насильственной смертью больше года назад. Из дальнейшего изложения событий это станет вполне ясным и очевидным для каждого здравомыслящего читателя. Но сейчас еще рано переходить к концу рассказа, так как мы едва перевалили за его середину. К тому же мистер Фодерингей творил вначале лишь робкие и мелкие чудеса: немудреные фокусы с чашками и разными безделушками, столь же жиденькие, как и чудеса теософов. Тем не менее партнер мистера Фодерингея наблюдал за ним с благоговейным страхом. Мистер Фодерингей предпочел бы тут же уладить дела с Уинчем, но мистер Мейдиг всякий раз отвлекал его. Однако, когда они сотворили с десяток пустяковых домашних чудес, их уверенность в собственных силах возросла, воображение разыгралось, и они захотели дерзнуть на большее.

Первое более значительное чудо было вызвано все растущим чувством голода и нерадивостью миссис Минчин, экономки мистера Мейдига. Ужин, к которому священник пригласил Фодерингея, был, несомненно, приготовлен небрежно и показался двум усердным чудотворцам весьма неаппетитным.

Они успели уже сесть за стол, и мистер Мейдиг пустился рассуждать скорее печально, нежели сердито о недостатках своей экономки, когда мистер Фодерингей сообразил, что ему представляется новая возможность сотворить чудо.

— Не сочтете ли вы, мистер Мейдиг, дерзостью с моей стороны, если я позволю себе...

— Дорогой мистер Фодерингей, конечно, нет. Мне просто в голову не пришло...

Мистер Фодерингей сделал широкий жест.

— Что же мы закажем? — спросил он тоном, побуждавшим не стесняться и не ограничивать себя ни в чем.

Соответственно пожеланиям мистера Мейдига меню ужина было коренным образом пересмотрено.

— Что касается меня, — сказал мистер Фодерингей, разглядывая блюда, выбранные мистером Мейдигом, — то

я предпочитаю кружку портера и гренки с сыром. Это я и закажу. Бургундское мне не совсем по вкусу.

И в тот же миг по его команде на столе появились кружка портера и гренки с сыром.

Они просидели за ужином довольно долго, болтая как равные (мистер Фодерингей отметил это с приятным удивлением) о чудесах, которые им еще предстояло сотворить.

— Между прочим, мистер Мейдиг, я, пожалуй, мог бы помочь вам... в вашем доме.

— Я не совсем понял, — проговорил мистер Мейдиг, наливая в рюмку сотворенное чудом старое бургундское.

Мистер Фодерингей откуда-то из пространства взял вторую порцию гренков с сыром и принялся за нее.

— Полагаю, — начал он, — что мог бы («чавк-чавк») сотворить («чавк-чавк») чудо с миссис Минчин («чавк-чавк»), исправить ее недостатки.

Мистер Мейдиг поставил стакан на стол. Лицо его выразило сомнение.

— Она... она очень не любит, когда вмешиваются в ее дела. Кроме того, сейчас уже двенадцатый час, и она, вероятно, спит. И, вообще говоря, стоит ли...

Мистер Фодерингей обдумал эти возражения.

— А почему бы не воспользоваться тем, что она спит?

Сперва мистер Мейдиг не соглашался, но в конце концов уступил. Тогда мистер Фодерингей отдал распоряжение, и сотрапезники вновь занялись ужином, хотя уже и без прежнего безмятежного спокойствия. Мистер Мейдиг начал перечислять возможные благодетельные перемены в характере своей экономки с оптимизмом, который даже поужинавшему мистеру Фодерингею показался чуть-чуть вымученным и лихорадочным, и в этот момент сверху донесся какой-то неясный шум. Они вопросительно переглянулись, и мистер Мейдиг поспешно вышел из комнаты. Мистер Фодерингей услышал, как мистер Мейдиг окликнул свою экономку и затем осторожными шагами поднялся к ней. Через несколько минут священник легкой походкой вернулся в комнату. Лицо его сияло.

— Удивительно, — воскликнул он, — и трогательно! В высшей степени трогательно!

Он начал расхаживать по коврику перед камином.

— Раскаяние, самое трогательное раскаяние... Сквозь щелку в двери... Бедняжка! Поистине удивительная перемена! Она уже встала! Вероятно, она встала сразу же. Специально проснулась, чтобы разбить бутылку коньяку, припрятанную в сундучке. И призналась в этом! Но ведь такой факт дает нам... Он открывает перед нами небывалые возможности. Если уж мы могли совершить такую чудесную перемену даже в ней...

— Возможности у нас, по-видимому, безграничны, — заметил мистер Фодерингей. — А что касается мистера Уинча...

— Несомненно, безграничны, — сказал мистер Мейдиг, расхаживая по ковру и, отмахнувшись от проблемы Уинча, принялся развертывать перед Фодерингеем целый ряд тут же приходивших ему на ум удивительных планов. Каковы бы ни были эти планы, непосредственного отношения к сути нашего рассказа они не имеют.

Достаточно сказать, что все они были проникнуты бесконечной благожелательностью, такого рода благожелательностью, которую принято называть послеобеденной. Достаточно сказать также, что проблема Уинча так и осталась нерешенной. Нет необходимости уточнять, далеко ли зашло выполнение этих планов. Так или иначе произошли удивительные перемены. Когда настала полночь, мистер Мейдиг и мистер Фодерингей метались при свете луны по холодной рыночной площади в настоящем экстазе чудотворства: мистер Мейдиг непрестанно жестикулировал, полы его сюртука развевались, а маленький мистер Фодерингей гордо шествовал рядом, уже не пугаясь своего могущества.

Они исправили всех пьяниц своего избирательного округа, превратили в воду все пиво и все горячительные напитки (в этом вопросе мистер Мейдиг настоял на своем, несмотря на возражения мистера Фодерингея), далее

они значительно улучшили местное железнодорожное сообщение, осушили Флиндерское болото, улучшили почву на склонах холма Одинокого дерева и вывели у священника англиканской церкви бородавку. Затем они решили посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать с подгнившими сваями Южного моста.

— Завтра город станет неузнаваем! — захлебываясь от восторга, проговорил мистер Мейдиг. — Как все будут удивлены и восхищены!

Вдруг часы на колокольне пробили три.

— Вот те на! — воскликнул мистер Фодерингей. — Уже три часа. Мне пора домой. В восемь мне нужно быть в конторе, а, кроме того, миссис Уимс...

— Но мы ведь только начинаем, — возразил мистер Мейдиг, полный сладостного сознания неограниченной силы. — Подумайте, сколько добра мы сделаем. Когда все проснутся...

— Но... — начал мистер Фодерингей.

Мистер Мейдиг внезапно схватил его за руку. Глаза священника возбужденно сверкали.

— Мой дорогой друг, — сказал он, — незачем торопиться. Взгляните! — Он указал на плывшую над самой головой луну. — Иисус Навин!

— Иисус Навин? — переспросил мистер Фодерингей.

— Да! — повторил мистер Мейдиг. — Почему бы и нет? Остановите ее!

Мистер Фодерингей посмотрел на луну.

— Это, пожалуй, уже слишком! — проговорил он, помолчав.

— Но отчего? — спросил священник. — Впрочем, она ведь и не остановится: вы просто остановите вращение Земли, и время остановится. Мы же никому не причиним вреда.

— Гм! — сказал мистер Фодерингей. — Ну что ж... — Он вздохнул. — Я попробую. Вот...

Он застегнул пиджак на все пуговицы и обратился к земному шару настолько твердо и уверенно, насколько мог:

— А ну перестань вращаться, слышишь?

И в то же мгновение он кубарем полетел в пространство со скоростью нескольких десятков миль в минуту. Несмотря на то что он ежесекундно описывал в воздухе круги, он все же сохранил способность думать. Ведь мысль — удивительная вещь: то она течет медленно, как смола, то вспыхивает мгновенно, как молния.

Поразмыслив секунду, мистер Фодерингей приказал:

— Пусть я спущусь на землю целый и невредимый! Что бы ни случилось, пусть я окажусь на земле целым и невредимым!

Он произнес это как раз вовремя, потому что его одежда, нагревшись от быстрого полета, уже начала тлеть. Мистер Фодерингей шлепнулся на землю, но, несмотря на силу удара, уцелел, потому что опустился на кучу земли, которая показалась ему свежевырытой. Огромная глыба металла и камня, удивительно похожая на башню с часами с рыночной площади, рухнула на землю около мистера Фодерингея, подскочила и, перелетев через него, рассыпалась — в разные стороны полетели обломки камня, кирпича и штукатурки, словно разорвалась бомба. Мчавшаяся по воздуху корова с размаху ударилась о кусок стены и разбилась, как яйцо. Затем раздался оглушительный грохот, по сравнению с которым все, что ему приходилось слышать за свою жизнь, показалось лишь шелестом оседающей пыли, и последовал еще ряд более слабых ударов. Дул такой страшный ветер, что Фодерингей с трудом мог поднять голову, чтобы осмотреться, но он был слишком ошеломлен и измучен, чтобы сообразить, где он и что произошло. И начал он с того, что ощупал голову и убедился в целости своих развевающихся по ветру волос.

— Господи! — бормотал мистер Фодерингей, захлебываясь ветром. — Еще секунда, и мне была бы крышка! Что-то получилось не так. Буря и гром! А только минуту назад была такая тихая ночь. Это Мейдиг подбил меня на такую штуку. Ну и ветер! Если я и дальше буду делать подобные промашки, то это плохо кончится! Где Мейдиг? До чего же все перемешалось!

Он огляделся, насколько позволяли ему хлопавшие на ветру полы его пиджака. Все вокруг выглядело очень странно.

— Небо, во всяком случае, на месте, — проговорил мистер Фодерингей. — А вот про все остальное этого не скажешь. Да и небо выглядит так, будто надвигается ураган. Луна по-прежнему висит над головой. Совсем как несколько минут назад. Светло, как в полдень. Но все остальное... Где город? Где... где все? И почему только начал дуть этот ветер? Я же не заказывал никакого ветра.

После нескольких неудачных попыток подняться на ноги мистер Фодерингей остался стоять на четвереньках, цепляясь руками и ногами за землю. Он смотрел на залитый лунным светом мир с подветренной стороны, а вывернутый наизнанку пиджак хлопал над его головой.

— Да, в мире что-то нарушилось, — пробормотал Фодерингей, — а что именно, один бог ведает.

Вокруг, в белесом сиянии луны, сквозь облака пыли, поднятой завывающим ветром, можно было различить лишь огромные кучи перемешанной с обломками земли, которые все увеличивались; ни деревьев, ни домов, никаких привычных очертаний — ничего, кроме хаоса, теряющегося во тьме среди вихря, грома и молний приближающегося урагана. В блеске молний мистер Фодерингей различил возле себя бесформенную груду щепок, которые недавно были вязом, теперь расколотым от корней до кроны. А поодаль из развалин выступали согнутые и перекрученные железные балки. Он понял, что это был виадук.

Дело в том, что мистер Фодерингей, остановив вращение огромной планеты, забыл позаботиться о различных мелких предметах на ее поверхности, которые способны двигаться, однако земля вертится так быстро, что ее поверхность у экватора пробегает более тысячи миль в час, а в наших широтах — более пятисот миль. Поэтому и город, и мистер Мейдиг, и мистер Фодерингей — все без исключения полетело вперед со скоростью около девяти миль в

секунду, то есть гораздо быстрее, чем если бы ими выстрелили из пушки, и каждый человек, каждое живое существо, каждый дом, каждое дерево, то есть абсолютно все, что находится на земле, было сорвано с мест, разбито и полностью уничтожено. Только и всего.

Мистер Фодерингей, разумеется, не понял, в чем было дело. Но он сообразил, что потерпел неудачу, и проникся отвращением ко всяким чудесам. Теперь он был в полной тьме, потому что тучи сгрудились и закрыли от него луну. В воздухе метались и дергались, как в пытке, полосы града. Оглушительный рев ветра и воды заполнил вселенную. Прикрыв глаза ладонью, мистер Фодерингей вгляделся в ту сторону, откуда дул ветер, и при свете молний увидел надвигающийся на него громадный водяной вал.

— Мейдиг! — Слабый голос Фодерингея затерялся в грохоте бушующей стихии. — Эй, Мейдиг!.. Стой! — крикнул он, обращаясь к приближавшейся воде. — Стой! Ради бога, остановись!

— Минуточку, — попросил он молнии и гром. — Погодите минутку! Дайте мне собраться с мыслями... Что мне теперь делать? Что же все-таки мне делать? Господи! Хоть бы Мейдиг был здесь... Знаю! — вдруг закричал мистер Фодерингей. — Только, ради бога, на этот раз обойдемся без путаницы.

Все еще стоя на четвереньках, лицом к ветру, он напряженно думал, как исключить возможность хотя бы малейшей ошибки.

— Вот, — сказал он наконец, — то, что я прикажу, пусть теперь исполнится только после того, как я крикну: «А ну!..» Господи! Почему я раньше об этом не подумал...

Он пробовал перекричать рев бури и кричал все громче и громче в тщетном желании услышать собственный голос.

— Так вот!.. Начинаю! Не забудь о том, что я только что сказал! Во-первых, когда исполнится все, что я скажу, пусть я потеряю свой дар творить чудеса, пусть моя воля

станет такой же, как у всех людей, и пусть будет покончено с этими опасными чудесами. Они мне не нравятся. Лучше бы я их не творил. Ни одного, даже самого маленького. Это во-первых. А во-вторых, пусть я вернусь к тому времени, когда еще не случилось первого чуда, и пусть все станет таким, каким было до того, как перевернулась та проклятая лампа. Это трудная задача, зато последняя. Понятно? Больше никаких чудес, все должно стать таким, каким было, а я хочу оказаться в «Длинном драконе» как раз перед тем, как выпил свои полпинты. Вот и все! Да. — Он впился пальцами в землю, зажмурился и крикнул: — А ну!

Стало совсем тихо. Мистер Фодерингей почувствовал, что стоит на ногах.

— Это по-вашему так, — сказал кто-то.

Фодерингей открыл глаза. Он был в баре «Длинного дракона» и спорил с Тодди Бимишем о чудесах. В памяти его мелькнуло воспоминание о чем-то очень важном, но сразу же исчезло.

Видите ли, если не считать того, что мистер Фодерингей потерял способность творить чудеса, все остальное стало таким, каким было, а следовательно, и его ум и память тоже стали такими, какими были до того, как началась эта история. Так что все рассказанное здесь остается ему неведомым и по сей день. И, разумеется, он по-прежнему не верит в чудеса.

— Я утверждаю, что настоящих чудес не бывает, что бы вы там ни говорили, и готов вам это неопровержимо доказать.

— Это по-вашему так, — возразил Тодди Бимиш и добавил: — Докажите, если можете!

— Послушайте-ка, мистер Бимиш, — сказал мистер Фодерингей. — Давайте разберемся, что такое чудо. Это нечто несовместимое с законами природы и произведенное усилием воли...

НОВЕЙШИЙ УСКОРИТЕЛЬ

Если уж кому случилось искать булавку, а найти золотой, так это моему доброму приятелю профессору Гибберну. Мне и прежде приходилось слышать, что многие исследователи попадали куда выше, чем целились, но такого, как с профессором Гибберном, еще ни с кем не бывало. Можно смело, без всяких преувеличений, сказать, что на этот раз его открытие произведет полный переворот в нашей жизни. А между тем Гибберн хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспевать за нашим беспокойным веком. Я сам уже не раз принимал этот препарат и теперь просто опишу его действие на мой организм — так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений.

Мы с профессором Гибберном, как известно многим, соседи по Фолкстону. Если память меня не подводит, несколько его портретов, и в молодости и в зрелом возрасте, были помещены в журнале «Стрэнд», кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это точно я не могу, потому что кто-то взял у меня этот номер и до сих пор не вернул. Но читатель, вероятно, помнит высокий лоб и на редкость длинные черные брови Гибберна, которые придают его лицу нечто мефистофельское.

Профессор Гибберн живет на Аппер-Сэндгейт-роуд, в одном из тех прелестных особнячков, которые так оживляют западный конец этой улицы. Крыша у его домика островерхая, во фламандском стиле, портик мавританский, а маленькая рабочая комнатка профессора Гибберна смотрит на улицу большим фонарем в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатке мы проводим вечерок за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гибберн — большой шутник, но от него услышишь не только шутку.

Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседы с людьми служат ему стимулом для работы, и поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание «Новейшего ускорителя». Разумеется, большую часть опытов Гибберн производил не в Фолкстоне, а на Гауэр-стрит, в новой, прекрасно оборудованной больничной лаборатории, где он первый и обосновался.

Как известно, если не всем, то уж образованным-то людям, во всяком случае, Гибберн прославился среди физиологов своими работами по изучению действия медикаментов на нервную систему. Там, где дело касается различных наркотических, снотворных и анестезирующих средств, ему, говорят, нет равных. Его авторитет как химика тоже велик, и в непроходимых джунглях загадок, окружающих клетки нервных узлов и осевые волокна, есть расчищенные им маленькие просветы и прогалины, недостижимые для нас до тех пор, пока он не сочтет нужным опубликовать результаты своих изысканий в этой области.

В последние годы, еще до открытия «Новейшего ускорителя», Гибберн много и весьма плодотворно работал над тонизирующими медикаментами. Благодаря ему медицина обогатилась по крайней мере тремя абсолютно надежными препаратами, значение которых во врачебной практике огромно. Препарат под названием «Сироп «Б» д-ра Гибберна» сохранил больше человеческих жизней, чем любая спасательная лодка на всем нашем побережье.

— Но такие пустяки меня совершенно не удовлетворяют, — сказал он мне однажды около года назад. — Все эти препараты либо подхлестывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путем понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних органов, но притупляют мозг; другие действуют на мозг, как шампанское, никак не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь — и добьюсь, вот увидите! — такого средства, которое встряхнет вас всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два... даже в три раза против нормы. Да! Вот чего я ищу!

— Это подействует на организм изнуряюще, — заметил я.

— Безусловно! Но есть вы будете тоже в два-три раза больше. Подумайте только, о чем я говорю! Представьте себе пузырек... ну, скажем, такой, — он взял со стола зеленый флакон и стал постукивать им по столу в такт своим словам, — и в этом бесценном пузырьке заключена возможность вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать.

— Неужели это достижимо?

— Надеюсь, что да. А если нет, значит, у меня целый год пропал даром. Различные препараты гипофосфатов показывают, что нечто подобное... Ладно! Пусть подействует только в полтора раза — и то хорошо!

— И то хорошо! — согласился я.

— Возьмем для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него бездна обязанностей, срочные дела, и со всем этим никак не справишься.

— Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря.

— И выиграет времени вдвое. Или возьмите себя. Положим, вам надо закончить книгу...

— Обычно я проклинаю тот день, когда начал ее.

— Или вы врач. Заняты по горло, а вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат. Или готовитесь к экзаменам...

— Да с таких по гинее за каждую каплю вашего препарата! — воскликнул я. — Если не дороже!

— Или, скажем, дуэль, — продолжал Гибберн. — Когда все зависит от того, кто первый спустит курок.

— Или фехтование, — подхватил я.

— Если мне удастся сделать этот препарат универсальным, — сказал Гибберн, — вреда от него не будет никакого, разве что он на самую малость приблизит вас к старости. Но зато жизнь ваша вместит вдвое больше по сравнению с другими, так как вы...

— А все же на дуэли будет, пожалуй, нечестно... — в раздумье начал я.

— Это уж как решат секунданты, — заявил Гибберн.

Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы.

— И вы уверены, что такой препарат можно изобрести?

— Совершенно уверен, — сказал Гибберн, выглянув в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом. — Вот изобрели же автомобиль! Собственно говоря...

Он умолк и, многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком. — Собственно говоря, я такой состав знаю... Кое-что уже сделано...

По той нервной усмешке, с какой Гибберн произнес эти слова, я понял всю важность его признания. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они близились к концу.

— И, может быть... может быть, мой препарат будет ускорять даже больше чем вдвое.

— Это грандиозно, — сказал я не очень уверенно.

— Да, грандиозно.

Но мне кажется, тогда Гибберн и сам еще не понимал всей грандиозности своего открытия.

Помню, мы несколько раз возвращались к этому разговору. И с каждым разом Гибберн говорил о «Новейшем ускорителе» — так он назвал свой препарат — все с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его «Ускоритель» каких-либо непредвиденных физиологических последствий; потом вдруг с нескрываемым корыстолюбием принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела.

— Это — открытие! — говорил Гибберн. — Великое открытие! Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду. Высоты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на десять. В конце концов почему все лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники!

Мой интерес к новому изобретению Гибберна не ослабевал. Я всегда отличался склонностью к метафизике. Меня увлекали парадоксы времени и пространства, и теперь я начинал верить, что Гибберн готовит нам не больше и не меньше как абсолютное ускорение нашей жизни. Представим себе человека, регулярно пользующегося этим препаратом: дни его будут насыщены до предела, но к одиннадцати годам он достигнет зрелости, в двадцать пять станет пожилым, а в тридцать уже ступит на путь к дряхлости. Следовательно, думал я, Гибберн сделает со своими пациентами то же самое, что делает природа с евреями и обитателями стран Востока: ведь в тринадцать-четырнадцать лет они совсем взрослые люди, к пятидесяти старики, а мыслят и действуют быстрее нашего.

Магия фармакопеи неизменно повергала меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить; могут наделить его невероятной энергией и силой или же превратить в безвольную тряпку; могут разжечь в нем одни страсти и погасить другие! А теперь к арсеналу пузырьков, которые всегда в распоряжении врачей, прибавится еще одно чудо! Но Гибберна такие мысли мало занимали: он был весь поглощен технологией своего изобретения.

И вот седьмого или восьмого августа — время бежало быстро — профессор Гибберн сказал мне, что он поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждет, победа или поражение, а десятого все было закончено, и «Новейший ускоритель» стал реальностью. Я шел в Фолкстон по Сэндгейт-хилл, кажется, в парикмахерскую, и встретил его — он спешил ко мне поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного, лицо раскраснелось, и я сразу же заметил несвойственную ему раньше стремительность походки.

— Готово! — крикнул он и, схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро: — Все готово! Пойдемте ко мне, посмотрите сами.

— Неужели правда?

— Правда! — воскликнул Гибберн. — Уму непостижимо! Пойдемте, пойдемте!

— И ускоряет... вдвое?

— Больше, гораздо больше. Мне даже страшно. Да вы посмотрите. Попробуйте его сами! Испытайте на себе! В

жизни ничего подобного не было! — Он схватил меня за локоть и, не переставая взволнованно говорить, потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал омнибус, и все сидевшие в нем точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей.

Стоял один из тех ясных, жарких дней, которыми так богато лето в Фолкстоне, и все краски казались необычайно яркими, все контуры — необычайно четкими. Дул, разумеется, и ветерок, но разве легкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец я взмолился о пощаде.

— Неужели слишком быстро? — удивился Гибберн и перешел с рыси на маршевый шаг.

— Вы что, уже приняли свое лекарство? — еле выговорил я.

— Нет, — ответил он. — Только выпил воды из той мензурки, самую капельку... Но мензурка была тщательно вымыта. Вчера вечером я действительно принял небольшую дозу. Но это — дело прошлое.

— И ускоряет вдвое? — спросил я, весь в поту подходя к его дому.

— В тысячу раз, во много тысяч раз! — выкрикнул Гибберн, театральным жестом распахивая настежь резную — в стиле Тюдоров — калитку своего садика.

— Фью! — свистнул я и последовал за ним.

— Я даже не могу установить точно, во сколько раз, — продолжал он, вынимая из кармана ключ.

— И вы...

— Это проливает новый свет на физиологию нервной системы, это переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощущений... Одному богу известно, во сколько раз. Мы займемся этим позднее... А сейчас надо испробовать на себе.

— На себе? — переспросил я, идя за ним по коридору.

— Непременно! — сказал Гибберн уже в кабинете, повернувшись ко мне лицом. — Видите вот этот маленький зеленый пузырек? Впрочем, может быть, вы боитесь?

Я человек по природе осторожный и рисковать люблю больше в теории, чем на деле. Мне действительно было страшновато, но гордость в карман не сунешь.

— Значит, вы пробовали? — Я старался оттянуть время.

— Пробовал, — ответил Гибберн. — И, кажется, нисколько не пострадал от этого. Правда? У меня даже цвет лица не изменился, а самочувствие...

Я сел в кресло.

— Дайте мне ваше зелье, — сказал я. — На худой конец не надо будет идти стричься, а это, по-моему, самая тяжкая обязанность цивилизованного человека. Как его принимают?

— С водой, — ответил Гибберн, размашистым жестом ставя рядом со мной графин.

Он остановился у письменного стола и внимательно посмотрел на меня. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки. — Это препарат не совсем обычный, — сказал он.

Я махнул рукой.

— Прежде всего должен вас предупредить: как только сделаете глоток, зажмурьтесь и минуты через две осторожно откройте глаза. Зрение у вас не исчезнет. Оно зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться.

— Есть! — сказал я. — Зажмурюсь.

— Далее: сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресле, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее. Сердце, легкие, мускулы, мозг — решительно все. Вы и не заметите резкости своих жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг вас как бы замедлит ход. В этом-то и заключается вся странность.

— Боже мой! — воскликнул я. — Значит...

— Сейчас увидите, — сказал Гибберн, беря мензурку, и обвел взглядом письменный стол. — Стаканы, вода. Все готово. На первый раз нальем поменьше.

Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку.

— Не забудьте, что я вам говорил, — сказал Гибберн и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски. — Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную неподвижность в течение двух минут. Я скажу, когда можно открыть.

Он добавил в оба стакана немного воды.

— Да, вот еще что! Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь о колено. Так... Правильно. А теперь...

Он поднял свой стакан.

— За «Новейший ускоритель»! — сказал я.

— За «Новейший ускоритель»! — подхватил Гибберн, и мы чокнулись, выпили, и я тотчас же закрыл глаза.

Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю. Потом до меня донесся голос Гибберна. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гибберн стоял все там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст.

— Ну? — сказал я.

— Ничего особенного не чувствуете?

— Ничего не чувствую. Пожалуй, легкое возбуждение. А больше ничего.

— Звуки?

— Тишина, — ответил я. — Да! Честное слово, полнейшая тишина! Только где-то кап-кап... точно дождик. Что это такое?

— Звуки, распавшиеся на свои элементы, — пояснил Гибберн.

Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов.

Он повернулся к окну.

— Вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?

Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол у занавески загнулся кверху на ветру и так и застыл.

— Нет, не случалось, — ответил я. — Что за странность!

— А это? — сказал он и разжал пальцы, державшие стакан.

Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется вдребезги. Но он не только не разбился, а повис в воздухе в полной неподвижности.

— Грубо говоря, — сказал Гибберн, — в наших широтах падающий предмет пролетает в первую секунду футов шестнадцать. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом — из расчета шестнадцать футов в секунду. Но он не успел пролететь и сотой доли секунды. Теперь вы имеете некоторое представление о силе моего «Ускорителя». — И Гибберн стал водить рукой вокруг медленно опускающегося стакана, потом взял его за донышко, тихонько поставил на стол и засмеялся.

— Ну-с?

— Недурно, — сказал я, осторожно поднимаясь с кресла.

Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые, во всем теле какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало тысячу ударов в секунду, хотя это не вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист, с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью догонял мчавшийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища.

— Гибберн! — вырвалось у меня. — Сколько времени действует ваше зелье?

— Одному богу известно! — ответил он. — Последний раз я, доложу вам, сильно струхнул и сразу лег спать после приема. На сколько времени его хватит, не знаю, наверное, на несколько минут, а минуты кажутся часами. Но вообще-то сила действия начинает спадать довольно резко.

С гордостью отмечаю, что я не испытывал ни малейшего страха... может быть, потому, что был не один.

— А что, если нам пойти погулять? — предложил я.

— И в самом деле!

— Но нас увидят.

— Что вы! Что вы! Мы понесемся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась. Идем! Как вы предпочитаете: в окно или в дверь?

И мы выскочили в окно.

Из всех чудес, которые я испытал на себе, о которых фантазировал или читал в книгах, эта небольшая прогулочка по Фолкстону в обществе профессора Гибберна после приема «Новейшего ускорителя» была самым странным, самым невероятным приключением за всю мою жизнь.

Мы выбежали из садика Гибберна и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы. Верхушки колес того самого омнибуса, ноги лошадей, кончик хлыста и нижняя челюсть кондуктора (он, видимо, собирался зевнуть) чуть заметно двигались, но кузов этого неуклюжего рыдвана казался окаменевшим. И мы не слышали ни звука, если не считать легкого хрипа в горле кого-то из пассажиров. Кучер, кондуктор и остальные одиннадцать человек словно смерзлись с этой застывшей глыбой. Сначала такое зрелище поразило нас своей странностью, а потом, когда мы обошли омнибус со всех сторон, нам стало даже неприятно. Люди как люди, похожие на нас, и вдруг так нелепо застыли, не завершив начатых жестов! Девушка и молодой человек, улыбаясь, делали друг другу глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки; женщина во вздувшейся мешком накидке сидела, облокотившись на поручни и вперив немигающий взгляд в дом Гибберна; мужчина закручивал ус — ни дать ни взять восковая фигура в музее, а его сосед протянул окостеневшую руку и растопыренными пальцами поправлял съехавшую на затылок шляпу.

Мы разглядывали их, смеялись над ними, корчили им гримасы, но потом, почувствовав чуть ли не отвращение ко всей этой компании, пересекли дорогу под самым носом у велосипедиста и понеслись к взморью.

— Бог мой! — вдруг воскликнул Гибберн. — Посмотрите-ка!

Там, куда он указывал пальцем, по воздуху, медленно перебирая крылышками, двигалась со скоростью медлительнейшей из улиток — кто бы вы думали? — пчела!

И вот мы вышли на зеленый луг. Тут началось что-то совсем уж невообразимое. В музыкальной раковине играл оркестр, но мы услышали не музыку, а какое-то сипение или предсмертные вздохи, временами переходившие в нечто вроде приглушенного тиканья огромных часов. Люди вокруг кто стоял навытяжку, кто, словно какое-то несуразное немое чучело, балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо пуделя, который подскочил кверху и теперь спускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе.

— Смотрите, смотрите! — крикнул Гибберн. Мы задержались на секунду перед щеголем в белом костюме в полоску, белых башмаках и соломенной панаме, который оглянулся назад и подмигнул двум разодетым дамам. Подмигивание — если разглядывать его не спеша, во всех подробностях, как это делали мы, — вещь малопривлекательная. Оно утрачивает всю свою игривую непринужденность, и вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно и из-под опущенного века видна нижняя часть глазного яблока.

— Отныне, — заявил я, — если господь бог не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать.

— А также и улыбаться, — подхватил Гибберн, глядя на ответный оскал одной из дам.

— Однако становится невыносимо жарко, — сказал я. — Давайте убавим шаг.

— А-а, бросьте! — крикнул Гибберн.

Мы пошли дальше, пробираясь между креслами на колесах, стоявшими вдоль дорожки. Позы тех, кто сидел в этих креслах, большей частью казались почти естественными, зато на искаженные багровые физиономии музыкантов просто больно было смотреть. Апоплексического вида джентльмен застыл в неподвижности, пытаясь сложить газету на ветру. Судя по всему, ветер был довольно

сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в сторону и стали наблюдать за публикой издали. Разглядывать эту толпу, внезапно превратившуюся в музей восковых фигур, было чрезвычайно любопытно. Как это ни глупо, но, глядя на них, я преисполнился чувства собственного превосходства. Вы только представьте себе! Ведь все, что я сказал, подумал, сделал с того мгновения, как «Новейший ускоритель» проник в мою кровь, укладывалось для этих людей и для всей вселенной в десятую долю секунды!

— Ваш препарат... — начал было я, но Гибберн перебил меня:

— Вот она, проклятая старуха!

— Какая старуха?

— Моя соседка, — сказал Гибберн. — А у нее болонка, которая вечно лает. Нет! Искушение слишком велико!

Гибберн — человек непосредственный и иной раз бывает способен на мальчишеские выходки. Не успел я остановить его, как он ринулся вперед, схватил злосчастную собачонку и со всех ног помчался с ней к скалистому берегу. И удивительное дело! Собачонка, которую, кроме нас, никто не мог видеть, не выказала ни малейших признаков жизни — даже не залаяла, не трепыхнулась. Она продолжала крепко спать, хотя Гибберн держал ее за загривок. Похоже было, что в руках у него деревянная игрушка.

— Гибберн! — крикнул я. — Отпустите ее! — И добавил еще кое-что. Потом снова воззвал к нему: — Гибберн, стойте! На нас все загорится. Смотрите, брюки уже тлеют.

Он хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился.

— Гибберн! — продолжал я, настигая его. — Отпустите собачонку. Бегать в такую жару! Ведь мы делаем две-три мили в секунду. Сопротивление воздуха! — заорал я. — Сопротивление воздуха! Слишком быстро движемся. Как метеориты! Все раскалилось! Гибберн! Гибберн! Я весь в поту, у меня зуд во всем теле. Смотрите, люди оживают. Ваше зелье перестает действовать. Отпустите наконец собаку!

— Что?

— «Ускоритель» перестает действовать! — повторил я. — Мы слишком разгорячились. Действие «Ускорителя» кончается. Я весь взмок.

Гибберн посмотрел на меня. Перевел взгляд на оркестр, хрипы и вздохи которого заметно участились. Потом сильным взмахом руки отшвырнул от себя собачонку. Она взвилась вверх, так и не проснувшись, и повисла над сомкнутыми зонтиками оживленно беседующих дам. Гибберн схватил меня за локоть.

— Черт возьми! — крикнул он. — Вы правы. Зуд во всем теле и... Да! Вон тот человек вынимает носовой платок. Движение совершенно явственное. Надо убираться отсюда, и как можно скорее.

Но это было уже не в наших силах. И, может статься, к счастью. Мы, наверное, пустились бы бежать, но тогда нас охватило бы пламенем. Тут и сомневаться нечего. А тогда нам это и в голову не пришло. Не успели мы с Гибберном сдвинуться с места, как действие «Ускорителя» прекратилось — мгновенно, за какую-нибудь долю секунды. У нас было такое ощущение, словно кто-то коротким рывком задернул занавес. Я услышал голос Гибберна: «Садитесь!» — и с перепугу шлепнулся на траву, сильно при этом обжегшись. В том месте и по сию пору остался выжженный круг. И как только я сел, всеобщее оцепенение кончилось. Нечленораздельные хрипы оркестра слились в мелодию, гуляющие перестали балансировать на одной ноге и зашагали кто куда, газеты и флажки затрепетали на ветру, вслед за улыбками послышались слова, франт в соломенной панаме кончил свое подмигивание и с самодовольным видом отправился дальше; те, кто сидел в креслах, зашевелились и заговорили.

Мир снова ожил и уже не отставал от нас, вернее, мы перестали обгонять его. Такое ощущение знакомо пассажирам экспресса, резко замедляющего ход у вокзала. Секунду-другую передо мной все кружилось, я почувствовал приступ тошноты... и только. А собачонка, повисшая было в воздухе, куда взметнула ее рука Гибберна, камнем полетела вниз, прорвав зонтик одной из дам!

Это и спасло нас с Гибберном. Нашего внезапного появления никто здесь не заметил, если не считать одного тучного старика в кресле на колесах, который вздрогнул при виде нас, несколько раз недоверчиво покосился в нашу сторону и под конец сказал что-то сопровождавшей его сиделке. Раз! Вот и мы! Брюки на нас перестали тлеть почти мгновенно, но снизу меня все еще здорово припекало. Внимание всех, в том числе и оркестрантов увеселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким тявканьем почтенной разжиревшей болонки, которая только что мирно спала справа от музыкальной раковины и вдруг угодила на зонтик дамы, сидевшей совсем в другой стороне, да еще подпалила себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на разных суевериях, психологических опытах и прочей ерунде! Все повскакали с мест, засуетились, налетая друг на друга, опрокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен. Чем там все кончилось, не знаю. Нам надо было как можно скорее выпутаться из этой истории и скрыться с глаз старика в кресле на колесах. Придя в себя, немножко остыв, поборов чувство тошноты, головокружение и общую растерянность, мы с Гибберном обошли толпу стороной и зашагали по дороге к его дому. Но в шуме, не умолкавшем позади, я совершенно явственно слышал голос джентльмена, который сидел рядом с обладательницей прорванного зонтика и распекал ни в чем не повинного служителя в фуражке с надписью «Надзиратель».

— Ах, не вы швырнули собаку? — бушевал он. — Тогда кто же?

Внезапный возврат нормальных движений и звуков в окружающем нас мире, а также, вполне понятно, опасения за самих себя (одежда все еще жгла нам тело, дымившиеся минуту назад брюки Гибберна превратились из белых в темно-бурые) помешали мне заняться наблюдениями. Вообще на обратном пути ничего ценного для науки я сделать не мог. Пчелы на прежнем месте, разумеется, не оказалось. Когда мы вышли на Сэндгейт-роуд, я поискал глазами велосипедиста, но то ли он успел укатить, то ли его не было видно в уличной толчее. Зато омнибус, полный пассажиров, которые теперь все ожили, громыхал по мостовой где-то далеко впереди.

Добавлю еще, что подоконник, откуда мы спрыгнули в сад, слегка обуглился, а на песчаной дорожке остались глубокие следы от наших ног.

Таковы были результаты моего первого знакомства с «Новейшим ускорителем». По сути дела, вся эта наша прогулка и то, что было сказано и сделано во время нее, заняли две-три секунды. Мы прожили полчаса, пока оркестр сыграл каких-нибудь два такта. Но ощущение у нас было такое, словно мир замер, давая нам возможность приглядеться к нему. Учитывая обстоятельства и главным образом опрометчивость, с которой мы выскочили из дому, нужно признать, что все могло кончиться для нас значительно хуже. Во всяком случае, наш первый опыт показал следующее: Гибберну придется еще немало потрудиться над своим «Ускорителем», прежде чем он станет годным для употребления, но эффективность его несомненна — тут придраться не к чему.

После наших с ним приключений Гибберн продолжает упорно работать, усовершенствуя свой препарат, и мне случалось неоднократно, без всякого для себя вреда, принимать различные дозы «Новейшего ускорителя» под наблюдением его творца. Должен, впрочем, признаться, что выходить из дому в таких случаях я уже не решался. Этот рассказ (вот вам пример действия «Ускорителя») написан мною за один присест. Я отрывался от работы только для того, чтобы откусить кусочек шоколада. Начат он был в шесть часов двадцать пять минут вечера, а сейчас на моих часах тридцать одна минута седьмого. Не передашь словами, какое это удобство — вырвать среди суматошного дня время и целиком отдаться работе!

Теперь Гибберн занят вопросом дозировки «Ускорителя» в зависимости от особенностей организма. В противо-

вес этому составу он надеется изобрести и «Замедлитель», с тем чтобы регулировать чрезмерную силу первого своего изобретения. «Замедлитель», разумеется, будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам «Ускорителя». Прием одного этого лекарства позволит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько часов и погрузиться в состояние покоя, застыть, наподобие ледника, в любом, даже самом шумном, самом раздражающем окружении.

Оба эти препарата должны произвести переворот в нашей цивилизации. Они положат начало освобождению от «Покровов времени», о которых писал Карлейль. «Ускоритель» поможет нам сосредоточиваться на каком-нибудь мгновении нашей жизни, требующем наивысшего подъема всех наших сил и способностей, а «Замедлитель» дарует нам полное спокойствие в самые тяжкие и томительные часы и дни. Может быть, я возлагаю чересчур большие надежды на еще не существующий «Замедлитель», но что касается «Ускорителя», то тут никаких споров быть не может. Его появление на рынке в хорошо усваиваемом, удобном для пользования разведении — дело нескольких месяцев. Маленькие зеленые бутылочки можно достать в любой аптеке и в любом аптекарском магазине по довольно высокой, но, принимая во внимание необычайные свойства этого препарата, отнюдь не чрезмерной цене. Он будет называться «Ускоритель для нервной системы. Патент д-ра Гибберна», и Гибберн надеется выпустить его трех степеней ускорения: 1:200, 1:900 и 1:2000, — чему будут соответствовать разноцветные этикетки — желтая, розовая и белая.

С помощью «Ускорителя» можно будет осуществить множество поистине удивительных вещей, ибо и самые ошеломляющие и даже преступные деяния удастся тогда совершать незаметно, так сказать, ныряя в щелки времени. Как и всякое сильно действующее средство, «Новейший ускоритель» не застрахован от злоупотреблений. Но, обсудив и эту сторону вопроса, мы с Гибберном пришли к

выводу, что тут решающее слово останется за медицинским законодательством, а нас такие дела не касаются. Наша задача — изготовить и продавать «Ускоритель», а что из этого выйдет — посмотрим.

ПРАВДА О ПАЙКРАФТЕ

Он сидит всего в десяти шагах от меня. Стоит мне поглядеть через плечо, и я увижу его. И если я встречусь с ним взглядом (а это непременно случится), то в его глазах...

В общем, это умоляющий взгляд, но все же с оттенком подозрения.

К черту его подозрения! Если бы я захотел, я бы давно все про него рассказал. Однако же я молчу, я ничего не рассказываю, и он может быть спокойным и чувствовать себя вольготно. Если, конечно, такое громоздкое и жирное создание, как он, вообще может чувствовать себя вольготно. Да если бы я и рассказал, кто бы мне поверил?

Бедняга Пайкрафт! Экая неуклюжая бесформенная масса — студень, да и только! Самый толстый клубный завсегдатай в Лондоне.

Он сидит за одним из столиков в большой нише около камина и... жует. Что это он жует? Я оглядываюсь, будто невзначай, — так и знал: набивает себе рот сдобной булкой с маслом, не спуская с меня глаз. А, чтоб ему с его неотвязным взглядом!

Ну хорошо же, Пайкрафт! Раз вы хотите быть несносным, раз вы продолжаете вести себя так, будто сомневаетесь в моей порядочности, пеняйте на себя! Вот тут, перед вашими заплывшими жиром глазами, я все напишу, я расскажу всю правду о Пайкрафте. Расскажу о человеке, которому я помог, которого я покрывал и который отплатил мне тем, что превратил мой клуб в место, невыносимое для меня, совершенно невыносимое из-за этого водянистого

взгляда, умоляющего без конца об одном и том же: «Только, ради бога, никому не говорите!»

И потом, почему он все время ест?

Так вот вам правда, вся правда, правда без прикрас!

Пайкрафт... Я познакомился с ним здесь же, в курительной комнате. В клубе я был тогда молодым и мнительным новичком — и он это заметил. Я сидел в одиночестве, жалел, что у меня еще так мало знакомых, как вдруг ко мне приблизилась некая туша, состоявшая из нескольких подбородков и живота. Это и был Пайкрафт. Он хрюкнул, сел рядом на стул, посопел, долго чиркая спичкой, наконец закурил сигару и обратился ко мне. Не помню, что он сказал, — кажется, что-то о плохих спичках. Продолжая говорить со мной, он останавливал каждого проходящего официанта и бранил спички своим тонким, певучим голоском. Так или иначе мы разговорились.

Он болтал о разных вещах, затем перешел к спорту, а от спорта — к моей фигуре и цвету лица.

— Вы, должно быть, хорошо играете в крикет, — сказал он.

Я считаю себя стройным, могу даже кое-кому показаться тощим. Знаю также, что я довольно смуглый, тем не менее... Прабабушка у меня была индуска, и я этого ничуть не стыжусь, но я не хочу, чтобы каждый встречный при первом взгляде считал себя вправе строить догадки о моих предках. Вот почему я с самого начала невзлюбил Пайкрафта.

Но он-то завел разговор обо мне только для того, чтобы перейти к собственной персоне.

— Двигаетесь вы, наверное, не больше моего, — сказал он, — а едите не меньше... (Как и все очень тучные люди, он воображал, что ничего не ест.) Однако же между нами есть разница, — добавил он, криво улыбаясь.

И тут он начал без конца говорить о своей полноте, о том, что он делал, чтобы избавиться от полноты, что собирается делать, чтобы вылечиться от полноты, что ему советовали делать против полноты и что, он слышал, делают другие люди, страдающие полнотой.

— A priori*, — сказал он, — вы, наверное, думаете, что вопрос питания решается диетой, а вопрос усвоения пищи организмом — лекарствами.

Это было невыносимо. Слушая этого обжору, я чувствовал, что сам начинаю пухнуть.

Конечно, в клубе бывают иногда такие встречи, испытывающие наше терпение, но вскоре мне стало казаться, что этому надо положить конец. Было совершенно ясно, что этот субъект не отвяжется от меня. Стоило мне появиться в курительной комнате, как он вразвалку шел ко мне, а иногда, когда я завтракал, подсаживался к моему столу и без стеснения предавался чревоугодию. Порою он прямо-таки прилипал ко мне. Нудный человек! Но все-таки, неужели от его навязчивости должен страдать только я? С самого начала в его поведении было что-то такое, будто он знал, будто интуитивно понял, что я мог бы... что во мне одном он мог видеть единственную надежду, которой нигде больше не найдет.

— Я все бы отдал, чтобы сбавить в весе, — говорил он, — решительно все! — И, задыхаясь, пытливо всматривался в меня глазками, утонувшими в пухлых щеках.

Бедный Пайкрафт! Вот он позвонил, — наверное, чтобы заказать еще сдобной булки и масла.

Однажды он перешел прямо к делу.

— Наша фармакопея, — сказал он, — наша западная фармакопея далеко не последнее слово в медицине. На Востоке, я слышал... — Он осекся и уставился на меня. Мне показалось, что я стою перед аквариумом.

Тут я вдруг на него рассердился.

— Послушайте, — сказал я, — кто вам сказал о рецептах моей прабабушки?

— Помилуйте! — попытался он увильнуть.

— Вот уже целую неделю при каждой нашей встрече, — а встречались мы с вами частенько, — вы явно намекали мне о моей маленькой тайне.

— Ну, хорошо, — промолвил он. — Раз так, я скажу все. Признаюсь, да, верно... Я узнал...

* Независимо от опыта, заранее, наперед *(лат.)*.

— От Пэттисона?

— Косвенно, — сказал он, что, по-моему, означало «да».

— Пэттисон, — сказал я, — принимал это снадобье на свой риск и страх.

Он сжал губы и поклонился.

— Рецепты моей прабабушки — с ними так просто обращаться нельзя. Отец хотел взять с меня обещание.

— Но вы не обещали?

— Нет. Но он меня предупредил. Он как-то сам воспользовался одним из них — всего раз!

— Вот как! И вы думаете?.. Предположим, предположим, что среди них найдется такой...

— Эти рецепты — странная штука, — сказал я, — даже пахнут они... Нет, оставим это!

Но я знал: раз уж я зашел так далеко, Пайкрафт от меня не отстанет. Я всегда немного побаивался, что, если вывести его из терпения, он внезапно навалится на меня всей тушей и задавит. Я сознаю, что проявил слабость характера. Кроме того, Пайкрафт надоел мне. В этот момент я был так не расположен к нему, что не удержался и сказал:

— Ну хорошо, рискните!

С Пэттисоном, о котором я упомянул, дело было совсем другое. Что с ним произошло — это к рассказу не относится, но тогда я по крайней мере знал, что лекарство не опасно для здоровья. В остальных рецептах я не был так уверен и вообще склонен сомневаться в безопасности лечебных средств прабабушки.

Но если даже Пайкрафт и отравится...

Должен сказать, что отравить колоссальное тело Пайкрафта казалось мне вовсе не простым предприятием.

В тот же вечер я вынул из сейфа странный, пропитанный своеобразным запахом ящик из сандалового дерева и стал перебирать шуршащие куски кожи. У джентльмена, который писал рецепты для моей прабабушки, было несомненное пристрастие к коже различного происхождения, и он отличался на редкость неразборчивым почерком. Некоторые записки были вовсе не доступны моему понима-

нию (несмотря на то что в нашей семье, долго связанной с Ост-Индской компанией, знание хинди передается из поколения в поколение) — и не было ни одной, расшифровать которую было бы легко. Все же я довольно скоро нашел то, что искал, и некоторое время сидел на полу возле сейфа, рассматривая рецепт.

— Вот, глядите, — сказал я Пайкрафту на следующий день, держа полоску кожи подальше от его жадных рук. — Насколько я мог разобраться, это рецепт для тех, кто хочет сбавить в весе. (О! — воскликнул Пайкрафт.) Я не совсем уверен, но, кажется, так. Все же, если хотите послушать моего совета, бросьте это дело. Потому что, знаете ли, насколько мне известно, мои предки по этой линии были очень странные люди. Видите, я не боюсь чернить своих родичей в ваших интересах, Пайкрафт!

— Дайте мне попробовать, — сказал Пайкрафт.

Я откинулся на стуле. Огромным усилием воображения я попытался представить себе, каким он станет потом... но безуспешно.

— А вы подумали, Пайкрафт, — сказал я, — на какого дьявола вы будете похожи, когда похудеете?

Он не внял голосу разума. Я взял с него слово никогда больше не говорить со мной о его отвратительной полноте — никогда, что бы ни случилось! — и только тогда отдал ему маленький лоскут кожи.

— Тошнотворное снадобье, — сказал я.

— Ничего, — ответил он и взял рецепт. Посмотрев на него, он выпучил глаза: — Но позвольте!..

Только теперь он обнаружил, что рецепт был написан не по-английски.

— Насколько это в моих силах, — сказал я, — я вам переведу.

Я постарался перевести рецепт как можно лучше. Затем в течение двух недель мы не разговаривали. Как только Пайкрафт ко мне приближался, я хмурился и делал знак, чтобы он отошел. Он соблюдал наш уговор, но к концу второй недели был такой же толстый, как и прежде. Наконец он не выдержал.

— Я должен поговорить с вами, — сказал он. — Так не годится! Здесь что-то не то. Не помогает. Не к чести вашей прабабушки...

— Где рецепт?

Он осторожно извлек его из бумажника.

Я пробежал глазами перечень всех составных частей.

— Вы тухлое яйцо взяли?

— Нет. А разве нужно было... тухлое?

— Это подразумевается во всех рецептах моей любезной прабабушки, — сказал я. — Если качество или состояние не указано, надо брать самое худшее. Она была женщина решительная и не терпела паллиативов. Из остальных веществ одно или два можно заменить другими. А яд гремучей змеи был свежий?

— Я достал гремучую змею у Джемрака. Она обошлась мне...

— Ну, это ваше дело. Теперь последняя часть состава...

— Я знаю человека, который...

— Прекрасно. Гм!.. Я напишу вам, какие составные части можно заменить и чем. Насколько я знаю язык, орфография в этом рецепте особенно хромает. Между прочим, под словом «пес» здесь подразумевается бродячий пес.

В продолжение месяца я постоянно видел Пайкрафта в клубе — все таким же толстым и озабоченным. Он соблюдал соглашение и только иногда нарушал дух нашего договора, с сокрушением покачивая головой. Однажды в гардеробе у него вырвалось:

— Ваша прабабушка...

— Ни слова о ней! — оборвал я его, и он прикусил язык.

Я уже считал, что он разочаровался в рецепте и отстал от меня. Один раз я видел, как он разговаривал (о своей полноте) с тремя новыми членами клуба, как бы в поисках других рецептов. Как вдруг, совсем неожиданно, пришла телеграмма.

— Мистеру Формалину! — под самым моим носом выкрикнул мальчик, который состоит в клубе на побегушках. Я взял телеграмму и сразу распечатал ее:

«Ради бога, приходите. Пайкрафт».

— Гм! — пробормотал я.

По правде сказать, я так обрадовался этой телеграмме, предвещавшей реабилитацию моей прабабушки, что позавтракал с отменным аппетитом.

Адрес я узнал у швейцара. Пайкрафт занимал верхнюю половину дома на Блумсбери, и я помчался туда, как только выпил кофе с бенедиктином. Не успел даже докурить сигару.

— Мистер Пайкрафт дома? — спросил я внизу.

Мне ответили, что он, вероятно, болен: два дня не выходил из дому.

Я сказал, что он ждет меня, и мне предложили подняться.

На площадке я позвонил у двери с решеткой.

«Все-таки не следовало ему пробовать это средство, — подумал я. — Человек, который жрет, как свинья, должен и выглядеть, как свинья».

Почтенного вида женщина с озабоченным лицом и кое-как надетым чепцом появилась по ту сторону решетки.

Я назвал себя, и она нерешительно отперла дверь.

— Ну? — спросил я, когда мы остановились друг против друга в прихожей Пайкрафта.

— Он сказал, что если вы придете, чтобы шли прямо к нему, — наконец заговорила она, продолжая неподвижно смотреть на меня, вместо того чтобы показать мне дорогу. Потом понизила голос: — Он заперся, сэр.

— Заперся?

— Заперся еще со вчерашнего утра и никого не впускает, сэр. И все время ругается. Беда, как бранится!

Я посмотрел на дверь, которую она мне показала глазами.

— Здесь? — спросил я.

— Да, сэр.

— Что с ним?

Она печально покачала головой:

— Все время еды требует, сэр! Тяжелой еды. Я достаю ему что могу: свинину, пудинг, колбасу, свежий хлеб. Все

вот такое тяжелое. Оставляю у дверей, раз ему так хочется, а сама ухожу. А сколько он ест, сэр, что-то ужасное!

В это время из-за двери раздался визгливый голос:

— Это Формалин?

— Это вы, Пайкрафт? — закричал я, подошел к двери и постучал.

— Скажите, чтобы она ушла!

Я велел ей уйти.

И тогда за дверью послышалась возня, будто кто-то нащупывал ручку в темноте, и я услышал знакомое хрюканье Пайкрафта.

— Все в порядке, — сказал я, — она ушла.

Но дверь еще долго не отворялась.

Наконец ключ повернулся, и голос Пайкрафта сказал:

— Войдите!

Я нажал на ручку и открыл дверь, естественно ожидая, что увижу Пайкрафта.

Но его не было.

Никогда в жизни я не был так потрясен. Я увидел его кабинет в необыкновенном беспорядке: опрокинутые стулья, груды грязных тарелок и блюд, наваленных вместе с книгами и письменными принадлежностями. Но Пайкрафта...

— Ладно, ладно, дружище, закройте дверь! — сказал он, и тут я увидел его.

Он был наверху, в углу над дверью, у самого карниза, будто его приклеили к потолку. Лицо у него было смущенное и жалкое. Он пыхтел и махал руками.

— Закройте дверь, — попросил он. — Если эта женщина узнает, в чем дело...

Я закрыл дверь, отошел на несколько шагов и, разинув рот, смотрел на него.

— Если только что-нибудь не выдержит и вы сорветесь, — сказал я, — вы сломаете себе шею.

— Увы, я был бы этому рад, — просипел он.

— Что за ребячество? В вашем возрасте и при вашем весе я бы не рискнул заниматься такой гимнастикой...

— Оставьте! — простонал он, и видно было, что он очень страдает. — Я вам все объясню. — И он опять замахал руками.

— Но как же, черт побери, вы там держитесь?

И вдруг я понял, что ему и не надо было держаться, что он висел, прижатый к потолку той же силой, которая заставляет лететь вверх пузырь, наполненный газом.

Он начал отчаянно барахтаться, чтобы оторваться от потолка и спуститься ко мне по стене.

— Это все ваш рецепт, — пыхтел он, работая руками и ногами. — Ваша праба...

В этот момент он неосторожно схватился за висевшую на стене гравюру в рамке, она сорвалась, и он взлетел обратно к потолку, а картина шлепнулась на диван. Он ударился о потолок, и я понял, почему он на самых выступающих местах своего тела весь запачкан белым. Он снова начал спускаться, на этот раз осторожнее, держась за полку камина.

Поистине это было необыкновенное зрелище: большой, жирный, полнокровный человек лез головой вниз, стараясь изо всех сил спуститься с потолка на пол.

— Лекарство... — сказал он, — подействовало чересчур сильно.

— Как так?

— Потеря в весе — почти полная!

И тут я, конечно, все понял.

— Клянусь богом, Пайкрафт! — воскликнул я. — Вы хотели лечиться от ожирения. Но вы всегда называли это «сбавлять в весе». Вы упорно говорили: «Сбавить в весе».

Признаться, я ликовал в душе. В эту минуту я готов был полюбить Пайкрафта.

— Дайте я помогу вам, — сказал я, поймал его руку и потянул вниз. Он лягался, стараясь встать на ноги. Ощущение у меня было примерно такое, как если бы я держал флаг в ветреный день.

— Стол из крепкого красного дерева, и очень тяжелый, — сказал он. — Если можете, запихните меня под него.

Я так и сделал, и вот он сидел и покачивался под столом, как привязанный воздушный шар, а я стоял на коврике у камина и разговаривал с ним. Я закурил сигару.

— Расскажите, как все это случилось.

— Я принял лекарство, — сказал он.

— И какое оно на вкус?

— Ужасная мерзость!

Вероятно, и все эти снадобья такие. Судя по составным частям и по их сочетанию, а также по возможным результатам, почти все рецепты моей прабабушки были по меньшей мере чрезвычайно неаппетитны. Сам бы я ни за что...

— Сначала я отпил один глоток.

— Да?

— Примерно через час я почувствовал себя легче и лучше и тогда решил проглотить все.

— Но, милый Пайкрафт!..

— Я зажал нос, — пояснил он. — Потом я почувствовал, что делаюсь все легче и легче и, знаете, каким-то беспомощным.

И вдруг он дал волю своей ярости.

— Но что же, черт побери, мне теперь делать?! — завопил он.

— Пока только ясно, чего вам не следует делать, — сказал я. — Если вы выйдете из дому, вы взлетите и будете подниматься все выше и выше. — Я помахал рукой, показывая ввысь. — Придется посылать в воздух Сантос-Дюмона, чтобы вернуть вас на землю.

— Может быть, со временем пройдет?

Я покачал головой:

— Не думаю, чтобы на это можно было рассчитывать.

Новая вспышка ярости. В порыве гнева он ногами сшибал стулья и стучал по полу. Он вел себя так, как, собственно, и должен вести себя в минуту испытания такой несуразный, жирный и невоздержанный человек, то есть очень скверно. Он говорил обо мне и о моей прабабушке, пренебрегая всеми правилами приличия.

— Я не уговаривал вас принять лекарство, — сказал я.

Великодушно пропуская мимо ушей оскорбления, которыми он меня осыпал, я уселся в его кресле и начал говорить с ним спокойным дружеским тоном.

Я указал ему, что он сам навлек на себя беду. Это было похоже на некое возмездие, на карающую руку Немезиды. Он слишком много ел. С этим он не согласился, и мы начали спорить. Но он стал так кричать и шуметь, что я не настаивал на этом поучительном выводе и подошел к делу иначе.

— Кроме того, — сказал я, — вы грешили против ясности речи: вы изысканно именовали «весом» то, что было бы справедливее, хотя и обиднее для вас, называть просто «жиром». Вы...

Он перебил меня, сказав, что все это он признает. Но теперь-то что ему делать?

Я предложил ему приспособиться к своему новому состоянию. Так мы перешли к практической стороне вопроса. Я высказал мысль, что ему будет не так уж трудно научиться ходить на руках по потолку и...

— Я не могу спать, — сказал он.

— Ну это, — заметил я, — не такая уж трудная проблема. Вполне можно устроить постель под проволочным матрацем, прикрепить все необходимые подстилки тесьмой, а одеяло, простыню и покрывало пристегивать на пуговицах по бокам.

Ему, видимо, придется довериться своей экономке. Мы поспорили, но затем он согласился. (Впоследствии было очень занятно смотреть, с каким невозмутимо деловым видом добрая женщина приняла все эти удивительные нововведения.) Можно принести в его комнату библиотечную лесенку и подавать ему обед на книжный шкаф. Мы изобрели также остроумное приспособление, с помощью которого он мог в любое время спускаться на пол. Для этого надо было только расставить все тома Британской энциклопедии (десятое издание) на верхних книжных полках. Он вытаскивает один или два тома, бе-

рет их под мышку и опускается. Мы договорились, что вдоль стен должны быть укреплены железные скобы: за них он будет держаться, если захочет путешествовать по комнате на более низком уровне.

Чем дальше, тем больше я входил во вкус всего этого дела. Это я позвал экономку и осторожно посвятил ее в нашу тайну. Я же сам, почти без чужой помощи, устроил ему перевернутую книзу постель. Целых два дня я провел в его квартире. Ведь я изобретательный и ловкий малый, когда вооружаюсь отверткой, и люблю во все соваться. Я сделал для него всевозможные хитроумные приспособления: провел провод, чтобы ему легче было звонить, переставил все электрические лампы так, чтобы они светили снизу вверх, а не сверху вниз, и тому подобное. Все это было необыкновенно забавно и интересно для меня. Я очень развлекался, представляя себе, как Пайкрафт, подобно огромной, жирной мухе, станет ползать по своему потолку и перебираться через притолоки дверей из одной комнаты в другую, и с удовольствием думал, что никогда, никогда больше он не придет в клуб.

Но вот однажды моя роковая изобретательность сыграла со мной злую шутку. Я сидел у его камина, попивал его виски, а он в своем излюбленном углу у карниза прибивал коврик к потолку, как вдруг меня осенила новая мысль.

— Пайкрафт! — воскликнул я. — Клянусь богом, все это совершенно не нужно! — И прежде чем я успел рассчитать все последствия своих слов, я выпалил: — Свинцовые подштанники! — И непростительная оплошность была совершена.

Пайкрафт ухватился за мою идею, едва сдерживая слезы.

— И я снова вернусь в нормальное человеческое состояние... — лепетал он.

Я выложил ему весь секрет, не подумав о том, к чему это приведет.

— Купите свинцовый лист, — сказал я, — наштампуйте из него кружков. Зашейте их в белье, сколько нужно для нормального веса. Закажите сапоги со свинцовой подошвой, заведите себе свинцовый чемодан — и дело в шляпе! Вместо того чтобы торчать здесь под потолком, вы сможете отправиться опять за границу, сможете путешествовать...

Тут мне пришла в голову еще более блестящая мысль:

— И никакие кораблекрушения для вас не страшны. Стоит вам только скинуть с себя хотя бы часть одежды, взять в руки необходимый багаж, и вы взлетите на воздух...

Он так разволновался, что уронил молоток и чуть не проломил мне голову.

— Боже правый! — воскликнул он. — И я смогу опять ходить в клуб!

Я осекся, пораженный таким оборотом дела.

— Да, да! — промолвил я упавшим голосом. — Конечно, сможете.

Он пришел. Он приходит каждый день. Вот он сидит позади меня, уплетая — клянусь! — уже третью порцию сладкой булки с маслом. И никто на целом свете, кроме его экономки и меня, не знает, что он фактически ничего не весит, что он не что иное, как докучная масса ассимилирующей пищу материи, какая-то облачность в одежде человека, niente, nefas, самый ничтожный из людей. Вот он сидит и ждет, когда я кончу писать. И тогда он попытается подкараулить меня. Он подойдет ко мне, колыхаясь...

И будет снова говорить мне обо всем этом: как он себя чувствует и как он не чувствует того, что должен чувствовать, и как ему иногда кажется, что стало чуточку лучше. И обязательно где-нибудь посреди глупой, бесконечной болтовни вставит: «Ну как, не выдадим секрет, а? Если кто-нибудь узнает, это такой стыд... Знаете, когда человек в таком дурацком положении: ползает по потолку, и все прочее...»

Я кончил писать. Теперь осталось улизнуть от Пайкрафта, занявшего превосходную стратегическую позицию между дверью и мной.

ИСКУШЕНИЕ ХЭРРИНГЕЯ

Невозможно установить, действительно ли все это произошло. Я знаю эту историю только со слов художника Р.-М. Хэррингея.

По его версии, события развивались так: около десяти часов утра он зашел к себе в мастерскую закончить портрет, над которым работал накануне. Это была голова итальянца-шарманщика, и Хэррингей намеревался, хотя еще не решил окончательно, назвать эту картину «Молитвенный экстаз». Все это не вызывает сомнений, и в его словах звучит безыскусственная правда. Увидя шарманщика, который ждал, что ему бросят из окон монетки, Хэррингей с живостью, присущей талантливым людям, зазвал итальянца к себе в мастерскую.

— Становись на колени! — скомандовал Хэррингей. — Смотри вверх, на эту люстру, как будто ждешь, что оттуда посыплются деньги. И перестань скалить зубы! — продолжал он. — Меня не интересуют твои десны. Старайся выглядеть несчастным.

Теперь, когда прошла ночь, картина показалась ему совершенно неудавшейся.

— Вообще-то неплохо, — сказал себе Хэррингей. — Шея удачно выписана. А все-таки...

Он походил по мастерской, глядя на полотно то с одной, то с другой стороны. Затем выругался... В своем рассказе он не опускал подробностей.

— Картинка, и больше ничего, — пробормотал он. — Портрет какого-то шарманщика. Но живого шарманщика тут нет, как ни жаль. Не умею я почему-то писать живых людей. Неужели творческое воображение мне изменяет?

И это правда. Творческое воображение действительно ему изменяло.

— Эх, сюда бы кисть истинного мастера! Берешь полотно, краску и создаешь человека, как Адам был создан из красной глины. Ну а это подобие лица! Да попадись вам оно на улице, вы сказали бы: его делали где-то в мастерской! Любой мальчишка крикнул бы: «Катись восвояси, чего вылез из рамы?» А между тем легонький мазок... Нет, так это оставить нельзя.

Хэррингей подошел к окну и стал спускать штору. Она была из голубого полотна и наматывалась на валик под окном: для того чтобы лучше осветить мастерскую, ее надо было потянуть вниз. Взяв со стола палитру, кисти и муштабель, Хэррингей вернулся к картине, тронул коричневой краской уголок рта, а затем сосредоточил свое внимание на зрачках. Немного погодя он решил, что для человека, застывшего в напряженном ожидании, подбородок чересчур бесстрастен.

Наконец он отложил кисти в сторону, закурил трубку и стал критически всматриваться, проверяя, насколько продвинулась работа.

— Черт меня побери, да ведь он усмехается! — вскричал Хэррингей; и он до сих пор убежден, что портрет усмехнулся.

Лицо на портрете стало, бесспорно, гораздо живее, но, увы, выражало оно вовсе не то, чего желал художник. Да. Лицо усмехнулось, тут не могло быть сомнений.

— «Молитва безбожника», — решил Хэррингей. — Этак будет и тонко, и хитро. Но в таком случае левая бровь недостаточно саркастична.

Он подошел ближе, положил легкий мазок на левую бровь, а заодно сделал рельефнее ушную раковину, чтобы придать образу большую жизненность.

Потом снова стал рассуждать.

— Боюсь, что выражение молитвенного экстаза уже не вернуть, — сказал он себе. — Почему бы не назвать его «Мефистофелем»? Нет, это слишком затасканно. «Друг венецианского дожа» — вот это свежее. Впрочем, ему не пойдет кольчуга, это будет слишком напоминать наш легендарный Камелот. А что, если облечь его в пурпурную мантию и окрестить «Член священной коллегии»? Это покажет и юмор автора, и его знакомство с историей Италии в средние века. Вот и у Бенвенуто Челлини, — продолжал Хэррингей, — есть портреты, где в одном из углов чуть

светится золотая чаша, — очень остроумно! Но чтобы оттенить цвет лица моего итальянца, надо придумать что-то другое.

Хэррингей рассказывал, что он нарочно болтал сам с собой, чтобы заглушить безотчетное и мучительное ощущение страха. Лицо перед ним приобретало, как ни смотреть, все более отталкивающее выражение. И все-таки в нем чувствовалось и жило нечто из плоти и крови, пусть зловещее, но более живое, чем все, что когда-либо выходило из-под его кисти.

— Назову-ка я его «Портрет джентльмена», — сказал Хэррингей. — Просто «Портрет одного джентльмена». Не годится, — пробормотал он, все еще стараясь не падать духом. — Получилось именно то, что у нас принято называть «дурным вкусом». Раньше всего надо убрать усмешку. Если ее уничтожить и блеск в глазах сделать ярче (почему-то я раньше не замечал, какой у него жгучий взгляд), тогда он сможет сойти за... хотя бы за «Страдальца пилигрима». Но только по эту сторону Ла-Манша такое дьявольское лицо успеха иметь не будет. В чем-то я погрешил, — заключил он. — Может быть, брови слишком раскосы. — И, опустив штору еще ниже, он снова схватил палитру и кисти.

Лицо на портрете, по-видимому, жило собственной жизнью. Хэррингей не мог доискаться, откуда же в нем такое дьявольское выражение. Это надо было проверить. Брови... Вряд ли причина была в бровях, но на всякий случай он их переделал. Лучше от этого портрет не стал, скорее наоборот, лицо сделалось еще более сатанинским. Углы рта?.. Уф! Саркастическая усмешка превратилась в угрожающе свирепую. Ну что ж, тогда, может быть, этот глаз? Беда, да и только! Хотя художник был уверен, что ткнул кисть не в киноварь, а именно в коричневую краску, он все-таки попал в киноварь. Теперь глаз, казалось, повернулся в орбите и засверкал злобным огнем. Тогда в порыве гнева, смешанного, быть может, с храбростью отчаяния, Хэррингей набрал на кисть ярко-красной краски и ударил ею по портрету. И тут случилось нечто очень любопытное и странное, если только это правда.

Этот сатанинский итальянец на портрете закрыл глаза, плотно сжал губы и рукой стер краску с лица.

Затем красный глаз снова открылся с легким звуком, напоминающим чмоканье, и на лице появилась улыбка.

— Какой же вы вспыльчивый! — произнес Портрет.

Хэррингей утверждает, что теперь, когда произошло худшее, к нему вернулось самообладание. Его спасла уверенность, что черти — существа разумные.

— А вы чего все время дергаетесь, гримасничаете и усмехаетесь, пока я вас пишу? — воскликнул он.

— Ничего подобного не было! — ответил Портрет.

— Нет, было, — возразил художник.

— Не выдумывайте, все это делали вы сами! — сказал Портрет.

— Нет, не я!

— Именно вы! — воскликнул Портрет. — И не вздумайте снова заляпать меня краской, потому что я говорю чистую правду. Все утро вы старались придать моему лицу какое-то дурацкое выражение. А между тем вы сами не знаете, какой должна быть ваша картина.

— Прекрасно знаю, — проворчал Хэррингей.

— Нет, не знаете, — повторил Портрет. — Вы никогда не ставите перед собой ясной цели. Каждую работу вы начинаете с самыми смутными намерениями, наобум. Вы уверены только в одном — что создадите нечто прекрасное, возвышенное, может быть, даже трагическое, но при этом полагаетесь на удачу, на счастливый случай. Милый мой, неужели вы думаете, что таким путем можно создать шедевр?

Не следует забывать, что обо всех этих событиях мы знаем только со слов Хэррингея.

— Я буду писать свои картины так, как считаю нужным, — спокойно заявил он.

Эти слова слегка озадачили Портрет.

— Нельзя написать картину без вдохновения, — возразил он.

— Что ж, я вас и написал с вдохновением!

— С вдохновением! — насмешливо процедил Портрет. — Да вам просто взбрело в голову написать картину, когда вы увидели, как шарманщик смотрит на ваши окна! «Молитвенный экстаз»! Ха-ха! На авось вы начали малевать, вот как дело было. И когда я увидел, что вы тут натворили, я и пришел. Решил с вами поговорить. Искусство, — продолжал Портрет, — в ваших руках довольно жалкое занятие. Работаете вы вяло. Не знаю почему, но чувствуется, что без души, и, кроме того, вы слишком много знаете. Это вам мешает. В разгаре работы вы спрашиваете себя, не была ли уже раньше написана похожая картина, и...

— Послушайте, — прервал его Хэррингей, ожидавший от дьявола чего-то более увлекательного, чем критические мысли об искусстве. — Вы что, читать мне лекцию собираетесь?

И он набрал на свою кисть из свиной щетины (номер двенадцатый) красной краски.

— Истинный художник, — заявил Портрет, — всегда невежествен. А тот, кто начинает теоретизировать, из художника превращается в критика. Вагнер... Послушайте, для чего вам эта красная краска?

— Я сейчас вас закрашу! — сказал Хэррингей. — Не желаю слушать всякую ерунду. Если вы воображаете, будто только потому, что я профессиональный художник, я стану спорить с вами о сущности искусства, вы изволите ошибаться.

— Подождите минуточку! — сказал Портрет с тревогой. — Я хочу сделать вам одно предложение, вполне деловое предложение. Мои слова — сущая правда. Вам не хватает вдохновения. Что ж, я вам помогу. Вы, конечно, слышали о легендах про Кельнский собор и Чертов мост...

— Чепуха! — воскликнул Хэррингей. — Неужели вы воображаете, что я загублю душу ради удовольствия написать хорошую картину, которую все равно потом разругают? Вот вам за это!

Кровь стучала у него в висках. Опасность, по его словам, раззадоривала и придавала мужества. Набрав на кисть

красной краски, он залепил ею рот своему созданию. Итальянец в негодовании начал стирать краску и плеваться. И тут, как рассказывал Хэррингей, начался удивительный поединок. Художник замазывал полотно красной краской, а Портрет корчился и старался ее стереть.

— Вы напишете два шедевра, — предложил искуситель. — Две гениальные картины за душу художника из Челси. Согласны?

Хэррингей ответил новым ударом кисти.

В течение нескольких минут было слышно только, как шлепала кисть, как плевался и бранился итальянец. Немало краски попало на руку, которой он защищался, но часто Хэррингей бил без промаха — прямо в лицо.

Но вот кончилась краска на палитре, и противники замерли, запыхавшись и пристально глядя друг другу в глаза. Итальянец был так перепачкан красным, будто вывалялся в крови на бойне. Он едва переводил дыхание и ежился: его щекотала краска, стекавшая ему за воротник. Но все же первый раунд окончился в его пользу, и он упорствовал.

— Подумайте хорошенько, — сказал он. — Два непревзойденных шедевра, и в разных стилях. Каждый не уступает фрескам в соборе, и...

— Придумал! — крикнул Хэррингей и ринулся вон из мастерской, по коридору, в комнату своей жены.

Через минуту он прибежал с малярной кистью и внушительной банкой эмалевой краски, на которой было написано: «Цвет воробьиного яйца».

При виде этого красноглазый искуситель завопил:

— Три шедевра! Непревзойденных! Небывалых!

Хэррингей размахнулся, сплеча хватил кистью наискось по полотну и, набрав еще краски, запечатал ею глаз демона. Послышалось бормотание: «Четыре шедевра», — и Портрет стал отплевываться.

Но теперь Хэррингей был хозяином положения и не собирался сдаваться. Быстрые и решительные мазки один за другим ложились на трепещущее полотно, пока наконец оно не превратилось в однородную блестящую поверх-

ность «цвета воробьиного яйца». На миг снова показался рот, но он успел только проговорить: «Пять шедев...» — и Хэррингей залил его краской. Потом вдруг сверкнул злобным негодованием красный глаз, но после этого уже ничто не нарушало однообразия быстро сохнувшей эмалевой глади. Правда, от легкого содрогания полотна краска продолжала еще кое-где пузыриться, но потом улеглась, и полотно замерло в неподвижности.

Тогда Хэррингей (так по крайней мере он рассказывал) сел, закурил трубку, устремил взгляд на покрытое эмалевой краской полотно и попытался разобраться в том, что случилось. Потом он обошел мольберт, чтобы посмотреть на обратную сторону полотна. И тут ему стало досадно, что он не сфотографировал дьявола, прежде чем похоронить его под эмалевой краской.

Таков рассказ Хэррингея, и я за него ответственности на себя не беру. Как вещественное доказательство он показал небольшое полотно, двадцать четыре дюйма на двадцать, сплошь покрытое светло-зеленой эмалевой краской, и добавил к этому свои клятвенные уверения. Кроме того, известно, что Хэррингей не создал ни одного шедевра и, по убеждению своих самых близких друзей, никогда ничего выдающегося не создаст.

ПОХИЩЕННАЯ БАЦИЛЛА

—А вот это, — сказал бактериолог, подкладывая под микроскоп стеклянную пластинку, — препарат знаменитой холерной бациллы — микроб холеры.

Человек с бледным лицом заглянул в микроскоп — очевидно, он не привык иметь дело с этим прибором — и мягкой белой рукой прикрыл левый глаз.

— Я почти ничего не вижу, — сказал он.

— Поверните вот этот винт, — посоветовал бактериолог, — может быть, изображение не в фокусе для вас, глаза ведь у всех разные. Чуть-чуть поверните в одну сторону, потом в другую.

— Так, теперь вижу, — сказал посетитель, — но в конце концов видеть-то особенно нечего. Розовые полоски и пятнышки. А между тем такие вот крошечные существа, эти ничтожные микробы могут размножиться и опустошить целый город. Удивительно!

Он встал и, вынув пластинку из-под микроскопа, поднял ее, рассматривая на свет.

— Их почти не видно, — сказал он, разглядывая препарат, и, помолчав, добавил: — Это живые бациллы? Они опасны?

— Нет, они убиты и окрашены, — ответил бактериолог. — Я хотел бы, чтобы мы могли умертвить все подобные бациллы во вселенной.

— Думаю, — с легкой улыбкой проговорил человек с бледным лицом, — что вам не очень-то хотелось бы держать у себя такие существа живыми, в активном состоянии.

— Напротив, нам обязательно надо держать их живыми, — возразил бактериолог. — Да вот, например... — Он прошел в другой конец комнаты и взял одну из нескольких запечатанных пробирок. — Вот это — живая бацилла. Это — культура живой бактерии... — Он запнулся. — Так сказать, холера, загнанная в бутылку.

На бледном лице посетителя на мгновение блеснуло выражение удовольствия.

— Вы владеете смертоносным оружием, — проговорил он, впиваясь глазами в пробирку.

На лице своего гостя бактериолог уловил выражение нездоровой радости. Этот человек только что пришел к нему с рекомендательным письмом от его старого друга и заинтересовал бактериолога, который почувствовал, что он и его гость — люди совсем разного склада. Прямые черные волосы и глубоко посаженные серые глаза незнакомца, осунувшееся лицо и нервные движения, жадный, острый интерес к бациллам — все это было так не похоже на флегматичных, рассудительных ученых, с которыми

привык общаться бактериолог. Перед слушателем, интересующимся, очевидно, прежде всего смертоносностью бактерий, естественно было показать дело с самой эффектной стороны.

Задумавшись, бактериолог держал в руке пробирку.

— Да, — проговорил он, — это — холера, посаженная за решетку. Разбейте такую вот пробирку над источником, питающим городской водопровод, скомандуйте этим крошечным живым частичкам — таким крохотным, что их можно рассмотреть только в самый мощный микроскоп, и то окрасив препарат, бактериям без вкуса и запаха, — скомандуйте им: «Вперед! Растите и размножайтесь, наполняйте цистерны!» — и тогда смерть, таинственная и неуловимая, смерть быстрая и ужасная, смерть мучительная и безобразная обрушится на город и начнет рыскать повсюду, отыскивая себе жертвы. Здесь она лишит жену мужа, там отнимет у матери ребенка, оторвет государственного деятеля от его обязанностей, труженика — от его забот. Она будет следовать по путям водопроводных труб, проникая во все улицы, вылавливая и наказывая то в одном, то в другом доме тех, кто пьет сырую воду, она проникнет в чаны фабрикантов минеральной воды, проберется в салат, когда его будут мыть, и притаится в мороженом. Она будет сидеть в кормушках животных и ждать, когда ее проглотят, она будет подкарауливать беспечных ребятишек, которым захочется напиться из уличного фонтана. Она пропитает землю и появится в ручейках и колодцах, в тысяче самых неожиданных мест. Только пустите эту бациллу в водопровод, и, прежде чем мы поймаем и укротим ее, она уничтожит столицу!

Бактериолог внезапно замолчал. Ему не раз указывали на его страсть к риторике.

— Ну а здесь, видите ли, она совершенно безопасна.

Человек с бледным лицом кивнул головой. Глаза его сверкали. Он откашлялся.

— Эти негодяи-анархисты — дураки, — сказал он, — слепые дураки: бросать бомбы, когда есть такая штука! Мне кажется...

В дверь тихонько постучали, скорее даже не постучали, а поцарапали об нее ногтем. Бактериолог открыл дверь.

— На минуточку, милый, — прошептала его жена.

Когда он вернулся в лабораторию, посетитель смотрел на часы.

— Я и понятия не имел, что отнял у вас целый час, — сказал он, — сейчас без двенадцати четыре, а мне нужно было уйти в половине четвертого. Но то, что вы мне показывали, было так интересно... Нет, право же, больше я не могу остаться ни на минуту, в четыре у меня важное свидание!

Рассыпаясь в благодарностях, он вышел из комнаты. Бактериолог проводил его до дверей, а затем, задумавшись, вернулся по коридору в лабораторию. Он попытался догадаться, какой национальности его посетитель. Несомненно, не германец, но не похож и на представителя латинских народов. Во всяком случае, в нем есть что-то патологическое, — про себя заметил бактериолог, — как он уставился на эту культуру болезнетворных микробов! Внезапно у него мелькнула тревожная мысль. Он повернулся к скамье возле паровой ванны, затем быстро подошел к письменному столу и стал поспешно шарить в своих карманах, потом бросился к двери.

— Может быть, я оставил ее на столе в передней, — пробормотал он.

— Минни! — хриплым голосом закричал он из передней.

— Да, милый? — отозвался голос из дальней комнаты.

— Когда я только что с тобой разговаривал, милочка, было у меня что-нибудь в руках?

Пауза.

— Нет, милый, ничего не было, потому что я помню...

— Синяя бацилла пропала! — воскликнул бактериолог. Он опрометью кинулся к двери и сбежал по ступеням на улицу.

Услышав стук захлопнувшейся двери, Минни в тревоге кинулась к окну. Она увидела, как на улице какой-то худой человек усаживался в кеб. К нему, неистово размахивая руками, мчался бактериолог без шляпы и в домашних

туфлях. Одна туфля упала с ноги, но он не стал терять времени на то, чтобы поднять ее.

— С ума сошел! — воскликнула Минни. — Вот что наделала эта противная наука!

Минни открыла окно и хотела позвать мужа. Худой человек внезапно оглянулся и, по-видимому, тоже подумал, что ученый сошел с ума. Он торопливо показал кебмену на бактериолога и что-то сказал. Щелкнула застежка кожаного фартука, просвистел бич, копыта застучали по мостовой, и в тот же миг кеб и бактериолог, бросившийся за ним следом, понеслись по улице и исчезли за углом.

С минуту Минни стояла, высунувшись из окна, потом вернулась в комнату. Она была совершенно ошеломлена.

«Конечно, муж чудак, — размышляла она, — но все-таки бегать по Лондону в самый разгар сезона в одних носках!..» Ей пришла в голову счастливая мысль. Она быстро надела шляпку, схватила ботинки мужа, выбежала в переднюю, сняла с вешалки его летнее пальто, шляпу и выскочила на улицу. На ее счастье, как раз мимо медленно проезжал кеб, и она его окликнула.

— Везите меня прямо, потом сверните на Хейвлок-кресент и постарайтесь догнать джентльмена без шляпы и в бархатной куртке.

— Бархатная куртка, мэм, и без шляпы? Очень хорошо, мэм!

И кебмен стегнул лошадь с таким решительным видом, точно ему каждый день приходилось ездить по подобным адресам.

Несколько минут спустя кучка кебменов и ротозеев, как всегда собравшаяся у стоянки извозчиков на Хаверсток-Хилле, была поражена видом бешено мчавшейся пегой лошаденки, запряженной в кеб.

Все молчали, пока кеб не скрылся из виду, а затем полный джентльмен, известный под кличкой Старый Болтун, сказал:

— Это Гарри Хикс. Что это с ним стряслось?

— А кнутом-то как работает, зря не машет, — добавил мальчишка-конюх.

— Гляди-ка, — воскликнул Томми Байлс, — а вот еще один сумасшедший, разрази меня на этом месте, и впрямь еще один катит!

— Это наш Джордж, — отозвался Старый Болтун, — а везет он сумасшедшего, это ты верно сказал; как бы он не вывалился из кеба! Не за Гарри ли Хиксом он гонится?

Общество на извозчичьей стоянке все больше оживлялось. Кричали хором: «Наддай, Джордж!», «Вот так скачки!», «Ты его догонишь!», «Погоняй!»

— Ишь, как чешет! — сказал мальчишка-конюх.

— Голова кругом идет, — воскликнул Старый Болтун, — ей-богу, сейчас сам помчусь! Глядите, еще один! Никак все кебмены в Хэмпстеде спятили сегодня!

— На этот раз — баба! — сказал мальчишка-конюх.

— За ним гонится, — добавил Старый Болтун, — чаще бывает наоборот: он за ней, а не она за ним.

— Что у нее в руках?

— Похоже, что шляпа.

— Вот забава! Ставлю три против одного на старика Джорджа, — предложил мальчишка-конюх, — кто следующий?

Минни промчалась мимо. Ее сопровождала буря оваций. Ей это не понравилось, но она сознавала, что исполняет свой долг, и неслась дальше по Хаверсток-Хиллу и Кэмдентаун-Хай-стрит, не отрывая глаз от спины старого Джорджа, непонятно почему увозившего от нее беглеца-мужа.

Человек в первом кебе сидел, забившись в угол, скрестив на груди руки и крепко сжимая в кулаке пробирку с могучим средством разрушения. Он испытывал смешанное чувство страха и радостного возбуждения. Больше всего он боялся, что его поймают, прежде чем он успеет осуществить свой замысел, однако в глубине его души был смутный, но еще более сильный страх перед чудовищностью затеянного преступления. И все же радость пересиливала страх. Ни один анархист еще не додумался до того, что собирался сделать он. Равашоль, Вайан и все эти знаменитые деятели, славе которых он завидовал, бледнели и

казались ничтожными по сравнению с ним. Ему надо только добраться до городской водокачки и разбить пробирку над баком. Как блестяще он все подготовил, подделал рекомендательное письмо, проник в лабораторию и так блестяще воспользовался случаем! Наконец-то мир услышит о нем! Наконец-то всем этим людям, которые над ним смеялись, им пренебрегали, избегали его общества, придется считаться с ним. Смерть, смерть, смерть! Сколько унижений он вытерпел как человек, не заслуживающий внимания. Весь мир был в заговоре, чтобы не дать ему подняться. Теперь он покажет, что значит не замечать человека! Кажется, эта улица ему знакома. Да, конечно, это улица Сент-Эндрю. А где же его преследователь? Он выглянул из кеба. Между ним и бактериологом было не больше пятидесяти ярдов. Плохо! Его еще могут нагнать и остановить. Он нащупал в кармане деньги и достал полсоверена. Приподнявшись, он через окошечко в крыше сунул монету под нос кучеру.

— Еще дам, — закричал он, — если сумеете удрать!

Мгновенно деньги были выхвачены у него из руки.

— Ладно! — сказал кебмен.

Окошечко захлопнулось, и бич опустился на блестящий бок лошади. Кеб дернуло, и анархист, который еще не успел сесть, ухватился рукой со стеклянной пробиркой за фартук, чтобы не упасть. Он почувствовал, как пробирка сломалась в его руке. Отбитая половинка звякнула о дно кеба. Он выругался, откинулся на сиденье и мрачно поглядел на капли жидкости, упавшие на фартук.

Анархист содрогнулся.

— Ну что ж, кажется, мне придется быть первым. Бр-р, но я по крайней мере стану мучеником. Это уже кое-что! А все-таки ужасная смерть. Так ли она мучительна, как говорят?

Тут у него мелькнула новая мысль. Он пошарил у себя под ногами. В отбитой части пробирки сохранилось немного жидкости, и он для верности выпил ее. Надо было действовать наверняка. Как бы то ни было, неудачи он не потерпит!

Потом он подумал, что теперь ему незачем удирать от бактериолога. На Веллингтон-стрит он велел кучеру остановиться и вышел из кеба. На подножке он поскользнулся, голова у него слегка кружилась. Быстро действует этот холерный яд! Он помахал кебмену, как бы устраняя его из своего бытия, и, скрестив руки на груди, остановился на тротуаре, поджидая бактериолога. В его позе было что-то трагическое. Сознание близкой гибели придавало его фигуре некоторое достоинство. Он приветствовал бактериолога вызывающим смехом:

— Vive l'anarchie!* Опоздали, мой друг! Я выпил ваш препарат. Холера спущена с цепи!

Не выходя из кеба, бактериолог сквозь очки поглядел на него с веселым любопытством:

— Выпили? Анархист? Теперь понятно!

Он хотел было что-то добавить, но воздержался. В углах рта затаилась усмешка. Он отбросил фартук, как будто хотел вылезти из кеба, в то время как анархист драматическим жестом махнул ему на прощание рукой и пошел к мосту Ватерлоо, стараясь своим зараженным телом толкнуть возможно большее число людей. Бактериолог с таким интересом смотрел ему вслед, что почти не выразил удивления, когда на тротуаре появилась Минни со шляпой, пальто и ботинками.

— Очень мило, что ты принесла мои вещи, — рассеянно заметил он, все еще внимательно следя за удалявшейся фигурой анархиста.

— Садись ко мне, — добавил он, не поворачивая головы.

Минни теперь была совершенно убеждена, что ее муж сошел с ума, и на свою ответственность велела кучеру ехать домой.

— Что? Надеть ботинки? Разумеется, милочка, — сказал бактериолог, когда кеб повернул и скрыл от него торжественную черную фигуру, казавшуюся на расстоянии совсем маленькой.

Вдруг ему что-то показалось таким смешным, что он расхохотался, а потом заметил:

* Да здравствует анархия! *(фр.)*

— Это все-таки очень серьезное дело. Понимаешь, этот человек пришел сегодня ко мне, а он — анархист... не падай в обморок, а то я не смогу тебе всего рассказать. Я не знал, что он анархист, хотел удивить его и показал ему культуру этой новой бациллы, о которой я тебе говорил, той самой, которая, я думаю, вызывает появление синих пятен у обезьян разных пород. Я свалял дурака и сказал ему, что это — бацилла азиатской холеры. Он похитил ее и убежал, чтобы отравить воду в Лондоне, и он действительно мог бы наделать много неприятностей нашему цивилизованному городу. А теперь он сам проглотил бациллу. Конечно, я не могу сказать наверное, что с ним случится, но ты помнишь, как котенок и три щенка покрылись от нее синими пятнами, а воробей стал ярко-голубым. Хуже всего то, что мне придется опять возиться и тратить деньги, чтобы приготовить новый препарат.

Что? Надеть пальто в такую жару! Зачем? Потому что мы можем встретить миссис Джеббер? Но, милочка моя, ведь миссис Джеббер не сквозняк. Чего ради я стану в жару надевать пальто из-за миссис... А... ну, ладно!

ЗВЕЗДА

Впервый день нового года три обсерватории почти одновременно объявили, что в движении планеты Нептун, самой отдаленной из всех обращающихся вокруг Солнца, замечена большая неправильность. Огилви еще в декабре указал на непонятное замедление движения Нептуна. Подобное сообщение, однако, не могло заинтересовать мир, большая часть населения которого не знала даже о существовании планеты Нептун. Открытие еле заметного отдаленного пятнышка света в районе закапризничавшей планеты также не вызвало ни у кого особенного волнения, если не считать астрономов. Однако ученые обратили серьезное внимание на это сообщение даже раньше, чем стало известно, что новое тело быстро увеличивается и становится все ярче, что его движение совершенно не похоже на движение планет и что Нептун и его спутник все больше и больше отклоняются от обычной орбиты — явление совершенно беспрецедентное.

Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолированность Солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплотные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишенное тепла, света и звука, абсолютная пустота, миллион миль, повторенный двадцать миллионов раз, — таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. И за исключением немногих комет, менее материальных, чем тончайшее пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело. Огромная масса материи, тяжелая, стремительная, неожиданно вынырнула из черной безвестности небесной пустоты в пределы, доступные лучам Солнца. На второй день пришелец был ясно виден даже в слабый телескоп, как пятнышко с еле уловимым диаметром, в созвездии Льва, вблизи Регула. Скоро его можно было наблюдать в театральный бинокль.

На третий день нового года читатели газет на обоих полушариях были впервые оповещены о действительном значении этого необычного небесного явления. «Столкновение планет» — так озаглавила статью одна лондонская газета, публикуя высказанное Дюшеном мнение, что неизвестная новая планета, вероятно, столкнется с Нептуном. Редакционные статьи были посвящены той же теме. Таким образом, третьего января в большинстве мировых столиц царило неясное ожидание какого-то неминуемого небесного явления, и, когда зашло Солнце и на Земле наступила ночь, тысячи людей обратили взоры на небо, чтобы увидеть все те же давно знакомые звезды.

Ничто не изменилось, пока в Лондоне не наступил рассвет и не зашло созвездие Близнецов, а звезды над головой не начали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет. Тьма медленно сменялась дневным сумраком, а кое-где желтый блеск газа и свечей в окнах показывал, что люди уже встают. И вдруг сонный полицейский перестал зевать, замерли суетящиеся люди на рынках, рабочие, спешившие на работу, развозчики молока и разносчики газет, усталые, бледные кутилы, возвращающиеся домой, бездомные бродяги и часовые на своих постах, батраки, бредущие в поле, и браконьеры, тайком пробирающиеся домой (вся сумрачная, пробуждающаяся страна увидела это), и в океане — моряки, ожидавшие дня: в западной части неба внезапно вспыхнула большая белая звезда!

Она была ярче любой звезды на нашем небосклоне, ярче вечерней звезды в часы наибольшей яркости. Она сверкала, белая и большая, еще час после наступления дня, уже не мерцающая точка, а небольшой круглый сияющий диск. И там, куда еще не дошли научные знания, люди смотрели на нее со страхом и говорили о войнах и моровых язвах, предвещаемых этим огненным знамением в небе. Коренастые буры, темнокожие готтентоты, негры Золотого Берега, французы, испанцы, португальцы — все стояли под лучами восходящего Солнца, наблюдая, как странная новая звезда исчезала за краем горизонта.

А в сотнях обсерваторий уже несколько часов нарастало сдержанное волнение, прорвавшееся, когда два далеких тела столкнулись; в спешке готовились фотографические аппараты и спектроскопы, чтобы запечатлеть небывалое, удивительное явление — гибель целого мира. Ибо в огне погиб целый мир — планета, сестра нашей Земли, но намного превосходившая ее размерами. Неизвестная планета, явившаяся из неизмеримых глубин пространства, ударилась о Нептун, и жар, возникший от столкновения, превратил два твердых тела в единую раскаленную массу. В тот день, за два часа до восхода Солнца, бледная большая звезда обошла весь мир и исчезла из виду на западе, когда Солнце встало уже высоко. Повсюду люди дивились на эту

звезду, но из всех, кто видел ее, больше всего удивлялись ей моряки — постоянные наблюдатели звезд, — ведь, находясь далеко в море, они ничего не слышали о ее появлении и теперь глядели, как она восходит, подобно карликовой Луне, поднимается к зениту, висит над головой и на исходе ночи потухает на западе.

А когда она снова взошла над Европой, толпы зрителей на пригорках, на крышах домов, на открытых местах уже смотрели на восток, ожидая восхода этой новой большой звезды. Она восходила, предшествуемая белым сиянием, подобным блеску белого огня, и те, кто в предыдущую ночь видел ее рождение, теперь разразились криками. «Она стала больше! — кричали они. — Она стала ярче!» И действительно, хотя серп Луны, заходившей на западе, был гораздо больше, он при всей своей величине сиял не ярче маленького диска удивительной звезды.

«Она стала ярче!» — восклицали толпившиеся на улицах люди. Но наблюдатели в темных обсерваториях переглядывались, затаив дыхание. «Она приближается, — говорили они. — Приближается!»

И один голос за другим повторял: «Она приближается!» И телеграф выстукивал это известие, и оно передавалось по телефонной проволоке, и в тысяче городов перепачканные наборщики набирали слова: «Она приближается!» Клерки в конторах бросали перья, пораженные страшной мыслью, люди, разговаривавшие в тысяче мест, вдруг осознавали страшную возможность, заключенную в словах: «Она приближается!» Эти слова неслись по просыпающимся улицам; их выкрикивали на покрытых инеем дорогах мирных деревень. Люди, прочитавшие эти слова на трепещущей телеграфной ленте, стояли в желтом свете открытых дверей и кричали прохожим: «Она приближается!» Хорошенькие женщины, раскрасневшиеся, сверкающие драгоценностями, выслушивали от своих кавалеров в перерыве между танцами шутливый рассказ об этом событии и с притворным интересом спрашивали: «Приближается? В самом деле? Как интересно! Каким умным, умным человеком надо быть, чтобы сделать такое открытие!»

Одинокие бродяги, не нашедшие приюта в эту холодную зимнюю ночь, поглядывали на небо и бормотали, чтобы отвлечься: «Пусть приближается, ночь холодна, как благотворительность. Только если она даже и приближается, тепла и от нее все равно немного».

— Что мне за дело до новой звезды? — кричала плачущая женщина, опускаясь на колени возле умершего.

Школьник, вставший рано, чтобы готовиться к экзамену, размышлял, глядя сквозь покрытое морозным узором стекло на большую, ярко сияющую белую звезду. «Центробежность! Центростремительность... — сказал он, подперев кулаком подбородок. — Если планета, потеряв свою центробежную силу, вдруг остановится, что тогда? Будет действовать сила центростремительная — и планета упадет на Солнце. И тогда... Окажемся ли мы на ее пути? Неужели...»

Этот день угас, как и все предыдущие бесчисленные дни, а в поздние часы морозной ночи вновь пришла странная звезда. Она была теперь так ярка, что увеличившаяся Луна казалась только бледно-желтой тенью самой себя. Один из городов Южной Африки встречал наиболее уважаемого из своих граждан и его молодую жену, возвращавшихся из свадебной поездки. «Даже небеса иллюминованы», — сказал льстец. Под тропиком Козерога двое темнокожих влюбленных, чья любовь была сильнее страха перед дикими зверями и злыми духами, притаились в камышах, где летали светляки. «Это наша звезда», — шептали они, упоенные ее серебристым сиянием.

Великий математик у себя в кабинете отодвинул лежавшие перед ним листы бумаги: его вычисления были закончены. В белом пузырьке еще оставалось немного лекарства, которое помогало ему бодрствовать и работать в течение четырех долгих ночей. Каждый день он, как всегда, спокойный, точный, терпеливый, читал лекции студентам, а затем возвращался к своим вычислениям. Его осунувшееся и немного воспаленное после искусственной бессонницы лицо было серьезно. Некоторое время он, казалось, о чем-то размышлял. Потом подошел к окну, и

штора, щелкнув, поднялась. На полпути к зениту, над скученными крышами, трубами и колокольнями города, висела звезда.

Он взглянул на нее так, как смотрят в глаза честному противнику.

— Ты можешь убить меня, — сказал он, помолчав. — Но я могу вместить тебя — и всю Вселенную тоже — в этом крошечном мозгу. Я не захотел бы поменяться с тобой. Даже теперь.

Он посмотрел на маленький пузырек.

— Больше спать незачем, — сказал он.

На следующий день в полдень, точно, минута в минуту, он вошел в свою аудиторию, положил шляпу, как всегда, на край стола и тщательно выбрал самый большой кусок мела. Студенты утверждали, будто он может читать лекцию, только если вертит в пальцах мел, и однажды, когда мел был спрятан, он якобы не сумел сказать ни слова. Теперь он посмотрел из-под седых бровей на поднимающиеся амфитеатром ряды молодых, оживленных лиц и заговорил в обычной своей манере, выбирая самые простые слова и фразы.

— По некоторым обстоятельствам, от меня не зависящим, — сказал он и остановился, — я не смогу закончить этот курс. Судя по всему, милостивые государи, если говорить кратко и ясно, судя по всему, человечество жило напрасно.

Студенты переглянулись: не ослышались ли они? Не сошел ли он с ума? Они поднимали брови, они усмехались, но двое-трое напряженно смотрели на спокойное, обрамленное седыми волосами лицо профессора.

— Было бы интересно, — продолжал он, — посвятить сегодняшнее утро расчетам, которые привели меня к такому выводу. Постараюсь, насколько могу, все вам объяснить. Предположим...

Он повернулся к доске, обдумывая диаграмму, как делал это обычно.

— Что значит «жило напрасно»? — шепотом спросил один студент другого.

— Слушай! — отозвался тот, кивая на лектора.

Скоро они начали понимать.

В эту ночь звезда взошла позднее, так как движение на восток увлекло ее через созвездие Льва к Деве, и свет ее был так ярок, что, когда она поднялась, небо стало прозрачно-синим и все звезды скрылись, за исключением Юпитера, бывшего в зените, Капеллы, Альдебарана, Сириуса и двух звезд Большой Медведицы. Она была ослепительно белой и очень красивой. Во многих местах земного шара в эту ночь вокруг новой звезды заметили бледное кольцо. Она стала заметно больше. В ясном небе тропиков она благодаря преломлению света, казалось, достигла величины почти четверти лунного диска. В Англии земля была по-прежнему покрыта инеем, но свет заливал все, как в летнюю лунную ночь. В этом холодном, ясном свете можно было разобрать обыкновенную печать, и городские фонари казались желтыми и бледными.

В эту ночь на Земле никто не спал, и в Европе над деревнями в холодном воздухе стоял глухой гул, подобный жужжанию пчел в кустах. В городах он разрастался в набат. Это звонили колокола на миллионах башен и колоколен, призывая людей отказаться от сна, не грешить больше и собираться в церквах для молитвы. А в небе, по мере того как Земля совершала свой поворот вокруг оси и ночь проходила, поднималась ослепительная звезда.

Во всех городах улицы и дома светились огнями, верфи сияли, и всю ночь дороги, ведущие к возвышенностям, были освещены и полны народу. По всем морям, омывающим цивилизованные страны, суда с паровыми машинами, суда с надутыми парусами плыли на север, набитые людьми и животными, потому что по всему свету телеграф уже разнес переведенное на сотни языков предупреждение великого математика. Новая планета и Нептун, сплетенные в пламенном объятии, неслись все быстрее и быстрее к Солнцу. Огненная масса уже пролетала по тысяче миль в секунду, и с каждой секундой ужасающая скорость увеличивалась. Если бы планета сохранила свое направление, то пролетела бы на расстоянии ста миллионов миль от

Земли и не причинила бы ей вреда. Но вблизи этого ее пути, пока еще почти не потревоженная, вращалась со своими лунами могучая планета Юпитер, совершая величественный оборот вокруг Солнца. С каждой минутой притяжение между огненной звездой и величайшей из планет становилось все сильнее. Что могло произойти в результате? Юпитер неизбежно должен был отклониться от своей орбиты и начать двигаться по эллипсу, а огненной звезде, отвлекаемой его притяжением, предстояло «описать кривую» и по пути к Солнцу либо столкнуться с Землей, либо пройти очень близко от нее. «Землетрясения, вулканические извержения, циклоны, гигантские приливные волны, наводнения и неуклонное повышение температуры до неизвестно какого предела» — вот что предсказывал великий математик.

А в вышине, подтверждая его слова, сияла одинокая, холодная, голубовато-белая звезда близящегося светопреставления.

Многим, кто, до боли напрягая зрение, смотрел на нее в эту ночь, казалось, что ее приближение заметно на глаз. И в эту же ночь неожиданно изменилась погода: мороз, охвативший Центральную Европу, Францию и Англию, сменился оттепелью.

Но если я сказал, что люди молились всю ночь напролет, садились на корабли, бежали в горы, — это не значит, что весь мир был охвачен ужасом из-за появления звезды. Привычка и нужда по-прежнему правили миром, и, если не считать разговоров в свободное от работы время, созерцания великолепия ночного неба, девять человек из десяти жили своей обычной жизнью. Во всех городах все магазины, за исключением одного или двух, тут и там открывались и закрывались в положенное время; врачи и гробовщики занимались своим делом, рабочие собирались на фабриках, солдаты маршировали, ученики учились, влюбленные искали встреч, воры прятались и убегали, политики строили свои планы. Печатные машины грохотали ночи напролет, выпуская газеты, и многие священники той или иной церкви отказывались открывать свои храмы,

чтобы не поощрять того, что они считали безрассудной паникой. Газеты напоминали об уроке тысячного года: тогда ведь тоже ожидали конца света. Звезда, в сущности, не звезда, а только газ, комета; и даже если бы это была звезда, все равно она не может столкнуться с Землей. Таких случаев еще не было. Всюду о себе заявлял здравый смысл — презрительный, насмешливый, склонный требовать строгих мер против упрямых паникеров. Вечером, в семь часов пятьдесят минут по гринвичскому времени, звезда сблизится с Юпитером. Тогда будет видно, какой оборот примет дело. В грозном предостережении великого математика многие были склонны видеть искусную саморекламу. В конце концов здравый смысл, немного разгоряченный спором, отправился спать и тем доказал незыблемость своих убеждений. Варварство и невежество, которым приелась эта новинка, также вернулись к привычным занятиям, и все животное царство, за исключением воющих собак, перестало обращать внимание на звезду.

И все же, когда наблюдатели в европейских государствах снова увидели звезду, которая, правда, взошла на час позднее, но казалась не больше, чем в предыдущую ночь, не спало еще достаточное количество скептиков, чтобы высмеять великого математика и заключить, что опасность уже миновала.

Но скоро насмешки стихли: звезда росла. Она росла с грозным постоянством, час от часу; с каждым часом она приближалась к полуночному зениту и становилась все ярче и ярче, пока не превратила ночь в день. Если бы звезда двигалась к Земле не по кривой, а по прямой, и если бы она не потеряла своей скорости под влиянием притяжения Юпитера, она должна была бы пролететь бездну, отделявшую ее от Земли, в один день, но она двигалась по кривой, и ей потребовалось целых пять дней, чтобы приблизиться к нашей планете. На следующую ночь, когда звезда взошла над Англией, она была величиной в треть лунного диска, и оттепель все усиливалась. Взойдя над Америкой, звезда была уже величиной почти с Луну, но в отличие от Луны она слепила и жгла. И там, где она всходила, начинал дуть

жаркий ветер, а в Виргинии, Бразилии и в долине реки Святого Лаврентия она блестела сквозь клубы грозовых туч, сверкающих фиолетовыми молниями и сыплющих небывалым градом. В Манитобе наступила оттепель и началось опустошительное наводнение. На всех горах в эту ночь начали таять снега и льды, все реки, берущие начало в этих горах, вздулись, и забурлили, и скоро в верховьях потащили деревья, трупы людей и животных. Вода поднималась с неизменным постоянством, озаренная призрачным блеском, и наконец вышла из берегов и хлынула вслед за бегущим населением речных долин.

На южноатлантическом и аргентинском побережье приливы были выше, чем когда-либо на памяти людей, и во многих местах бури гнали воду на много миль в глубь материка, затопляя целые города. За ночь зной стал так велик, что восход солнца казался приближением тени. Начались землетрясения; они прокатились по всей Америке, от Полярного круга до мыса Горн, сглаживая горные склоны, разрезая землю, обращая дома и ограды в щебень. После одной такой могучей судороги рухнула половина Котопахи и хлынул жидкий поток лавы, такой глубокий, широкий и быстрый, что он в один день достиг моря.

А звезда продвигалась над Тихим океаном, имея в кильватере побледневшую Луну и волоча за собой, как шлейф, грозовые бури и растущую приливную волну, которая тяжело катилась за ней, пенясь, захлестывая один остров за другим и начисто смывая с них людей. И наконец эта клокочущая страшная стена в пятьдесят футов высоты, озаренная ослепительным светом, гонимая раскаленным ветром, с голодным воем обрушилась на все азиатское побережье и ринулась в глубь материка по равнинам Китая. Недолгие минуты звезда, теперь более горячая, громадная и яркая, чем самое жаркое Солнце, с беспощадной ясностью озаряла обширную густонаселенную страну, ее города и деревни с пагодами и садами, дороги, необозримые возделанные поля и миллионы лишившихся сна людей, в беспомощном страхе глядящих в добела накаленное небо, а потом на них надвинулся все нарастающий рокот воды.

Та же участь постигла в эту ночь многие миллионы людей: они бежали, сами не зная куда, задыхаясь, с помутившимся от страха сознанием, а сзади вставала стремительная белая стена воды. И наступала смерть.

Китай был залит слепящим белым светом, но над Японией, Явой и всеми островами Восточной Азии большая звезда вставала тусклым огненным шаром, потому что вулканы, приветствуя ее, выбрасывали в воздух огромные столбы пара, дыма и пепла. Вверху были раскаленные газы и пепел, внизу — яростные потоки лавы, и вся Земля содрогалась и гудела от толчков землетрясения. Вскоре начали таять вечные снега Тибета и Гималаев, и вода по десяткам миллионов углубляющихся, сходящихся русел устремилась на равнины Бирмы и Индостана. Сплетенные кроны индийских джунглей пылали в тысяче мест, а в воде, кипящей у основания стволов, плыли темные тела и все еще слабо шевелились в свете кроваво-красных языков пламени. В слепом ужасе бесчисленные людские толпы устремились по широким водным дорогам к последней надежде человечества — к открытому морю.

Звезда с ужасающей быстротой становилась теперь все больше, все жарче, все ярче. Океан под тропиками перестал фосфоресцировать, и пар призрачным вихрем клубился над темными, вздымающимися валами, на которых чернели пятна гонимых бурей кораблей.

И тогда случилось нечто удивительное. Тем, кто в Европе ожидал восхода звезды, показалось, что Земля перестала вращаться. Везде — на открытых вершинах холмов и на плоскогорьях — люди, спасавшиеся здесь от наводнения, рушащихся домов и горных обвалов, напрасно ожидали этого восхода. Час проходил за часом в томительном ожидании, а звезда все не всходила. Снова люди увидели древние созвездия, которые они считали исчезнувшими для себя навсегда. В Англии было жарко, но небо было ясное. Хотя Земля содрогалась непрестанно, но в тропиках просвечивали сквозь пелену пара Сириус, Капелла и Альдебаран. И когда наконец большая звезда взошла — почти на десять часов позже, чем прежде, — вслед за ней почти

сразу взошло Солнце, а в центре белого сердца звезды виднелся черный диск.

Звезда начала замедлять свое движение, проходя еще над Азией, и вдруг, когда она висела над Индией, свет ее затуманился. Вся индийская равнина от устья Инда до устья Ганга этой ночью представляла собой неглубокое сверкающее озеро, над поверхностью которого поднимались храмы и дворцы, плотины и холмы, черные от усеявших их людей. На каждом минарете гроздьями висели люди и один за другим падали в мутную воду, когда жара и страх наконец одолевали их. Над всей страной стоял непрерывный вопль, и вдруг на это горнило отчаяния набежала тень, подул холодный ветер, и заклубились тучи, порожденные охлаждением воздуха. Смотревшие вверх на звезду, почти ослепленные люди заметили, что на нее наползает черный диск. Между звездой и Землей проходила Луна. И как будто в ответ на мольбы людей, воззвавших к богу, в минуту этой передышки на востоке со странной, необъяснимой быстротой вынырнуло Солнце. И звезда, Солнце и Луна, все вместе, понеслись по небу.

И вскоре те, кто так долго ждал появления звезды в Европе, увидели, как она взошла почти одновременно с Солнцем; некоторое время оба светила стремительно неслись по небу. Их движение замедлилось, и наконец они остановились, слившись в одно блестящее пламя в зените. Луна больше не затемняла звезды, и ее уже нельзя было различить в ярком блеске неба. И хотя большинство уцелевших смотрели на небо в мрачном отупении, порожденном голодом, усталостью, жарой и отчаянием, все же нашлись люди, понявшие значение этих явлений. Звезда и Земля сошлись на самое близкое расстояние, проплыли рядом, и звезда начала удаляться. Она уже уменьшалась, все быстрее и быстрее завершая свой стремительный полет к Солнцу.

Потом сгустились тучи и скрыли небо, и грозы окутали весь мир огненной тканью молний; по всей земле пролились такие ливни, каких люди никогда еще не видали, а там, где вулканы извергали красное пламя к балдахину туч,

с неба низринулись потоки грязи. Повсюду вода отступала с равнин, оставляя покрытые грязью и тиной развалины, и земля, как взморье после бури, была усеяна всевозможными обломками и трупами людей и животных. Вода возвращалась в русла много дней, смывая почву, деревья и дома, намывая огромные дамбы и вырывая глубокие овраги. Это были дни мрака, сменившие дни звезды и зноя. Все это время и в течение еще многих недель и месяцев продолжались непрерывные землетрясения.

Но звезда прошла, и люди, гонимые голодом, понемногу собирались с мужеством и возвращались в свои разрушенные города, к опустошенным житницам и залитым полям. Те немногие суда, которым удалось спастись от бурь, подошли к берегу, полуразбитые, осторожно пробираясь среди новых скал и отмелей, выросших в ранее хорошо знакомых гаванях. А когда бури утихли, люди заметили, что повсюду дни стали жарче, чем раньше, Солнце делалось больше, а Луна, уменьшившись до одной трети своей прежней величины, совершает свой оборот вокруг Земли за восемьдесят дней.

В нашу задачу не входит рассказывать о новых братских отношениях между людьми; о том, как были спасены законы, книги и машины, о странной перемене, происшедшей с Исландией, Гренландией и побережьем Баффинова залива: такими зелеными, цветущими стали эти места, что приплывшие туда моряки с трудом поверили своим глазам. Не будет здесь рассказано и о том, как в результате потепления люди расселились к северу и к югу, ближе к полюсам. Это была только история появления и исчезновения звезды.

Марсианские астрономы — потому что на Марсе есть астрономы, хотя марсиане — существа, сильно отличающиеся от людей, — были, естественно, глубоко заинтересованы этими явлениями. Конечно, они рассматривали их со своей точки зрения. Один из них писал: «Принимая во внимание величину и температуру метательного снаряда, пущенного через нашу Солнечную систему к Солнцу, можно только удивляться, что на Земле, едва не задетой снарядом, имели место сравнительно незначительные разрушения. Все известные нам очертания континентов и водных пространств остались прежними, и единственно заметной переменой было значительное уменьшение белых пятен, которые считаются замерзшей водой на земных полюсах».

Это только показывает, какими ничтожными кажутся величайшие людские бедствия, если смотреть на них с расстояния нескольких миллионов миль.

ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА

ХРУСТАЛЬНОЕ ЯЙЦО

Год тому назад близ Севендайлса еще стояла маленькая, вся снаружи закопченная лавка, на вывеске которой поблекшими желтыми буквами было написано: «К. Кэйв. Набивка чучел и антиквариат». Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал своей пестротой. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры, четки, пистолеты, ящик, наполненный стеклянными глазами, два черепа тигра и один человеческий, изъеденные молью обезьяньи чучела (одно — со светильником в лапе), старинная шкатулка, несколько засиженных мухами страусиных яиц, рыболовные принадлежности и на удивление грязный пустой аквариум. В то время, к которому относится наш рассказ, среди всех этих предметов лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и прекрасно отшлифованный. На него-то и смотрели двое стоявших перед витриной лавки: высокий худощавый пастор и смуглый чернобородый молодой человек восточного типа, одетый весьма непритязательно. Молодой человек что-то говорил, энергично жестикулируя, видимо, убеждал своего спутника купить хрустальное яйцо.

Они все еще стояли у витрины, когда мистер Кэйв вошел в лавку из задней комнаты, дожевывая на ходу кусок хлеба с маслом, отчего бородка у него так и ходила ходуном. Увидев этих людей и догадавшись, что их заинтересовало, мистер Кэйв как-то сразу сник. Он виновато оглянулся через плечо и тихо притворил за собой дверь в заднюю комнату. Мистер Кэйв был старичок небольшого роста со странными водянисто-голубыми глазами на бледном лице. В волосах его мелькала желтоватая седина; на нем был поношенный синий сюртук, допотопный цилиндр и расшлепанные ковровые туфли. Он выжидательно смотрел на разговаривающих. Но вот пастор сунул руку в глубину кармана, посмотрел на вынутые оттуда монеты и блеснул зубами в приятной улыбке. Когда они вошли в лавку, физиономия у мистера Кэйва вытянулась еще больше.

Пастор спросил без всяких обиняков, сколько стоит хрустальное яйцо. Мистер Кэйв бросил тревожный взгляд на дверь в заднюю комнату и ответил: пять фунтов. Обращаясь одновременно к своему спутнику и к мистеру Кэйву, пастор запротестовал против такой высокой цены (она действительно была гораздо выше того, что хотел просить Кэйв, когда эта вещь попала к нему в руки) и начал было торговаться. Мистер Кэйв подошел к входной двери и распахнул ее.

— Цена пять фунтов, — повторил он, видимо, не желая утруждать себя бесцельным спором.

И тут в щелке над занавеской, которой была задернута застекленная дверь в комнату при лавке, показалась верхняя половина женского лица, глаза с любопытством уставились на покупателей.

— Цена пять фунтов, — дрогнувшим голосом проговорил мистер Кэйв.

Смуглый молодой человек пока что молчал, внимательно присматриваясь к Кэйву. Но теперь и он подал голос:

— Хорошо, платите пять фунтов.

Пастор посмотрел на своего спутника — не шутит ли он — и, переведя взгляд на мистера Кэйва, увидел, что тот побелел, как полотно.

— Это слишком дорого, — сказал пастор и, снова порывшись в кармане, стал пересчитывать наличность.

У него оказалось немногим более тридцати шиллингов, и он стал урезонивать своего спутника, с которым был, видимо, на самой короткой ноге. Это дало мистеру Кэйву возможность собраться с мыслями, и он начал взволнованно объяснять, что, собственно говоря, хрустальное яйцо не продается. Оба покупателя, естественно, удивились: следовало бы подумать об этом раньше! Зачем же тогда было назначать цену? Мистер Кэйв сконфузился, но продолжал твердить, что продать яйцо он не может, так как договорился с другим покупателем. Истолковав эти слова как попытку еще больше набить цену, пастор и его друг сделали вид, будто хотят уйти, но в эту минуту задняя дверь отворилась, и в лавку вошла хозяйка — обладательница черной челки и маленьких глазок.

Эта женщина, полная, с грубыми чертами лица, была моложе мистера Кэйва и гораздо крупнее его. Поступь у нее была тяжелая, лицо — красное от волнения.

— Хрустальное яйцо продается, — сказала она. — И пять фунтов — цена вполне достаточная. Я не понимаю, Кэйв, почему ты отказываешь джентльменам?

Мистер Кэйв, крайне расстроенный этим внезапным вторжением, сердито посмотрел на жену поверх очков и стал — впрочем, не слишком уверенно — защищать свое право вести дела по собственному усмотрению. Между ними началась перепалка. Оба покупателя с интересом наблюдали эту сцену, то и дело подсказывая миссис Кэйв новые доводы. Припертый к стене, Кэйв все же не хотел сдаваться и нес что-то несуразное, путаное об утреннем покупателе хрустального яйца. Волнение дорого ему стоило, но он с необыкновенным упорством продолжал твердить свое.

Конец этому странному спору положил смуглый молодой человек. Он сказал, что они зайдут через два дня, и, следовательно, у того покупателя, на которого ссылается мистер Кэйв, будет время воспользоваться такой отсрочкой.

— Но уж тогда твердо, — сказал пастор. — Пять фунтов.

Миссис Кэйв сочла своим долгом принести извинения за мужа, пояснив, что он у нее иной раз «чудит», и по уходе покупателей супружеская чета приступила к открытому обсуждению этого случая во всех его подробностях.

Миссис Кэйв изъяснялась напрямик. Дрожа от волнения, несчастный муж то твердил о каком-то другом покупателе, то сбивался с этой версии и говорил, что хрустальное яйцо стоит не меньше десяти гиней.

— Тогда почему же ты спросил с них пять фунтов? — возразила ему жена.

— Прошу тебя, предоставь мне вести мои дела по собственному усмотрению, — отвечал Кэйв.

В доме мистера Кэйва жили его падчерица и пасынок, и вечером, за ужином, случай в лавке снова подвергся обсуждению. Домашние мистера Кэйва и без того невысоко ценили деловые способности главы семейства, но последний его поступок показался им верхом безумия.

— По-моему, он и раньше придерживал это яйцо, — заявил пасынок, нескладный верзила лет восемнадцати.

— Но пять фунтов! — воскликнула падчерица, юная дева двадцати шести лет, большая любительница поспорить.

Ответы мистера Кэйва были жалки по своей беспомощности: он только невнятно бормотал, что ему лучше знать, как вести дела. Посреди ужина несчастного погнали в лавку — запереть дверь на ночь. Уши у него горели, слезы досады затуманивали стекла очков. «Почему я не убрал яйцо с витрины? Какое легкомыслие!» — вот что не давало ему покоя. Он не видел способа отвертеться от продажи хрустального яйца.

После ужина падчерица и пасынок мистера Кэйва принарядились и отправились гулять, а жена поднялась наверх, и, попивая горячую воду с сахаром, лимоном и еще кое с чем, стала обдумывать, как быть с хрустальным яйцом. Мистер Кэйв ушел в лавку и оставался там довольно долго под тем предлогом, что ему надо делать маленькие гроты в аквариумах для золотых рыбок. На самом же деле он был занят совсем другим, но об этом речь впереди.

На следующий день миссис Кэйв обнаружила, что хрустальное яйцо убрано с витрины и припрятано за стойкой подержанных книг по рыболовству. Миссис Кэйв переложила его обратно, на видное место. Говорить об этом с мужем она не пожелала, так как у нее разыгралась мигрень. Что касается самого Кэйва, то у него такое желание вообще никогда не появлялось. Время тянулось томительно. Мистер Кэйв был рассеян больше обычного (если только это возможно) и сверх того крайне раздражителен. После обеда, когда жена, по своему обыкновению, легла отдохнуть, он опять убрал яйцо с витрины.

На следующий день мистер Кэйв повез в одну из клиник морских собачек, которые требовались там для анатомических занятий. В его отсутствие мысли миссис Кэйв снова вернулись к хрустальному яйцу и к тому, как потратить нежданно-негаданные пять фунтов. Она уже успела самым приятным образом распределить эту сумму — между прочим, имелась в виду покупка зеленого шелкового платья и поездка в Ричмонд, — как вдруг звон колокольчика у входной двери вызвал ее в лавку. Посетитель оказался лаборантом из клиники, который пришел пожаловаться на то, что лягушки, заказанные накануне, до сих пор не доставлены. Миссис Кэйв не одобряла этой отрасли торговых операций мистера Кэйва, вследствие чего джентльмену, явившемуся в несколько запальчивом настроении, пришлось удалиться ни с чем после краткой и вежливой — в той мере, в какой это зависело от него, — беседы с хозяйкой. Взоры миссис Кэйв, естественно, обратились к витрине: вид хрустального яйца должен был придать реальность пяти фунтам и мечтам, связанным с ними. Каково же было ее удивление, когда яйца в витрине не оказалось!

Она кинулась к тому месту за прилавком, где нашла яйцо накануне. Но его и там не было. Тогда миссис Кэйв немедленно приступила к обыску лавки.

Доставив морских собачек по адресу, мистер Кэйв вернулся домой около двух часов и застал в лавке полный разгром. Жена его, злая-презлая, стояла на коленях за прилавком и рылась в материале для набивки чучел. Когда колокольчик возвестил о приходе мистера Кэйва, она высунула из-под прилавка свою свирепую красную физиономию и с места в карьер обвинила мужа, что он «спрятал его».

— Кого его? — спросил мистер Кэйв.

— Хрустальное яйцо.

Выражая всем своим видом крайнее удивление, мистер Кэйв бросился к витрине.

— Разве его здесь нет? — воскликнул он. — Боже мой! Куда же оно делось?

В эту минуту из задней комнаты в лавку вошел с громкой бранью пасынок мистера Кэйва, вернувшийся домой за минуту до него. Он работал на той же улице подмастерьем у краснодеревщика, торговавшего подержанной мебелью, но обедал дома и теперь изволил гневаться, что обед еще не готов. Однако, услыхав о пропаже, мальчишка забыл о еде и перенес свой гнев с матери на отчима. Мать и сын, разумеется, сразу же решили, что мистер Кэйв спрятал хрустальное яйцо. Но он всячески отрицал это, не скупясь на клятвенные заверения, ни для кого не убедительные, и под конец сам стал обвинять сперва жену, а за ней и пасынка в том, что хрустальное яйцо спрятали они, решив тайком продать его. Ожесточенный, полный накала страстей спор привел к тому, что у миссис Кэйв начался нервный припадок — нечто среднее между истерикой и приступом бешенства, а пасынок на целых полчаса опоздал в мебельную мастерскую. Мистер Кэйв укрылся от разбушевавшейся жены в лавке.

Вечером спор возобновился, но уже с меньшей горячностью, и спорщики вели его под началом падчерицы обстоятельно, как судебное разбирательство. Ужин прошел невесело и закончился тяжелой сценой. Мистер Кэйв вскипел и выбежал из лавки, громко хлопнув дверью. Воспользовавшись его отсутствием, остальные члены семьи высказались о нем с полной свободой, а затем обшарили весь дом с чердака до подвала в надежде найти хрустальное яйцо. На следующий день оба покупателя снова по-

явились в лавке. Миссис Кэйв встретила их чуть не со слезами. Как выяснилось из ее слов, никто, ни один человек не может себе представить, сколько ей всего пришлось вытерпеть от Кэйва на стезе их супружеской жизни. Кроме того, она поведала им — в несколько искаженном виде — историю исчезновения хрустального яйца. Пастор и смуглый молодой человек переглянулись между собой, внутренне посмеиваясь, но согласились с миссис Кэйв, что все это действительно очень странно. Они не стали задерживаться в лавке, так как миссис Кэйв явно вознамерилась изложить им всю свою биографию. Цепляясь за последнюю надежду, она все же успела спросить адрес пастора и пообещала известить его, если ей удастся добиться чего-нибудь от мужа. Адрес был дан, но потом, очевидно, утерян. Миссис Кэйв так и не могла сказать, куда он запропастился.

К вечеру того дня страсти в семействе мистера Кэйва несколько улеглись, и сам он, вернувшись из своей отлучки, поужинал в полном одиночестве, представлявшем приятный контраст с недавними бурями. Атмосфера в доме по-прежнему оставалась напряженной, но ни хрустальное яйцо, ни покупатели его так больше и не появились. Теперь, чтобы не вводить кого-либо в заблуждение, мы должны признаться, что мистер Кэйв просто-напросто лгал. Ему было хорошо известно, где находится хрустальное яйцо. Его хранил у себя мистер Джекоби Уэйс, помощник демонстратора больницы Св. Екатерины на Уэстборн-стрит. Прикрытое куском черного бархата, оно лежало у него дома на буфете возле графина с американским виски. От мистера Уэйса и были получены сведения, на основе которых написан этот рассказ. Кэйв принес хрустальное яйцо в сумке с морскими собачками и пристал к молодому ученому, чтобы тот спрятал его у себя. Мистер Уэйс согласился не сразу. У него были довольно своеобразные отношения с Кэйвом. Коллекционируя разного рода чудаков, он частенько приглашал к себе старика выкурить трубочку, выпить стакан вина и слушал его не лишенные занятности высказывания о жизни вообще и о миссис Кэйв

в частности. Мистеру Уэйсу случалось иметь дело с этой дамой, когда мистера Кэйва не бывало в лавке. Он знал, что Кэйва притесняют дома, и, обдумав все как следует, решил приютить у себя хрустальное яйцо. Мистер Кэйв обещал объяснить свою странную приверженность к этой вещи, а пока что признался, что в хрустале ему открываются видения. В тот же вечер он опять зашел к молодому ученому.

Мистер Уэйс выслушал весьма путаный рассказ. Из него следовало, что Кэйв купил хрустальное яйцо заодно с другой мелочью на аукционе у одного разорившегося антиквара и, не зная стоимости этой вещи, назначил наугад десять шиллингов. Яйцо провалялось в витрине лавки несколько месяцев, и он уже подумывал, не снизить ли цену, как вдруг ему открылось нечто странное.

Надо иметь в виду, что здоровье у мистера Кэйва было плохое, а во время описываемых событий оно совсем расстроилось, чему немало способствовало также и пренебрежительное и прямо-таки дурное отношение к нему жены и ее детей. Миссис Кэйв, женщина взбалмошная, бессердечная, питала все возрастающую склонность к спиртным напиткам. Падчерица была заносчива и сварлива, пасынок не выносил своего приемного отца и пользовался каждым случаем, чтобы показать это. Хлопоты по лавке тяготили мистера Кэйва, и мистер Уэйс склонен думать, что старику тоже случалось иной раз грешить по части спиртного. В молодые годы Кэйв не знал лишений, получил хорошее образование, а теперь он по целым неделям страдал приступами меланхолии и бессонницей. Когда ему становилось невмоготу от тяжелых мыслей, он тихонько, стараясь никого не разбудить, вставал ночью со своего супружеского ложа и бродил по дому. И однажды, часа в три ночи — это было в конце августа, — случай привел его в лавку.

Эта грязная маленькая конура была погружена во тьму, и только в одном ее уголке теплился какой-то странный свет. Подойдя поближе, мистер Кэйв увидел, что свет исходит от хрустального яйца, которое лежало на краю прилавка, у самой витрины. Тонкий лучик, пробившийся с

улицы сквозь щель в ставне, падал прямо на яйцо и словно наполнял его сиянием.

Мистер Кэйв сразу же понял, что это противоречит законам оптики, известным ему еще со школьной скамьи. Если бы луч преломился в хрустале и собрался в фокусе внутри его, это было бы понятно, но такое рассеивание света шло вразрез с основными законами физики. Мистер Кэйв подошел к яйцу поближе, взгляделся в самую его глубь, осмотрел его со всех сторон, вдруг загоревшись той любознательностью, которая помогла ему с молодых лет определить свое призвание. Он поразился, увидев, что свет растекается по всему яйцу, точно это был полный шар, наполненный светящимися парами. Разглядывая яйцо то с правой, то с левой стороны, он случайно заслонил его от луча света, но хрусталь и тогда нимало не потускнел. Потрясенный этим открытием, мистер Кэйв взял яйцо и перенес его подальше от окна, в самый темный угол лавки. Оно продолжало излучать сияние еще минут пять, потом стало медленно тускнеть и наконец погасло. Мистер Кэйв подставил его под луч света, и почти тотчас же сияние снова разлилось по нему.

Эту часть удивительного рассказа старого антиквара мистер Уэйс мог подтвердить. Он сам не раз держал яйцо под лучом шириной чуть меньше миллиметра. И действительно, в полной темноте, накрытый куском черного бархата, хрусталь хоть и слабо, но все же фосфоресцировал. Однако в этой фосфоресценции было что-то странное, и видели ее не все. Так, например, мистер Харбинджер — имя, известное всем, кто интересуется работой Пастеровского института, — вообще не заметил никакого свечения. У мистера Уэйса эта способность была несравненно ниже, чем у мистера Кэйва. И даже у самого мистера Кэйва она сильно колебалась, обостряясь в часы наибольшей усталости и плохого самочувствия.

Свечение в хрустальном яйце с первого дня словно зачаровало мистера Кэйва. И то, что он долгое время ни с кем не делился своим открытием, говорит о его глубоком одиночестве больше, чем мог бы сказать целый том трогательных описаний. Бедняга жил в атмосфере такого недоброжелательства, что вздумай он признаться, что вот такая-то вещь доставляет ему удовольствие, как его мигом лишили бы ее. Он заметил, что с приближением утра, при рассеянном освещении, хрусталь перестает светиться изнутри. Какое-то время вообще удавалось наблюдать это свечение только по ночам в самых темных углах лавки.

Тогда мистер Кэйв решил воспользоваться куском старого бархата, служившего фоном для коллекции минералов. Сложив бархат вдвое и накрыв им голову и руки, он улавливал игру света в хрустальном яйце даже днем. Но тут ему приходилось быть начеку, чтобы не попасться жене, и он предавался этому занятию, залезая из предосторожности под прилавок, только в послеобеденное время, когда она отдыхала наверху. И вот однажды, поворачивая яйцо в руках, мистер Кэйв увидел нечто новое. В глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны. Он повернул яйцо еще раз и снова поймал в тускнеющем хрустале то же видение.

Было бы слишком долго и скучно излагать все подробности этого открытия мистера Кэйва. Достаточно сказать о результатах его опытов: держа хрусталь под углом примерно в сто тридцать семь градусов к лучу света, в нем можно было ясно и подолгу видеть широкую и чем-то совершенно необычную равнину. В пейзаже этом не было ничего фантастического, он казался вполне реальным, и чем сильнее был свет, тем живее и ярче обозначалась в нем каждая его деталь. Всю эту картину пронизывало движение, подчиняющееся размеренному ритму, и она непрестанно менялась в зависимости от направления луча света и той или иной точки зрения. Так бывает, когда рассматриваешь что-нибудь сквозь выпуклое стекло: стоит его повернуть, и все предстает в ином виде.

Мистер Уэйс уверял меня, что мистер Кэйв описывал ему все это очень обстоятельно, без малейших признаков возбуждения, которое обычно наблюдается у галлюцинирующих. Однако все попытки самого мистера Уэйса уви-

деть сколько-нибудь четкую картину в бледной, опаловой глубине хрусталя оканчивались полной неудачей. Видимо, разница в силе восприятия их обоих была слишком велика и то, что представлялось одному четким, ясным, было для другого всего лишь туманным пятном.

По словам мистера Кэйва, видение, открывавшееся ему в хрустальном яйце, оставалось неизменным. Это была широкая равнина, и он смотрел на нее откуда-то сверху, точно с башни или мачты. На востоке и на западе, далеко-далеко, равнину замыкали высокие красноватые скалы, похожие на те, что он видел на какой-то картине; на какой именно, мистер Уэйс так и не добился от него. Скалы тянулись с севера на юг (направление можно было определить по звездам ночью) и, теряясь в бесконечности, видимо, смыкались где-то в туманных далях. В первый раз мистер Кэйв был ближе к восточной цепи скал; тогда над ними всходило солнце и в воздухе парило множество каких-то существ, похожих на птиц. Против солнца они казались совсем черными, а попадая в тень, ложившуюся от скал, светлели. Внизу, под собой, мистер Кэйв видел длинный ряд зданий, и чем ближе они были к темному краю картины, где преломлялся луч света, тем все более расплывчатыми становились их очертания. Сверкающий на солнце широкий канал окаймлял деревья с необычными по форме и цвету стволами — то темно-зелеными, как мох, то серебристо-серыми. Что-то большое и яркое пролетело в вышине над красноватыми скалами и равниной. В первый раз это зрелище открывалось мистеру Кэйву на две-три секунды, не больше. Руки у него дрожали, голова тряслась, и неведомая равнина то возникала перед ним, то снова исчезала в тумане, стоило только ему потерять нужный угол зрения.

Второй раз удача пришла только через неделю. Промежуток не дал ничего, кроме нескольких мучительно неясных проблесков и некоторого опыта в обращении с яйцом. Теперь равнина открылась мистеру Кэйву в перспективе. Вид изменился, но у него была странная уверенность, неоднократно подкреплявшаяся в дальнейшем, что он каждый раз смотрит на этот странный мир с одного и того же места, но только в разных направлениях. Большое, длинное здание, крышу которого мистер Кэйв видел впервые внизу, под собой, теперь вытянулось в перспективе. По крыше он его и узнал. Вдоль фасада этого здания шла терраса поистине огромных размеров, а посредине нее, на равном расстоянии одна от другой, высились массивные, но стройные мачты, к верхушкам которых были прикреплены какие-то маленькие блестящие предметы, отражавшие лучи заходящего солнца. О назначении этих предметов мистер Кэйв догадался гораздо позже, когда рассказывал о своих опытах мистеру Уэйсу. Терраса нависала над зарослями роскошных цветущих кустарников, а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то странные существа, похожие на огромных, раздавшихся в ширину жуков. За лугом бежала дорога, выложенная узором из розоватого камня, а еще дальше, вдоль цепи скал, сверкала зеркально-гладкая река, заросшая по берегам красной травой. Большие птицы тучами величественно парили в воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами и лишайниками, высились дворцы, игравшие на солнце полировкой разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистером Кэйвом что-то замелькало; это были словно взмахи крыльев или украшенного драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, вернее, верхнюю часть лица, с огромными глазами — увидел его так близко от себя, точно их разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью этих глаз, мистер Кэйв поднял голову, заглянул за яйцо и, очнувшись от своих видений, увидел себя все в той же холодной, темной лавчонке, пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем погасло.

Таковы были первые опыты мистера Кэйва. Рассказывал он о них обстоятельно, со всеми подробностями. Мелькнув перед ним в первый раз, пейзаж в хрустальном яйце поразил его воображение, а по мере того как он обду-

мывал увиденное, любопытство его перешло в страсть. Дела в лавке он вел теперь спустя рукава, помышляя только о том, как бы поскорее вернуться к своему новому занятию. И вот через несколько недель после странного открытия мистера Кэйва — приход в лавку двух покупателей, тревоги, вызванные их намерением купить хрустальное яйцо, и исчезновение его с витрины — словом, все то, о чем я уже рассказывал.

До тех пор, пока мистер Кэйв держал свое открытие в тайне, он любовался этими чудесами украдкой, словно ребенок, одним глазком заглядывающий в чужой сад. Но мистер Уэйс обладал на редкость ясным и точным для начинающего ученого умом. Как только хрустальное яйцо появилось у него в доме и ему удалось убедиться собственными глазами, что старик антиквар говорит правду и что хрусталь действительно светится изнутри, он приступил к систематическому исследованию этого странного явления. Мистер Кэйв, не устававший любоваться зрелищем чудесной страны, просиживал у молодого ученого все вечера, с половины девятого до половины одиннадцатого, а иногда забегал и по воскресеньям, в послеобеденное время. Мистер Уэйс с самого начала вел подробную запись их общих наблюдений, и методичность его помогла установить, какое направление светового луча дает наилучшую возможность обозревать картины, открывающиеся в хрустальном яйце.

Поместив яйцо в ящик с небольшим отверстием для луча и заменив светло-коричневые шторы на окнах своей комнаты плотными черными занавесками, мистер Уэйс значительно улучшил условия наблюдений, так что вскоре они могли обозревать равнину из конца в конец.

Теперь, после этих предварительных сведений, мы дадим краткое описание призрачного мира внутри хрустального яйца. Исследователи всегда придерживались одного и того же метода работы: мистер Кэйв всматривался в хрусталь и рассказывал, что он там видит, а мистер Уэйс, научившийся писать в темноте еще в студенческие годы, конспектировал его рассказы. Когда хрусталь тускнел,

яйцо снова помещали в ящик и включали электричество. Мистер Уэйс задавал вопросы и делал те или иные поправки по ходу наблюдений, стараясь избежать малейших неясностей. Словом, ни того, ни другого нельзя было заподозрить в визионерстве, их занятие носило чисто деловой характер.

Мистера Кэйва больше всего интересовали похожие на птиц существа, которые всякий раз появлялись в хрустале. Сначала он считал этих птиц чем-то вроде дневных летучих мышей, потом, как ни странно, решил, что это ангелы. Головы у них были круглые, поразительно схожие с человеческими. Одно из этих существ когда-то и напугало мистера Кэйва, встретившись с ним взглядом в хрустале. Их серебристые, лишенные оперения крылья искрились на свету, как чешуя у рыбы, только что вынутой из воды. Впрочем, мистер Уэйс вскоре установил, что крылья эти не были похожи на крылья летучих мышей или птиц, а держались на изогнутых ребрах, расходящихся веером от туловища. (Крыло бабочки с чуть изогнутыми прожилками — вот наиболее близкое сходство.) Само туловище у них было небольшое; ниже рта выступали два пучка хватательных органов, похожих на длинные щупальца. Как это ни казалось невероятным мистеру Уэйсу, но в конце концов он пришел к мысли, что именно им, крылатым существам, принадлежат величественные дворцы, напоминающие человеческое жилье, и роскошные цветущие сады — короче говоря, все то, чем ласкала глаз широкая равнина. Мистер Кэйв, со своей стороны, подметил еще одну особенность этих зданий: обитатели их влетали и вылетали оттуда не через двери, а в окна — большие, круглые, легко открывающиеся. Сядут на свои щупальца, прижмут сложенные крылья к тонкому, как тростинка, туловищу и легко спрыгнут внутрь. В этом рое было и множество других, более мелких существ, подобных большим стрекозам, бабочкам и летающим жукам, а на зеленой луговине лениво копошились и бескрылые жуки, слепящие глаз своей яркой окраской. Большеголовые мухи огромных размеров, но тоже лишенные крыльев, деловито скакали по дороге и

террасам, отталкиваясь от земли при помощи своих щупалец, похожих на человеческие руки.

Я уже упоминал о каких-то блестящих предметах на мачтах, которые стояли на террасе дворца у самого края этой картины. Однажды, когда видимость была исключительно хороша, мистер Кэйв рассмотрел одну из таких мачт и увидел, что этот блестящий предмет ничем не отличается от его собственного хрустального яйца. И, как выяснилось из дальнейших наблюдений, такие же хрустальные шары были почти на всех других двадцати мачтах. Время от времени крылатые существа взлетали на одну из них и, сложив крылья, обхватив ее щупальцами, подолгу, иной раз минут по пятнадцать, пристально вглядывались в хрусталь. Ряд наблюдений, проведенных по совету мистера Уэйса, убедил обоих исследователей, что хрустальное яйцо, в которое они смотрят, укреплено на террасе с двадцатью мачтами, на верхушке крайней из них, и что в лицо мистеру Кэйву заглянул один из обитателей потустороннего мира.

Таковы основные факты этой странной истории. Если не считать ее от начала до конца остроумной мистификацией мистера Уэйса, придется признать одно из двух: либо хрустальное яйцо мистера Кэйва находилось одновременно в двух мирах и, перемещаясь в одном мире, оставалось неподвижным в другом, что совершенно невероятно, либо между обоими хрустальными яйцами существовала какая-то связь и то, что было видно внутри одного из них здесь, на земле, при соответствующих условиях могло открыться наблюдателю в том, другом мире, и наоборот.

Сейчас мы, разумеется, не в состоянии объяснить, каким образом эти два хрустальных яйца могли быть связаны между собой, но современная наука уже не отрицает такой возможности. Предположение о некоем родстве между ними принадлежит мистеру Уэйсу, и, на мой взгляд, оно вполне правдоподобно.

Но где же находится тот, другой мир? Живой ум мистера Уэйса не замедлил пролить свет и на этот вопрос. После захода солнца небо в хрустале быстро темнело — сумерки там были совсем короткие, — появлялись звезды. Те же звезды, группирующиеся в те же созвездия, мы видим и на нашем небосклоне. Мистер Кэйв узнал Большую Медведицу, Плеяды, Альдебаран и Сириус. Следовательно, тот мир находится где-то в пределах Солнечной системы и самое большее — на расстоянии каких-нибудь нескольких сот миллионов миль от нашего. Развивая дальше эту догадку, мистер Уэйс установил, что полночное небо в том мире намного темнее даже нашего зимнего, а солнечный диск несколько меньше. И на небосклоне там сияли две луны! («Похожие на нашу Луну, но меньшего размера и с другим расположением морей и кратеров».) Одна из этих лун двигалась так быстро, что движение ее было заметно глазу. Поднимались они обе невысоко и исчезали вскоре после восхода — другими словами, вращение их вокруг своей оси сопровождалось затмением вследствие близости обеих к планете, вращающейся вокруг Солнца. И все это в точности соответствовало тем астрономическим законам (неизвестным мистеру Кэйву), которые должны существовать на Марсе.

В самом деле, почему не допустить, что, глядя в хрустальное яйцо, мистер Кэйв действительно видел планету Марс и ее обитателей? А если так, значит, вечерняя звезда, ярко сияющая в небе этого далекого мира, была не что иное, как наша Земля.

Первое время марсиане — если это на самом деле были жители Марса, — по-видимому, не подозревали, что за ними наблюдают. Иной раз кто-нибудь из них поднимался на мачту, вглядывался в хрустальное яйцо минуту-другую и перелетал к следующему, вероятно, в поисках лучшей видимости. Мистер Кэйв следил за жизнью этих крылатых существ без всяких помех с их стороны, и его наблюдения, хоть и отрывочные, давали пищу для ума. Представьте себе, какое впечатление о людях сложилось бы у марсианина, если бы он после долгих усилий, напрягая глаза, мог бы лишь минуты по четыре за раз смотреть на Лондон с высоты колокольни Св. Мартина! Мистер Кэйв не мог сказать, были ли крылатые марсиане такими же существа-

ми, как и те, что скакали по дороге и террасам, и могли ли последние обзавестись по желанию крыльями. Несколько раз на равнине появлялись какие-то двуногие, смахивающие на неуклюжих белых обезьян с прозрачным туловищем. Они паслись среди заросших лишайниками деревьев, и как-то раз один круглоголовый, передвигающийся прыжками марсианин погнался за ними и схватил одного своими щупальцами. Но тут видение сразу поблекло, и мистер Кэйв остался в темноте, сгорая от неудовлетворенного любопытства. В другой раз нечто огромное стремительно пронеслось по дороге вдоль канала. Когда это «нечто» приблизилось к краю картины, мистер Кэйв признал в нем сначала гигантское насекомое, а потом сверкающую металлом машину чрезвычайно сложной конструкции. Он хотел разглядеть ее как следует, но не успел, так быстро она скрылась из виду.

Спустя некоторое время мистер Уэйс вознамерился привлечь внимание марсиан, и в следующий раз, когда глаза одного из них глянули в хрусталь, мистер Кэйв громко вскрикнул и отскочил назад. Уэйс сейчас же зажег свет, и оба они стали подавать знаки марсианину. Но все их старания ни к чему не привели. Когда мистер Кэйв снова посмотрел в глубь хрустального яйца, там никого не было.

Такие сеансы продолжались до первых чисел ноября. Убедившись к этому времени, что подозрения его домашних улеглись, мистер Кэйв стал уносить хрустальное яйцо с собой, с тем чтобы не упускать ни малейшей возможности — днем ли, ночью ли — тешить свою душу видениями, которые составляли теперь весь смысл его жизни.

В декабре, готовясь к экзамену, мистер Уэйс был занят больше обычного; наблюдения над хрустальным яйцом, увы, на неделю пришлось отложить. Неделя прошла, но Кэйв не дал о себе знать и на десятый, а может быть, и на одиннадцатый день. Мистеру Уэйсу не терпелось снова приступить к наблюдениям, поскольку спешная работа у него кончилась, и он сам отправился к старику антиквару. Выйдя на Севендайлс, он увидел, что у торговца птицами

и сапожника окна закрыты ставнями. Лавка мистера Кэйва тоже была на запоре.

Мистер Уэйс постучал в дверь; ему отворил пасынок старика с черной повязкой на рукаве. По его зову в лавке появилась миссис Кэйв в полном вдовьем трауре, хотя и дешевом, но явно рассчитанном на то, чтобы бросаться в глаза, как отметил мысленно мистер Уэйс. Он почти не удивился, узнав, что Кэйв умер и уже похоронен. Миссис Кэйв пустила слезу и несколько сиплым голосом сообщила ему, что она сию минуту с Хайгейтского кладбища. Вдовица, видимо, была вся во власти мыслей о своей дальнейшей судьбе и перипетий торжественной церемонии погребения, так что мистер Уэйс не сразу и с большим трудом выведал у нее подробности смерти старика.

Кэйва нашли мертвым в лавке рано утром на другой день после их последней встречи с мистером Уэйсом. Окоченевшие руки старика сжимали хрустальное яйцо, рассказывала миссис Кэйв, на губах застыла улыбка. Рядом с ним на полу лежал кусок черного бархата. Смерть наступила часов за пять, за шесть до того, как его обнаружили.

Уэйс был потрясен этим рассказом и горько упрекнул себя за то, что смотрел сквозь пальцы на явно ухудшавшееся здоровье старика. Впрочем, главным образом его беспокоило хрустальное яйцо. Зная некоторые особенности характера миссис Кэйв, он приступил к расспросам с осторожностью. И совершенно онемел от неожиданности, узнав, что хрустальное яйцо уже продано.

Когда покойника перенесли наверх, миссис Кэйв сразу же вспомнила про чудака пастора, предлагавшего пять фунтов за хрустальное яйцо, и решила написать ему о своей находке. Но лихорадочные поиски его адреса, в которых принимала участие и ее дочь, ни к чему не привели: бумажка затерялась. У миссис Кэйв не было средств на сложные по ритуалу похороны, которых заслуживал столь почтенный обитатель Севендайлса, и она прибегла к помощи одного знакомого торговца с Грейт-Портленд-стрит. Он любезно согласился взять часть вещей Кэйва по соб-

ственной расценке. В их числе было и хрустальное яйцо. Выразив, правда, несколько второпях, приличные случаю соболезнования вдове, мистер Уэйс поспешил на Грейт-Портленд-стрит. Но там он узнал, что хрустальное яйцо уже продано и что купил его высокий смуглый человек в сером костюме. Здесь фактический материал этой странной, но, на мой взгляд, наводящей на размышления истории внезапно обрывается. Торговец с Грейт-Портленд-стрит не знал, кто был тот высокий смуглый человек в сером, и не мог точно описать его мистеру Уэйсу. Он даже не заметил, в какую сторону покупатель пошел, выйдя из лавки. Мистер Уэйс до конца испытал терпение торговца, изливая в бесконечных расспросах свою досаду. Убедившись напоследок, что всему этому делу пришел конец, что теперь уж ничего не попишешь, он вернулся домой и с удивлением увидел свои заметки о наблюдениях над хрустальным яйцом, которые по-прежнему лежали на его заваленном книгами и бумагами столе.

Легко представить себе разочарование и досаду молодого ученого. Он еще раз сходил к торговцу на Грейт-Портленд-стрит (столь же безуспешно), дал объявления в газеты и журналы, которые могли попасть в руки коллекционеров разных редкостей. Написал письма в «Дейли кроникл» и «Нэйчер», но оба эти органа, заподозрив тут мистификацию, посоветовали ему подумать как следует, прежде чем настаивать на опубликовании своих писем. Кроме того, мистеру Уэйсу было дано понять, что эта странная история, лишенная каких бы то ни было вещественных доказательств, может повредить его репутации ученого.

Месяца через полтора после двух-трех последних бесед с антикварами мистер Уэйс скрепя сердце отказался от поисков хрустального яйца, тем более что работа в больнице оставляла у него мало свободного времени. Впрочем, недавно молодой ученый признался мне (и я не имею оснований не верить ему), что бывают дни, когда он бросает самые неотложные дела и, полный рвения, принимается разыскивать пропажу.

Найдется ли хрустальное яйцо или оно исчезло навсегда, об этом сейчас можно только гадать. Если теперешний его обладатель — коллекционер, он, казалось бы, должен узнать через антикваров, что эта вещь разыскивается. Мистер Уэйс уже выяснил, кто были те люди — пастор и «восточный человек», приходившие в лавку к мистеру Кэйву. Оказалось, что это достопочтенный Джеймс Паркер и молодой яванский принц Боссо-Куни. Им я обязан некоторыми подробностями этой истории. Настойчивость принца объяснялась просто любопытством и... долей чудачества. Ему захотелось купить хрустальное яйцо только потому, что Кэйв со странным упорством отказывался продать его.

Вполне вероятно, что тот, кому в конце концов досталась эта вещь, был не коллекционер, а просто случайный покупатель, и, может быть, хрустальное яйцо находится сейчас на расстоянии какой-нибудь мили от меня и украшает чью-нибудь гостиную, а то и служит пресс-папье, не обнаруживая своих замечательных свойств. Откровенно говоря, эта мысль отчасти и побудила меня изложить всю эту историю в форме рассказа в расчете на то, что так она скорее попадет на глаза рядовому потребителю беллетристики.

Мое собственное мнение о хрустальном яйце вполне совпадает с мнением мистера Уэйса. По-моему, между хрустальным шаром, укрепленным на вершине марсианской мачты, и хрустальным яйцом мистера Кэйва существует какая-то тесная связь, в настоящее время еще не разгаданная. Мы оба считаем также, что хрустальное яйцо могло быть послано с Марса на Землю (вероятнее всего, в незапамятные времена), когда марсиане захотели поближе познакомиться с нашими земными делами. Допускаю мысль, что у нас на Земле где-нибудь есть и другие такие же хрустальные шары — парные тем, что украшают остальные марсианские мачты. Во всяком случае, ссылками на галлюцинации тут ничего не объяснишь.

ДВЕРЬ В СТЕНЕ

I

Месяца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Лионель Уоллес рассказал мне историю про «дверь в стене». Слушая его, я ничуть не сомневался в правдивости его рассказа.

Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого, проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз, под мягким светом затененной абажуром лампы, а комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке и перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах, и этот яркий, уютный мирок был так далек от повседневности. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной.

— Он мистифицировал меня! — воскликнул я. — Ну и ловко это у него получалось! От кого другого, а уж от него я никак этого не ожидал.

Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться, почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности; мне приходило в голову, что в своем образном рассказе он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить (я не нахожу нужного слова) те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать.

Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю, как верил, слушая рассказ Уоллеса, что он всеми силами стремился приоткрыть мне некую тайну. Но

видел ли он на самом деле, или же это ему просто казалось, обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром или же был во власти игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался неразрешенным.

Пусть судит сам читатель!

Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека — случайное ли мое замечание или упрек. Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды.

Тут у него вдруг вырвалось:

— У меня мысли заняты совсем другим... Должен признаться, — продолжал он, немного помолчав, — я был не на высоте... Но дело в том... Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения... но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление.

Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном.

— Ты ведь прошел весь курс в Сент-Ателстенском колледже? — внезапно спросил он совсем некстати, как мне показалось в тот момент.

— Так вот... — И он снова умолк. Затем, сперва неуверенно, то и дело запинаясь, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни: то было неотвязное воспоминание о неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казались ему глупыми, скучными и пустыми.

Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности.

Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. «Внезапно, — заметила она, — он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним...»

Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и, когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле, его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать.

Ему не было еще и сорока лет, и поговаривают, что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня, это получалось как-то само собой.

Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Ателстенском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услышал об этой «двери в стене», о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Уоллеса.

Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него эта «дверь в стене» была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям.

Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком пяти-шести лет.

Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло.

— Я увидел перед собой, — говорил он, — ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены. Я внезапно его заметил, хотя и не помню, как это случилось... На чистом тротуаре, перед зеленой дверью лежали листья конского

каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками, а не коричневые и не грязные: очевидно, они только что упали с дерева. Вероятно, это был октябрь. Я каждый год любуюсь, как падают листья конского каштана, и хорошо знаю, когда это бывает... Если не ошибаюсь, мне было в то время пять лет и четыре месяца.

По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком: говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был, по мнению окружающих, «совсем как взрослый», поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получают в возрасте семи-восьми лет. Мать Уоллеса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Его отец — суровый, поглощенный своими делами адвокат — уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился побродить.

Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо.

Он ясно помнил, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение, его влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти.

Вместе с тем он смутно чувствовал, что с его стороны будет неразумно, а может быть, даже и дурно, если он поддастся этому влечению. Уоллес утверждал, что, как ни удивительно, он знал с самого начала, если только память его не обманывает, что дверь не заперта и он может, когда захочет, в нее войти.

Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону.

Каким-то совершенно непостижимым образом он знал, что отец очень рассердится, если он войдет в эту дверь.

Уоллес со всеми подробностями рассказал, какие он пережил колебания. Он прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там он увидел несколько драных, грязных лавчонок, и особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и обойщика; кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской.

Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на самом же деле трепетно стремился к зеленой двери.

Внезапно его охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на него снова не напали колебания, он решительно побежал, протянув руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду, и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь.

Уоллесу было очень трудно передать свои впечатления от этого сада.

— В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно...

Уоллес задумался, потом продолжал свой рассказ.

— Видишь ли, — сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно необычным. — Там были две большие пантеры... Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: подошла, ласково потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю... А его размеры? О, он далеко

простирался во все стороны, и, казалось, ему нет конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг провалился Восточный Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину.

Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом; тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть, гладил их круглые уши, щекотал чувствительное местечко за ушами и забавлялся с ними. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело радостное чувство, что я наконец вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: «Вот и ты!» — потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку, — это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное сознание, что иначе и не могло быть, напоминая о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я помню широкие красные ступени, видневшиеся между стеблями дельфиниума; мы поднялись по ним на убегавшую вдаль аллею, по сторонам которой росли старые-престарые тенистые деревья. Вдоль этой аллеи, среди красноватых, изборожденных трещинами стволов, высились мраморные памятники и статуи, а вокруг бродили ручные, очень ласковые белые голуби.

Поглядывая вниз, моя спутница осторожно вела меня по этой прохладной аллее. Мне запомнились милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, я начисто забыл... Внезапно обезьянка-капуцин, удивительно чистенькая, с красновато-бурой шерсткой и добрыми карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, поглядывая на меня и скаля зубы, потом прыгнула мне на плечо. Так мы оба, веселые и довольные, продолжали свой путь.

Он умолк.

— Продолжайте, — сказал я.

— Мне вспоминаются всякие мелочи. Мы прошли мимо старика, сидевшего в тени лавров и погруженного в размышления. Миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей — все, о чем только можно мечтать. Там я заметил много людей — некоторых я помню очень ясно, других смутно, но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу почувствовал, что я им дорог и они рады меня видеть. Их движения, прикосновения рук, приветливый, сияющий любовью взгляд — все наполняло меня неизъяснимым восторгом. Вот так-то...

Он на секунду задумался.

— Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы горячо привязались друг к другу.

Но, как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Никогда не мог вспомнить. Впоследствии, еще в детские годы, я целыми часами, порой обливаясь слезами, ломал голову, стараясь припомнить, в чем же состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детской возобновить эти игры. Но куда там!..

Все, что я мог воскресить в памяти, — это ощущение счастья и облик двух дорогих товарищей, игравших со мной.

Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами, с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшем мягкими складками. Она поманила меня и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня, тут же прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. «Возвращайся к нам, — вслед кричали они. — Возвращайся скорей!»

Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на их крики ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Мы подошли к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел: на оживших страницах книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне; в ней было все, что случилось со мной со дня моего рождения.

Я дивился, потому что страницы книги не были картинками, ты понимаешь, а реальной жизнью.

Уоллес многозначительно помолчал и поглядел на меня с сомнением.

— Продолжай, — сказал я, — мне понятно.

— Это была самая настоящая жизнь, да, поверь, это было так: люди двигались, события шли своим чередом. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною, тут же и отец, как всегда, непреклонный и суровый, наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел, и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщины, и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и не мог вдоволь насмотреться; наконец я увидел самого себя в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх.

«А дальше!» — воскликнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня своей спокойной рукой.

«Дальше!» — настаивал я, осторожно отодвигая ее руку и стараясь изо всех своих слабых сил освободиться от ее пальцев. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб.

Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Восточном Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был — маленькая жалкая фигурка: я горько плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог вернуться к моим милым товарищам по играм, которые меня тогда звали: «Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!» Там я и стоял. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая мать, у колен которой я стоял, внезапно исчезли, но куда?

Уоллес снова замолк и некоторое время пристально смотрел на пламя, ярко пылавшее в камине.

— О, как мучительно было возвращение! — прошептал он.

— Ну а дальше? — сказал я, помолчав минуту-другую.

— Я был маленьким, жалким созданием! И снова вернулся в этот безрадостный мир! Когда я до конца осознал, что со мною произошло, безудержное отчаяние охватило меня. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда рыдал на глазах у всех, помню и позорное возвращение домой.

Я вижу добродушного старого джентльмена в золотых очках, который остановился и сказал, предварительно ткнув меня зонтиком: «Бедный мальчонка, верно, ты заблудился?» Это я-то, лондонский мальчик пяти с лишним лет! К тому же старик вздумал привести молодого любезного полисмена, вокруг нас собралась толпа, и меня отвели домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из своего зачарованного сада в отцовский дом.

Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не

в силах передать словами все обаяние этого призрачного, словно бы нереального мира, такого не похожего на привычную, обыденную жизнь, но все же... это так и было. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный сон среди белого дня... М-да!

Разумеется, за этим последовал суровый допрос, — мне пришлось отчитываться перед тетушкой, отцом, няней, гувернанткой.

Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили об этом говорить, а другим слушать, если я вздумаю рассказывать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня под предлогом, что у меня было слишком развито воображение. Да, это сделали! Мой отец принадлежал к старой школе... И все пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал об этом ночью мокрой подушке и ощущал у себя на губах соленый вкус своих детских слез.

К своим обычным не очень пылким молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: «Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня в мой сад. Верни меня в мой сад!» Как часто мне снился этот сад во сне!

Быть может, я что-нибудь прибавил в своем рассказе, возможно, кое-что изменил, право, не знаю.

Это, видишь ли, попытка связать воедино отрывочные воспоминания и воскресить волнующее переживание раннего детства. Между ним и другими воспоминаниями моего отрочества пролегла бездна. Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.

— А ты когда-нибудь пытался найти этот сад? — спросил я.

— Нет, — отвечал Уоллес, — не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется это странным, но, по всей вероятности, после того

злополучного происшествия из боязни, как бы я снова не заблудился, за каждым моим движением зорко следили.

Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже, когда уже познакомился с тобой. Но, думается, был и такой период, хотя это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Думается, в то время мне было восемь-девять лет. Ты меня помнишь мальчиком в Сент-Ателстенском колледже?

— Ну еще бы!

— В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту, не правда ли?

II

Уоллес посмотрел на меня — лицо его осветилось улыбкой.

— Ты когда-нибудь играл со мной в «северо-западный проход»?.. Нет, в то время мы не были в дружбе с тобой.

— Это была такая игра, — продолжал он, — в которую каждый ребенок, наделенный живым воображением, готов играть целые дни напролет. Требовалось отыскать «северо-западный проход» в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дому на десять минут раньше, завернуть куда-нибудь в сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по другую сторону Кампден-хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то уличке, казавшейся тупиком, и внезапно нашел проход. У меня блеснула надежда, и я пустился дальше. «Обязательно пройду», — сказал я себе. Я миновал ряд странно знакомых грязных лавчонок и вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой дверью, ведущей в зачарованный сад.

Я просто оторопел. Так, значит, этот сад, этот чудесный сад был не только сном?

Он замолчал.

— Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между деятельной жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз у меня и в помыслах не было сразу туда войти. Видишь ли... в голове вертелась лишь одна мысль: поспеть вовремя в школу, — ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть... Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь, все время думая о нем. Но меня это не остановило. Я шел своей дорогой. Вынув из кармана часы и обнаружив, что в моем распоряжении еще десять минут, я прошмыгнул мимо стены и, спустившись быстро с холма, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но зато вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу... Подумай, я мог пройти мимо сада, даже не заглянув в калитку?! Странно, а?

Он задумчиво посмотрел на меня.

— Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всегда можно было найти. Ведь у школьников довольно ограниченное воображение. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то неподалеку и я знаю дорогу к нему. Но на первом плане была школа, неудержимо влекущая меня. Мне думается, в то утро я был рассеян, крайне невнимателен и все время силился припомнить удивительных людей, которых мне вскоре предстояло встретить. Как это ни странно, я ничуть не сомневался, что и они будут рады видеть меня. Да, в то утро этот сад, должно быть, представлялся мне прелестным уголком, хорошим прибежищем для отдыха в промежутках между напряженными школьными занятиями.

Но в тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я оставался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная

работа, и у меня не оказалось времени пойти окольным путем. Право, не знаю. Знаю только, что в ту пору чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя.

Я поведал о ней одному мальчугану. Ну как же его фамилия? Он был похож на хорька... Мы еще звали его Пройда...

— Гопкинс, — подсказал я.

— Вот, вот, Гопкинс. Мне не очень хотелось ему рассказывать. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки в конце концов рассказал. Возвращаясь из школы, мы часть дороги шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то все равно тараторили бы о чем-нибудь другом, а мысль о саде так и вертелась у меня в голове. Вот я и выболтал ему.

Ну а он взял да и выдал мою тайну.

На следующий день, во время перемены, меня обступили человек шесть мальчишек постарше меня. Они подтрунивали надо мной, и в то же время им не терпелось еще что-нибудь разузнать о заколдованном саде. Среди них был этот верзила Фоусет. Ты помнишь его? И Карнеби, и Морли Рейнольдс. Ты, случайно, не был с ними? Впрочем, нет, я бы запомнил, будь ты в их числе...

Удивительное создание — ребенок! Я сознавал, что поступаю нехорошо, я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Помню, мне было особенно приятно, когда меня похвалил Кроушоу. Ты помнишь сына композитора Кроушоу — Кроушоу-старшего? Он сказал, что ему еще не приходилось слышать такой увлекательной лжи. Но вместе с тем я испытывал мучительный стыд, рассказывая о том, что считал своей священной тайной. Это животное Фоусет даже позволил себе отпустить шутку по адресу девушки в зеленом.

Уоллес невольно понизил голос, рассказывая о пережитом им позоре.

— Я сделал вид, что не слышу, — продолжал он. — Неожиданно Карнеби обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это чистая правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда — каких-нибудь десять минут ходу. Тут Карнеби, приняв вид оскорбленной добродетели, заявил, что я должен подтвердить свои слова на деле, а не то он меня хорошенько проучит. Скажи, тебе никогда не выкручивал руку Карнеби? Если да, ты тогда поймешь, что произошло со мной. Я поклялся, что мой рассказ — истинная правда.

В то время в школе некому было защитить меня от Карнеби. Правда, Кроушоу пропищал что-то в мою защиту, но Карнеби был хозяином положения. Я испугался, взволновался, уши у меня разгорелись. Я вел себя, как маленький глупый мальчишка, и под конец вместо того чтобы пойти одному на поиски своего чудесного сада, я потащил за собой всю компанию. Я шел впереди, веки у меня пылали, глаза застилал туман, на душе было тяжело, я сгорал от стыда, а за мной шагали шесть насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников... Мы не увидали ни белой стены, ни зеленой двери...

— Ты хочешь сказать?..

— Я хочу сказать, что мне не удалось найти стены. Я так хотел ее разыскать, но никак не мог. И позже, когда я ходил один, мне также не удавалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я только и делал, что искал зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, веришь, ни единого разу.

— Ну, а как обошлись с тобой после этого товарищи?

— Зверски!.. Карнеби учинил надо мной лютую расправу за явную ложь.

Помню, как я пробрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, я плакал о потерянном саде, где мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежных, ласковых женщинах и ожидавших меня товарищах, об игре, которой я снова надеялся выучиться, — об этой чудесной позабытой игре...

Я был уверен, что если бы тогда не рассказал... Трудное время наступило для меня, бывало, по ночам я лил слезы, а днем витал в облаках.

Добрых два семестра я нерадиво относился к своим занятиям и получал плохие отметки. Ты помнишь? Конечно, ты не мог забыть. Ты перегнал меня по математике, и это заставило меня снова взяться за зубрежку.

III

Несколько минут мой друг молча смотрел на красное пламя камина, потом опять заговорил:

— Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже семнадцать лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Падингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Я сидел в кебе, наклонившись над дверцами экипажа, и курил папиросу, считая себя, без сомнения, безупречным светским джентльменом. И вдруг передо мной возникла стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления.

Мы с грохотом прокатили мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стенку кеба и опустил руку в карман, вынимая часы.

«Да, сэр?» — сказал любезно кучер.

«Э-э, послушайте! — воскликнул я. — Впрочем, нет, ничего! Я ошибся! Я тороплюсь! Поезжайте!»

Мы проехали дальше...

Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, столь редкая похвала, и разумные его советы все еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, огромную трубку, неизбежную в юности, и раздумывал о двери в длинной белой стене.

«Если бы я остановил извозчика, — размышлял я, — то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру». Я стал лучше разбираться в жизни. Этот случай заставил меня глубоко призадуматься, но все же я не сомневался, что будущая моя карьера стоила такой жертвы.

Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной распахнулась другая дверь — дверь моей карьеры.

Он снова повернулся к камину и стал пристально смотреть на огонь; на миг багровые отсветы пламени озарили его лицо, и я прочел в его глазах выражение какой-то упрямой решимости, но оно тут же исчезло.

— Да, — произнес он, вздохнув. — Я безраздельно отдался своей карьере. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях неизменно возвращался к зачарованному саду. С тех пор мне пришлось четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным, столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло, отодвинулось куда-то далеко, потеряло надо мной власть и обаяние.

Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями?

Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Кое-что... Однако были и разочарования...

Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я наугад пошел по кратчайшей дороге и очутился в глухом переулке близ Эрлс-Корт. Там я вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь.

«Как странно, — сказал я себе, — а ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-Хилле. Это заколдованное место так же трудно найти, как сосчитать камни Стонхенджа».

И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не манила меня в тот день.

Правда, был момент, когда меня потянуло открыть эту дверь, — ведь для этого пришлось бы сделать всего каких-нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнется для меня, но тут я подумал, что ведь это может меня задержать, я опоздаю на свидание, а ведь дело идет о моем самолюбии. Позднее я пожалел о том, что так торопился, ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать рукой своим пантерам. Но в то время я уже приобрел житейскую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением. Да, но все же тогда я был очень огорчен...

Потом последовали годы упорного труда, и о двери я и не помышлял. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело непонятное чувство: казалось, весь мир заволокла какая-то тонкая пелена. Я думал о том, что больше уж никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был слегка переутомлен, а может быть, уже сказывается возраст: ведь мне скоро сорок. Право, не знаю. Но вот с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает бороться и преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события и надо энергично действовать. Чудно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают мне на долю, кажутся мне ничтожными.

С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да... и я видел его еще три раза.

— Как, сад?

— Нет, дверь. И не вошел.

Уоллес наклонился ко мне через стол, и, когда он заговорил снова, в его голосе звучала неизбывная тоска.

— Трижды мне представлялась такая возможность. Понимаешь, трижды! Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь снова окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно оста-

нусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил.

Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери, но так и не вошел в нее. Три раза за этот последний год.

Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель и правительство удержалось у власти большинством всего трех голосов. Ты помнишь? Никто из наших и, вероятно, большинство из оппозиции не ожидали, что вопрос будет решаться в тот вечер. И мнения раскололись, подобно яичной скорлупе.

В тот вечер мы с Хотчкинсом обедали у его двоюродного брата в Бретфорде. Оба мы были без дам. Нас вызвали по телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва поспели к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене, она казалась совсем призрачной в лунном сиянии. Фары нашей машины бросали на нее яркие желтые блики, — несомненно, это была она!

«Бог мой!» — воскликнул я.

«Что случилось?» — спросил Хотчкинс.

«Ничего!» — ответил я.

Момент был упущен.

«Я принес большую жертву», — сказал я организатору нашей партии, войдя в здание парламента.

«Так и надо!» — бросил он на бегу.

Но разве я мог тогда поступить иначе?

Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее «прости». Момент был опять-таки крайне напряженный.

Но в третий раз было совсем по-другому. Случилось это всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня произошел разговор с Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял интимный характер.

Мое участие в реорганизуемом кабинете стояло еще под вопросом.

Да, да. Теперь это уже дело решенное. Об этом пока еще не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя... Спасибо, спасибо. Но позволь мне досказать тебе мою историю.

В тот вечер вопрос висел еще в воздухе. Мое положение было крайне щекотливым. Мне было очень важно получить от Гаркера нужные сведения, но мешало присутствие Ральфса.

Я из кожи лез, стараясь поддержать легкий, непринужденный разговор, не имевший прямого отношения к интересующему меня вопросу. Это было необходимо. Дальнейшее поведение Ральфса доказало, что я был прав, остерегаясь его... Я знал, что Ральфс распростится с нами, когда мы минуем Кенсингтон-Хай-стрит, тут я и огорошу Гаркера неожиданной откровенностью. Иной раз приходится прибегать к такого рода уловкам... И вдруг в поле моего зрения на дороге вновь появилась и белая стена и зеленая дверь...

Разговаривая, мы прошли мимо стены. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера — низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне; вслед за его тенью промелькнули на стене и наши.

Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. «Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?» — спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой нерешенных проблем, и я так и не ответил на этот вопрос. «Они подумают, что я сошел с ума, — размышлял я. — Предположим, я сейчас скроюсь. Загадочное исчезновение видного политического деятеля...» Это перетянуло чашу весов. В критический момент мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений.

Тут Уоллес с грустной улыбкой повернулся ко мне.

— И вот я сижу здесь. Да, здесь, — тихо сказал он. — Я упустил эту возможность.

Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло...

— Откуда ты это знаешь?

— Я знаю, знаю. Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, — мысль, которая так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура! Да, успеха я добился.

При этих словах он с силой раздавил грецкий орех, который был зажат в его большой руке, и протянул его мне:

— Вот он, мой успех!

Послушай, я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате. За последние два месяца — да, уже добрых десять недель — я почти не работаю, буквально через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Я не нахожу себе места. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить по городу. Хотел бы я знать... Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бредет в темноте один-одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад...

IV

Передо мной воскресает побледневшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным, угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ясно. Я сижу на диване, вспоминая его слова, звук его голоса, а вчерашний вечерний выпуск вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Сегодня в клубе за завтраком только и было разговоров, что о его внезапной кончине.

Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме, близ Восточно-Кенсингтонского вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железно-

дорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и вот в нее-то и прошел Уоллес.

Я, как в тумане, теряюсь в догадках.

Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Часто во время последней сессии он шел домой пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру; глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя.

Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? А роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания?

Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю.

Я передал эту историю так, как мне ее рассказал Уоллес. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что это было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже чуточку ненормальным, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело — как бы это сказать? — какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным, мы видим только ограду и за ней траншею. В свете наших обыденных представлений нам, заурядным людям, кажется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели.

Но кто знает, что ему открылось?

ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА

Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше.Раза два я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров: волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные, и тому подобная мелочь. Мне и в голову не приходило зайти в эту лавку. Но вот однажды Джип взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил к витрине; при этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно.

По правде говоря, я и не думал, что эта скромная лавчонка находится именно здесь, на Риджент-стрит, между магазином, где продаются картины, и заведением, где выводятся цыплята в патентованных инкубаторах. Но это была она. Мне почему-то казалось, что она ближе к Сэркус, или за углом на Оксфорд-стрит, или даже в Холборне, и всегда я видел ее на другой стороне улицы, так что к ней было не подойти, и что-то в ней было неуловимое, что-то похожее на мираж. Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений, и пухлый указательный пальчик Джипа стучит по ее витрине.

— Будь я богат, — сказал Джип, тыча пальцем туда, где лежало «Исчезающее яйцо», — я купил бы себе вот это. И это. — Он указал на «Младенца, плачущего совсем как живой». — И это.

То был таинственный предмет, который назывался: «Купи и удивляй друзей!» — как значилось на аккуратном ярлычке.

— А под этим колпаком, — сказал Джип, — пропадает все, что ни положи. Я читал об этом в одной книге... А вон, папа, «Неуловимый грошик», только его так положили, чтобы не видно было, как это делается.

Джип унаследовал милые черты своей матушки: он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями, он толь-

---

ко тянул меня за палец по направлению к двери — совершенно бессознательно, — и было яснее ясного, чего ему хочется.

— Вот! — сказал он и указал на «Волшебную бутылку».

— А если б она у тебя была? — спросил я.

И, услыхав в этом вопросе обещание, Джип просиял.

— Я показал бы ее Джесси! — ответил он, полный, как всегда, заботы о других.

— До дня твоего рождения осталось меньше ста дней, Джип, — сказал я и взялся за ручку двери.

Джип не ответил, но еще сильнее сжал мой палец, и мы вошли в лавку.

Это была не простая лавка, это была лавка волшебная. И потому Джип не проследовал к прилавку впереди меня, как при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня.

Это была крошечная, тесноватая полутемная лавчонка, и дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок, — степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой; вот хрустальные шары всех видов; вот фарфоровая рука с колодой волшебных карт; вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов; вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставившая напоказ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас, другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову, третье делало из вас какую-то круглую, толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился какой-то мужчина, очевидно, хозяин.

Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок — как носок башмака.

— Чем могу служить? — спросил он и растопырил свои длинные волшебные пальцы по стеклу прилавка.

Мы вздрогнули, потому что не подозревали о его присутствии.

— Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще, — сказал я.

— Фокусы? — спросил он. — Ручные? Механические?

— Что-нибудь позабавнее, — ответил я.

— Гм... — произнес продавец и почесал голову, как бы размышляя. И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы стеклянный шарик. — Что-нибудь в таком роде? — спросил он и протянул его мне.

Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде — без него не обойдется ни один фокусник средней руки, — но здесь я этого не ожидал.

— Недурно! — сказал я со смехом.

— Не правда ли? — заметил продавец.

Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком, но в руках продавца ничего не оказалось.

— Он у вас в кармане, — сказал продавец, и действительно, шарик был там.

— Сколько за шарик? — спросил я.

— За стеклянные шарики мы денег не берем, — любезно ответил продавец. — Они достаются нам, — тут он поймал еще один шарик у себя на локте, — даром.

Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, потом обратил вопрошающий взгляд на продавца.

— Можете взять себе и эти, — сказал тот, улыбаясь, — а также, если не брезгуете, еще один, изо рта. Вот!

Джип взглянул на меня, ища совета, потом в глубочайшем молчании сгреб все четыре шарика, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям.

— Так мы приобретаем весь наш товар, какой помельче, — объяснил продавец.

Я засмеялся и, подхватив его остроту, сказал:

— Вместо того, чтобы покупать их на складе? Оно, конечно, дешевле.

— Пожалуй, — ответил продавец. — Хотя в конце концов и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы... И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили заметить нашу марку: «Настоящая волшебная лавка».

Он вытащил из-за щеки прейскурант и подал его мне.

— Настоящая, — сказал он, указывая пальцем на это слово, и прибавил: — У нас без обмана, сэр.

У меня мелькнула мысль, что его шутки не лишены последовательности.

Потом он обратился к Джипу с ласковой улыбкой:

— А ты, знаешь ли, Неплохой Мальчуган...

Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держим это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца.

— Потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь.

И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пискливый голосок:

— И-и! Я хочу войти туда, папа! Папа, я хочу войти! И-и-и!

И уговоры измученного папаши:

— Но ведь заперто, Эдуард, нельзя!

— Совсем не заперто! — сказал я.

— Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей, — сказал продавец, и при этих словах мы увидели мальчика: крошечное личико, болезненно-бледное от множества поедаемых лакомств, искривленное от вечных капризов, личико бессердечного маленького себялюбца, царапающего заколдованное стекло.

— Не поможет, сэр, — сказал торговец, заметив, что я со свойственной мне услужливостью шагнул к двери.

Скоро хнычущего избалованного мальчика увели.

— Как это у вас делается? — спросил я, переводя дух.

— Магия! — ответил продавец, небрежно махнув рукой. И — ах! — из его пальцев вылетели разноцветные искры и погасли в полутьме магазина.

— Ты говорил там, на улице, — сказал продавец, обращаясь к Джипу, — что хотел бы иметь нашу коробку «Купи и удивляй друзей!»

— Да, — признался Джип после героической внутренней борьбы.

— Она у тебя в кармане.

И, перегнувшись через прилавок (тело у него оказалось необычайной длины), этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у Джипа из кармана коробку.

— Бумагу! — сказал он и достал большой лист из пустой шляпы с пружинами.

— Бечевку! — И во рту у него оказался клубок бечевки, от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал ею сверток, перекусил зубами, а клубок, как мне показалось, проглотил. Потом об нос одной из чревовещательных кукол зажег свечу, сунул в огонь палец (который тотчас же превратился в палочку красного сургуча) и запечатал покупку.

— Вам еще понравилось «Исчезающее яйцо», — заметил он, вытаскивая это яйцо из внутреннего кармана моего пальто, и завернул его в бумагу вместе с «Младенцем, плачущим совсем как живой». Я передавал каждый готовый сверток Джипу, а тот крепко прижимал его к груди.

Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы, красноречивы были его руки, обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине это была настоящая магия.

Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул, кажется, в картонную коробку позади тигра из папье-маше.

— Ай, ай, ай! — сказал продавец, ловким движением отбирая у меня головной убор. — Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила здесь гнездо!..

И он стал трясти мою шляпу, вытряхнул оттуда два или три яйца, мраморный шарик, часы, с полдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу, потом еще бумагу, еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри, — все это, разумеется, очень вежливо, но не без личных намеков.

— Накапливается целая куча мусора, сэр... Конечно, не у вас одного... Чуть не у каждого покупателя... Чего только люди не носят с собой!

Мятая бумага росла и вздымалась на прилавке все выше и выше, и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему:

— Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр. Все мы — только одна видимость, только гробы повапленные...

Его голос замер, точь-в-точь как у ваших соседей замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом, — такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось, и стало тихо.

— Вам больше не нужна моя шляпа? — спросил я наконец.

Ответа не было.

Я поглядел на Джипа, Джип поглядел на меня, и в волшебных зеркалах отразились наши искаженные лица — загадочные, серьезные, тихие.

— Я думаю, нам пора! — сказал я. — Будьте добры, скажите, сколько с нас следует... Послушайте, — сказал я, повышая голос, — я хочу расплатиться... И, пожалуйста, мою шляпу...

Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение.

— Он смеется над нами! — сказал я. — Ну-ка, Джип, поглядим за прилавок.

Мы обошли тигра, качающего головой. И что же? За прилавком никого не оказалось. На полу валялась моя

шляпа, а рядом с нею в глубокой задумчивости, съежившись, сидел вислоухий белый кролик — самый обыкновенный, глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают только у фокусников. Я нагнулся за шляпой — кролик отпрыгнул от меня.

— Папа! — шепнул Джип виновато.

— Что?

— Мне здесь нравится, папа.

«И мне тоже нравилось бы, — подумал я, — если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход». Я не сказал об этом Джипу.

— Киска! — произнес он и протянул руку к кролику. — Киска, покажи Джипу фокус!

Кролик шмыгнул в дверь, которой я там раньше почему-то не видел, и в ту же минуту оттуда опять показался человек, у которого одно ухо было длиннее другого. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку.

— Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр? — как ни в чем не бывало сказал он.

Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца, и глаза наши снова встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, слишком уж подлинное.

— К сожалению, у нас не очень много времени, — начал я. Но мы уже находились в другой комнате, где была выставка образцов.

— Все товары у нас одного качества, — сказал продавец, потирая гибкие руки, — самого высшего. Настоящая магия, без обмана, другой не держим! С ручательством... Прошу прощения, сэр!

Я почувствовал, как он отрывает что-то от моего рукава, и, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика, а тот извивается, и дергается, и норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение... И держал он его так, как держат

в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на Джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца.

— Послушайте, — сказал я продавцу, понижая голос и указывая глазами то на Джипа, то на красного чертика, — надеюсь, у вас не слишком много таких... изделий, не правда ли?

— Совсем не держим! Должно быть, вы занесли его с улицы, — сказал продавец, тоже понизив голос и с еще более ослепительной улыбкой. — Чего только люди не таскают с собой, сами того не зная!

Потом он обратился к Джипу:

— Нравится тебе тут что-нибудь?

Джипу многое нравилось.

С доверчивой почтительностью обратившись к чудесному продавцу, он спросил:

— А эта сабля тоже волшебная?

— Волшебная игрушечная сабля — не гнется, не ломается и не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет цел и невредим из любого единоборства с любым врагом не старше восемнадцати лет. От двух с половиной шиллингов до семи с половиной, в зависимости от размера... Эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, шапка-невидимка.

— Ох, папа! — воскликнул Джип.

Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел Джипом. Он оторвал его от моего пальца, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой и каким-то чувством, похожим на ревность, что Джип ухватился за его палец, точь-в-точь как обычно хватался за мой. «Конечно, он человек занятный, — думал я, — и у него накоплено много прелюбопытной дряни, но все-таки...»

Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. В конце концов Джипу это

доставляет удовольствие... И никто не помешает нам уйти, когда вздумается.

Выставка товаров занимала длинную комнату, большая галерея изобиловала всякими колоннами, подпорками, стойками; арки вели в боковые помещения, где болтались без дела и зевали по сторонам приказчики самого странного вида; на каждом шагу нам преграждали путь и сбивали нас с толку разные портьеры и зеркала, так что скоро я потерял ту дверь, в которую мы вошли.

Продавец показал Джипу волшебные поезда, которые двигались без пара и пружины, чуть только вы открывали семафор, а также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили... Как передать этот звук, я не знаю, но Джип — у него тонкий слух его матери — тотчас же воспроизвел его.

— Браво! — воскликнул продавец, весьма бесцеремонно бросая оловянных человечков обратно в коробку и передавая ее Джипу. — Ну-ка еще разок!

И Джип в одно мгновение опять воскресил их.

— Вы берете эту коробку? — спросил продавец.

— Мы бы взяли эту коробку, — сказал я, — если только вы уступите нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером...

— Что вы! С удовольствием.

И продавец снова впихнул человечков в коробку, захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе — и тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя Джипа!

Видя мое изумление, продавец засмеялся.

— У нас настоящее волшебство, — сказал он. — Подделок не держим.

— По-моему, оно даже чересчур настоящее, — отозвался я.

После этого он стал показывать Джипу разные фокусы, необычайные сами по себе, а еще больше — по выпол-

нению. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку, и мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока.

Я не мог уследить за ними. «Эй, живо!» — вскрикивал волшебный продавец, и вслед за ним чистый детский голос повторял: «Эй, живо!» Но меня отвлекло другое. Меня стала одолевать вся эта чертовщина. Ею было проникнуто все: пол, потолок, стены, каждый гвоздь, каждый стул. Меня не покидало странное чувство, что стоит мне только отвернуться — и все это запляшет, задвигается, пойдет бесшумно играть у меня за спиной в пятнашки. Карниз извивался, как змея, и лепные маски по углам были, по правде говоря, слишком выразительны для простого гипса.

Внезапно внимание мое привлек один из приказчиков, человек диковинного вида.

Он стоял в стороне и, очевидно, не знал о моем присутствии (мне он был виден не весь: его ноги заслоняла груда игрушек и, кроме того, нас разделяла арка). Он беспечно стоял, прислонясь к столбу и проделывал со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, будто просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький приплюснутый нос, потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба, а потом стал делаться все тоньше и тоньше и в конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст... Как в страшном сне! Он размахивал своим носом в разные стороны и забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку.

Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для Джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом и он не подозревает ничего дурного. Они о чем-то шептались, поглядывая на меня. Джип взобрался на табуретку, а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана.

— Сыграем в прятки, папа! — крикнул Джип. — Тебе водить!

И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его большим барабаном.

Я сразу понял, в чем дело.

— Поднимите барабан! — закричал я. — Сию минуту! Вы испугаете ребенка! Поднимите!

Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и протянул мне этот большой цилиндр, чтобы я мог вполне убедиться, что он пуст! Но на табуретке тоже не было никого! Мой мальчик бесследно исчез!..

Вам, может быть, знакомо зловещее чувство, которое охватывает вас, словно рука неведомого, и больно сжимает вам сердце! Это чувство сметает куда-то прочь ваше обычное «я», вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и предприимчивы, вы не медлите, но и не торопитесь, гнев и страх исчезают. Так было со мной.

Я подошел к ухмыляющемуся продавцу и опрокинул табуретку ударом ноги.

— Оставьте эти шутки, — сказал я. — Где мой мальчик?

— Вы сами видите, — сказал он, показывая мне пустой барабан, — у нас никакого обмана...

Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он, ловко извернувшись, ускользнул от меня. Я опять бросился на него, но он опять увильнул и распахнул какую-то дверь.

— Стой! — крикнул я.

Он убежал со смехом, я ринулся за ним и со всего размаху вылетел... во тьму.

Хлоп!

— Фу-ты! Я вас и не заметил, сэр!

Я был на Риджент-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного растерянный, стоял Джип. Я кое-как извинился, и Джип с ясной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну секунду потерял меня из виду.

В руках у него было четыре пакета!

Он тотчас же завладел моим пальцем.

Сначала я не знал, что подумать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери — ничего! Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины, и окном с цыплятами...

Я сделал единственное, что было возможно в таком положении: встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая кеб.

— В карете! — восторженно воскликнул Джип. Он не ждал этой дополнительной радости.

Я усадил Джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и вынул оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую.

Джип не сказал ни слова.

Некоторое время мы оба молчали.

— Папа! — сказал наконец Джип. — Это была хорошая лавка!

Тут я впервые задумался, как же он воспринял все это приключение. Он оказался совершенно цел и невредим — это главное. Он не был напуган, он не был расстроен, он просто был страшно доволен тем, как провел день, и к тому же у него в руках было четыре пакета.

Черт возьми! Что могло там быть?

— Гм! — сказал я. — Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки!

Он принял эти слова со свойственным ему стоицизмом, и на минуту я даже пожалел, что я его отец, а не мать, и не могу тут же, coram publico*, расцеловать его. «В конце концов, — подумал я, — не так уж все это страшно».

Но окончательно утвердился я в этом мнении, только когда мы распаковали наши свертки. В трех оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что Джип совершенно забыл о тех «Настоящих волшебных солдатах», которых он видел в лавке, а в четвертом свертке был котенок — маленький белый живой котенок, очень веселый и с прекрасным аппетитом.

Я рассматривал содержимое пакетов с облегчением, но все-таки еще с опаской. Проторчал я в детской не знаю сколько времени...

* при народе *(лат.)*.

Это случилось шесть месяцев тому назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается Джипа...

Чуткие родители согласятся, что с ним я должен был соблюдать особенную осторожность.

Но недавно я все же отважился на серьезный шаг.

Я спросил:

— А что, Джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать?

— Мои солдаты живые, — сказав Джип. — Стоит мне только сказать одно словечко, когда я открываю коробку.

— И они маршируют?

— Еще бы! Иначе за что их и любить!

Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения я до сих пор за ними не заметил. Так что трудно сказать, прав ли Джип или нет.

Еще один вопрос: о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджент-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала: ведь раз этим людям — кто бы они ни были — известен адрес Джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету.

СТРАНА СЛЕПЫХ

За триста с лишним миль от Чимборасо, за сто миль от снегов Котопахи, в самой глуши Эквадорских Анд, отрезанная от мира человеческого, лежит таинственная горная долина — Страна слепых. Много лет назад долина эта

была еще настолько открыта для мира, что люди все же могли страшными ущельями, по ледяным тропам проникать на ее плоские луга. И вот пришли туда люди — две-три семьи перуанских метисов, бежавших от жадности и тирании жестокого испанского наместника. Потом произошло страшное извержение Миндобамбы, когда семнадцать суток в Квито стояла ночь, и вода в Ягвачи превратилась в кипяток, и до самого Гваякиля вся рыба, всплыв, перемерла. По тихоокеанским склонам шли обвалы, быстрое таяние и внезапные наводнения, и целый гребень древнего Арауканского хребта пополз, обрушился с громом и навсегда отрезал для исследователя путь в Страну слепых. Но одного из тех первых поселенцев землетрясение захватило по эту сторону ущелья, и пришлось ему — хочешь не хочешь — забыть жену и ребенка, и всех друзей, и все свое добро, оставленное там в горах, и начать жизнь сызнова в низине. Он начал ее сызнова, но не было ему удачи, его постигла слепота, и умер он, сосланный в рудники. Но из его рассказов родилась легенда, которая в Андах живет и поныне.

Он рассказывал, почему отважился уйти из надежного приюта, куда еще ребенком его привезли привязанным к ламе между двух большущих тюков с пожитками. В долине, говорил он, было все, чего может желать человек: пресная вода, пастбища и ровный климат, склоны тучного чернозема, заросли кустарника, дающего вкусные плоды, а большой сосновый бор на одном из склонов высоко в горах задерживал лавины. С трех сторон серо-зеленые каменные утесы поднимали ввысь свои головы, покрытые снеговыми шапками. Но ледники не доходили сюда, протекая мимо по дальним склонам, и только время от времени скатывались на края долины большие глыбы льда. Там никогда не бывало ни дождя, ни снега, но бесчисленные родники позволяли провести орошение по всей долине и превратить ее в сплошное, богатое кормом пастбище. Поселенцам, что и говорить, жилось привольно. Их скот тучнел и множился. Одно только омрачало их счастье. Но и этого одного было довольно, чтобы отравить горечью их

дни. Странная болезнь напала на них, поражая слепотой всех новорожденных, а иногда и детей постарше. И вот, чтобы найти отворотное средство от проклятия слепоты, человек с великим трудом и опасностями вернулся по ущелью в низину. В те времена люди в подобных случаях думали не о микробах и заразе, а только о грехах; и ему казалось, что причина напасти — небрежение к религии: среди поселенцев не было священника, и они не позаботились, придя в долину, тотчас воздвигнуть церковь. Он надумал построить в долине церковь, настоящую — недорогую, но красивую церковь. Ему нужны были мощи и разные другие предметы культа — священные реликвии, таинственные образки, листки с молитвами. В котомке у него лежал слиток местного серебра, происхождение которого он отказывался объяснить. Настойчиво — с настойчивостью неумелого лгуна — он твердил, что серебра в долине нет. По его словам, поселенцы, не нуждаясь в подобных ценностях, собрали там у себя все свои деньги и украшения и переплавили их в этот слиток, чтобы купить на него божью помощь от своей болезни. Я так и вижу его, молодого подслеповатого горца, как незадолго перед катастрофой он стоит, опаленный солнцем, исхудалый, взволнованный, незнакомый с нравами жителей низины, и, лихорадочно комкая шляпу, рассказывает свою историю какому-нибудь остроглазому, жадно слушающему священнику. Представляю себе, как поспешил он потом домой с чудотворными средствами против их беды, и в каком безграничном отчаянии он стоял перед нагромождением скал, возникшим на том месте, где еще недавно был вход в ущелье. Но история его дальнейших злоключений для меня потеряна. Знаю только о его недоброй смерти через несколько лет. Жалким скитальцем пошел он прочь от места обвала. Ручей, некогда проложивший в скалах то ущелье, теперь выбивается из жерла горной пещеры, а предание, порожденное скупым, бессвязным рассказом пришельца, выросло в легенду о слепом народе где-то «там за горами», которую можно услышать и сегодня.

А среди малочисленного населения отрезанной с тех пор и забытой долины болезнь шла своим ходом. Старики, полуослепшие, двигались ощупью, молодые видели смутно, дети же, рождавшиеся у них, не видели вовсе. Но жизнь была легка в этой отгороженной снегами, потерянной для остального мира котловине, где не было ни шипов, ни колючек, ни вредных насекомых и не было других животных, кроме смирных лам, которых жители привели с собой, перегнали через крутые перевалы, протащили по руслам зажатых ущельями рек. Зрение меркло так постепенно, что люди едва замечали его утрату. Незрячих детей водили туда и сюда по долине, пока они не ознакомятся с ней в совершенстве, и когда зрение среди них угасло окончательно, люди все же продолжали жить. Они успели даже приспособиться в слепоте к употреблению огня, который старательно разводился в каменных очагах. Поначалу это было первобытное племя, не знавшее грамоты, лишь слегка затронутое испанской культурой, но сохранившее притом некоторые традиции искусства и ремесел древнего Перу да кое-что от его ныне утраченной философии. Поколение сменялось поколением. Они многое забыли, многое изобрели. Предание о широком мире, откуда они пришли, приобрело для них туманную окраску мифа. Во всем, кроме зрения, они были сильными, способными людьми, и волей случая и наследственности среди них родился человек, обладавший самобытным умом и даром убеждения, а за этим и еще один. Оба оставили по себе след. Маленькая община росла численно и духовно, разрешая встававшие перед нею по мере ее роста социальные и экономические задачи. Поколение сменялось поколением, поколение поколением. Настал час, когда в пятнадцатом поколении родился на свет младенец, явившийся прямым потомком того человека, который ушел из долины со слитком серебра искать помощи у бога и не вернулся. И тут случилось, что явился в общину человек из внешнего мира. Об этом-то человеке и пойдет рассказ.

Он был уроженец горной страны по соседству с Квито, человек, ходивший в море и повидавший свет, по-

своему начитанный, ловкий, предприимчивый. Группа англичан, приехавшая в Эквадор лазать по горам, взяла его взамен одного из трех своих проводников-швейцарцев, который заболел. Он лазал с ними повсюду, но при попытке взойти на Параскотопетл — Маттергорн Анд — исчез и считался погибшим. Этот случай описывался уже не раз. Лучше всех излагает его Пойнтер. Он рассказывает, как их небольшая партия одолела тяжелый, почти вертикальный подъем до подножия последней, самой неприступной кручи; как они на ночь собрали шалаш в снегу на узкой площадке уступа, и дальше с подлинно драматической силой передает, как вскоре они обнаружили, что Нуньеса нет. Они кричали, но ответа не было; кричали и свистели и больше не спали в ту ночь.

Когда рассвело, они увидели следы его падения. Наверное, он и вскрикнуть не успел. Он сорвался с восточного, неисследованного, склона горы. С большой высоты он свалился на крутой снежный откос и пробороздил по нему колею, катясь со снежным обвалом. Борозда вела прямо к краю стремнины, а там все уже терялось в бездне. Далеко-далеко внизу виднелись сквозь туман деревья, росшие в узкой, зажатой между гор долине — утерянной Стране слепых. Но путешественники не могли знать, что то была утерянная для людей Страна слепых, не могли отличить ее от любой узкой горной долины. Потрясенные несчастьем, они не решились в тот день завершить восхождение, а после Пойнтер был призван на войну, так и не успев повторить попытку. До сего дня Параскотопетл вздымает свой непокоренный гребень и шалаш Пойнтера, никем не навещаемый, ветшает в снегах.

А упавший остался жив.

От края склона он пролетел вниз тысячу футов и в снежном облаке упал на снежный склон, еще более крутой, чем верхний. Он кубарем катился вниз по этому склону, оглушенный и без чувств, но ни одна кость в его теле не была повреждена. Дальше пошли более отлогие склоны, и по ним он скатился до самого конца и лежал, погребенный в мягких белых сугробах, сорвавшихся с ним вме-

сте и спасших его. Когда он очнулся, у него было смутное ощущение, будто он лежит больной в кровати; потом с сообразительностью горца он осознал свое положение и начал разгребать снег вокруг себя. Он отдыхал и опять принимался за работу, пока не увидел звезды. Лежа навзничь, он спрашивал себя, где он и что с ним случилось. Он ощупал себя всего и обнаружил, что на одежде у него не хватает многих пуговиц, а куртка завернулась ему на голову. В кармане не оказалось ножа, и шапка пропала, хотя была завязана под подбородком. Он вспомнил, что пошел поискать камней, чтобы поднять повыше стены шалаша. Его топорик исчез.

Он понял, что упал, и, подняв глаза, проследил головокружительный путь своего падения, показавшийся еще страшнее в призрачном свете восходящего месяца. Какое-то время он тупо глядел на белесый вздымавшийся перед ним утес, что с каждой минутой вырастал все выше из отступающей, как морской отлив, темноты. Очарованный фантастической, таинственной красотой зрелища, он лежал притихший. Потом забился в припадке рыданий и смеха.

Прошло немало времени, когда он увидел, что лежит у нижней границы снегов. Пробежав взглядом по отлогому откосу, залитому лунным светом, он различил как будто темную, усеянную валунами луговину. Превозмогая боль во всех суставах, он принудил себя встать на ноги; пробился кое-как сквозь сугробы рыхлого снега и долго потом спускался вниз, пока не вышел на ту луговину. Здесь он лег, или скорей упал, у валуна, жадно глотнул из фляги, сохранившейся во внутреннем кармане, и сразу заснул.

Его разбудило пение птиц на деревьях далеко внизу.

Он привстал и увидел, что находится на небольшом пригорке у подножия высоченной кручи, прорезанной ложбиной, по которой он скатился сюда в своем сугробе. Напротив уходила в небо другая такая же стена. Ущелье между обеими кручами тянулось на запад и восток и было залито утренним светом, который озарил на западе громаду рухнувшей горы, закрывшей вход в ущелье. Внизу под

ногами открывалась пропасть, но в ложбине, пониже границы снегов, Нуньес нашел тесную расселину, где по стенам струилась вода. Что ж, нужно отважиться! Спуск оказался легче, чем можно было ожидать, и вывел на другой одинокий пригорок; а дальше, за скалистым кряжем, начинался поросший лесом склон. Нуньес осмотрелся и решил пойти вверх по ущелью, так как увидел, что там оно расширяется, переходя в зеленую луговину, посреди которой он теперь ясно различал скопление каменных хибарок необычного вида. Местами приходилось ползти по обрыву на четвереньках. Через некоторое время восходившее солнце перестало бить в ущелье, птичий щебет умолк, и воздух вокруг стал холоден и темен. Зато далекая луговина со своими домиками становилась все светлей. Он взобрался на утес и заметил среди скал — так как был наблюдателен — папоротник невиданной породы, который как бы протягивал из щелей цепкие ярко-зеленые руки. Он сорвал несколько листьев, пожевал их черешки и решил, что они съедобны.

К полудню он выбрался наконец из ущелья на луговину и солнечный свет. Тело одеревенело от усталости. Он сел в тени утеса, наполнил флягу водой из родника, выпил все до капли и лег отдохнуть, перед тем как двинуться дальше, к домам.

Вид у них был странный, да и вся долина, чем дольше он на нее смотрел, тем она ему казалась удивительней. Большую часть ее занимал сочный, зеленый луг, точно звездами, усыпанный красивыми цветами и обводненный с редкой заботливостью; покосы, видимо, производились здесь планомерно по участкам. Вверху долину огораживали стена и что-то очень похожее на окружной оросительный канал, от которого по лугу разбегались питающие растительность ручейки, а за каналом, выше по склонам, щипали скудную траву стада лам. Здесь и там к стене лепились навесы, как видно, служившие кровом или же местом кормежки для тех же лам. Оросительные ручьи стекались к главному каналу в середине долины, обнесенному с обеих сторон оградой по пояс вышиной, что прида-

вало глухому поселку странно городской вид, и это впечатление еще усиливалось оттого, что во все концы в строгом порядке расходилось множество мощенных черным и белым камнем дорожек, и вдоль каждой дорожки тянулась еще какая-то забавная закраина. Дома в деревне не жались в кучу, как в знакомых ему горных деревнях, — они выстроились двумя сплошными рядами по обеим сторонам центральной улицы, на диво чистой; тут и там их пестрые фасады прорезала дверь, но не видно было ни одного окна. Фасады были пестры какой-то беспорядочной пестротой — обмазаны цементом, где серым, где бурым, где аспидно-черным или исчерна-коричневым. Эта нелепая обмазка и вызвала у Нуньеса впервые мысль о слепоте. «Ну и наляпал человек! — подумал он. — Верно, был слеп, как летучая мышь».

Он спустился по круче и подошел к стене и каналу, окружавшим долину, к тому месту, где канал каскадом тонких колеблющихся струй выбрасывал избыток воды в глубину ущелья. Теперь Нуньес видел в дальнем конце луговины много мужчин и женщин, которые сидели на стогах скошенной травы, как будто отдыхая; поближе к деревне — ватагу валявшихся на земле детей, а еще ближе, совсем неподалеку, — трех мужчин, несших на коромыслах ведра по дорожке, что тянулась от окружной стены к домам. На всех троих была одежда из шерсти ламы, кожаные башмаки и пояса, а на головах — суконные шапки с длинными наушниками. Они шли гуськом, медленным шагом и позевывая на ходу, точно не спали всю ночь. Их осанка была так степенна и такой у них был успокоительно-благополучный и благопристойный вид, что Нуньес после минутного колебания выпрямился на своем уступе во весь рост, стал на самом видном месте и крикнул что есть силы. Эхо раскатилось по долине.

Трое остановились и завертели головами, как будто озираясь. Они поворачивали лица то в одну, то в другую сторону, а Нуньес махал во всю мочь руками. Но сколько он ни махал, те как будто не видели его и лишь какое-то время спустя двинулись к горам, забирая правее, чем нужно, и что-то крикнули словно бы в ответ. Нуньес опять закричал, потом еще раз, вновь замахал руками — все так же безуспешно, и тут вторично слово «слепой» всплыло в его сознании. «Дурачье! Слепые они, что ли?» — подумал он.

Когда наконец накричавшись и позлившись вдосталь, Нуньес пересек по мостику канал, отыскал в стене калитку и подошел к ним, он убедился, что они и в самом деле слепы. Он решил, что попал в Страну слепых, о которой рассказывает предание. Эта уверенность возникла у него вместе с предчувствием небывалого и завидного приключения. Трое стояли бок о бок, не глядя на него, и настороженно прислушивались к незнакомым шагам. Они жались друг к другу, словно боялись чего-то, и Нуньес увидел, что веки у них опущены и запали, как если бы глазные яблоки под ними ссохлись. Что-то сродное с благоговейным страхом проступило на их лицах.

— Человек, — сказал один на языке, в котором Нуньес едва узнал испанский. — Это человек — человек или дух, вышедший из скал.

А Нуньес подходил уверенным шагом юноши, вступающего в жизнь. Старые сказания о затерянной долине и Стране слепых всплывали в памяти, и в мысли вплеталась припевом старая пословица: «В Стране слепых и кривой — король».

Очень учтиво он поздоровался со слепцами. Он с ними говорил, а сам глядел в оба.

— Откуда он, брат Педро? — спросил один.

— Вышел из скал.

— Я пришел из-за гор, — сказал Нуньес, — из страны за горами, где люди — зрячие. Из окрестностей Боготы — города, где живут сто тысяч человек и который тянется так далеко, что глазу не видно — докуда.

«Не видно, — повторил про себя Педро. — Глазу не видно...»

— Из скал, — подхватил второй слепец. — Он вышел из скал.

Их одежда, примечал Нуньес, была странного покроя, и у каждого сшита по-своему.

Они напугали его, двинувшись разом навстречу, каждый с вытянутой вперед рукой. Он отпрянул на шаг от этих наведенных на него растопыренных пальцев.

— Поди сюда, — сказал третий слепец, подступив к нему также на шаг, и мягко обхватил его.

Слепцы держали Нуньеса. Ни слова не добавив, они принялись его ощупывать.

— Осторожно! — крикнул он, когда ему ткнули пальцем в глаз. И убедился, что глаз с трепещущими веками кажется им странным. Они ощупали его глаза вторично.

— Странное создание, Корреа, — сказал тот, кого звали Педро. — Какой у него жесткий волос! Как у ламы.

— Шершав, как скалы, породившие его, — сказал Корреа, ощупывая небритый подбородок Нуньеса мягкой, чуть влажной рукой. — Может быть, потом он станет глаже.

Нуньес слегка противился обследованию, но слепые цепко держали его.

— Осторожно! — повторил он.

— Говорит, — сказал третий. — Это, конечно, человек.

— Ух! — крикнул Педро, ощупывая его жесткую куртку.

— Итак, ты пришел в мир? — спросил Педро.

— Пришел из мира. Из-за гор и ледников; прямо из-за тех вершин, что на полдороге к солнцу. Из большого, большого мира, который простерся на двенадцать дней пути, до самого моря.

Они как будто и не слушали его.

— Наши отцы говорили нам, что человек может быть сотворен силами природы, — сказал Корреа, — теплом, влагой и гниением, да, гниением.

— Отведем-ка его к старейшинам, — предложил Педро.

— Сперва покричим, — сказал Корреа, — чтобы нам не напугать детей. Ведь это — чудище.

Они стали кричать, а Педро пошел впереди и взял Нуньеса за руку, чтобы повести его к домам. Нуньес отдернул руку.

— Я же зрячий, — сказал он.

— Зрячий? — переспросил Корреа.

— Да, зрячий, — повторил Нуньес, обернувшись к нему, и споткнулся о ведро Педро.

— Его чувства еще несовершенны, — сказал третий слепец. — Он спотыкается и говорит бессмысленные слова. Веди его за руку.

— Как хотите, — сказал Нуньес и, усмехнувшись, дал себя вести.

Как видно, они ничего не знают о зрении. Ладно, придет время, он им покажет, что это за штука!

Послышались возгласы, и он увидел толпу, собравшуюся на главной улице.

Эта первая встреча с населением Страны слепых обернулась для него тяжелым испытанием нервов и терпения — куда более тяжелым, чем он ожидал. Деревня была больше, чем казалась ему издалека, а штукатурка домов выглядела еще несуразней. Дети, мужчины и женщины (он с удовольствием отметил, что иные женщины и девушки были хороши собой, хотя глаза и у них были закрыты и вдавлены) обступили его толпой, хватали, ощупывали мягкими ладонями, обнюхивали, вслушивались в каждое слово. Все же многие девушки и дети пугливо сторонились его. Да и в самом деле голос его был резок и груб по сравнению с певучими голосами слепцов. Его совсем затолкали. Три его проводника с видом собственников не отступали от него ни на шаг и беспрестанно повторяли:

— Дикий человек со скал.

— Богота, — сказал он. — Богота. За горным хребтом.

— Дикий человек говорит дикие слова, — пояснил Педро. — Вы когда-нибудь слышали такое слово — «богота»? Его ум еще не сложился. Речь у него только в зачатке.

Маленький мальчик ущипнул его за руку.

— Богота, — передразнил он.

— Да. Город, не то что ваша деревня... Я пришел из большого мира, где у людей есть глаза, где люди видят.

— Его имя — Богота, — решили слепцы.

— Он спотыкается, — сказал Корреа. — Когда мы шли сюда, он два раза споткнулся.

— Отведем его к старейшинам.

Его вдруг втолкнули через дверь в комнату, где было темным-темно и только в дальнем углу слабо тлел огонь. Толпа ввалилась за ним, закрыв последний доступ дневному свету, и Нуньес с разлету грохнулся прямо на вытянутые ноги сидящего человека. Еще кого-то его вскинутая рука, когда он падал, задела по лицу. Он ощутил под ладонью что-то мягкое, услышал сердитый окрик и с минуту отбивался от множества схвативших его рук. Получилась какая-то односторонняя драка. Он понял свое положение и затих.

— Я упал, — сказал он. — У вас тут не видно ни зги.

Наступило молчание, как будто невидимые люди вокруг старались понять его слова. Потом послышался голос Корреа:

— Он лишь недавно сотворен, он спотыкается при ходьбе и пересыпает свою речь бессмысленными словами.

Другие тоже что-то о нем говорили, но он не мог все как следует расслышать и понять.

— Можно мне сесть? — спросил он, воспользовавшись минутным молчанием. — Я больше не буду отбиваться.

Они посовещались и позволили ему сесть.

Чей-то старческий голос стал допрашивать его, и Нуньес попробовал рассказать о большом мире, откуда он упал к ним, о небе, о горах, о зрении и других подобных чудесах — рассказать о них этим старейшинам, сидевшим во мраке в Стране слепых. Но что он им ни говорил, они ничему не верили и ничего не понимали. Этого он не ожидал. Они даже не понимали иных его слов. На веку четырнадцати поколений эти люди были слепы и отрезаны от зрячего мира. Все слова, относившиеся к зрению, стерлись для них или изменили смысл; стерлись предания о внешнем мире, превратившись в детскую сказку, и больше их не тревожило, что там делается, за скалистыми кручами, над их окружной стеной. Появлялись среди них слепые мудрецы, пересматривали обрывки верований и преданий, донесенных ими от зрячего прошлого, и признали это все праздными домыслами и заменили их новыми, более трезвыми толкованиями. Многое в их образных представлениях отмерло вместе с глазами, и они составили себе новые представления, подсказанные все истончавшимися слухом и осязанием. Нуньес постепенно это понял; ожидание, что слепцы в изумлении склонятся перед его происхождением и дарованиями, не оправдалось; и когда его жалкая попытка объяснить им, что такое зрение, была отвергнута, сочтена за бессвязный бред вновь сотворенного человека, старающегося описать свои неясные ощущения, он сдался и, подавленный, слушал их назидания. И вот старейший среди слепых стал раскрывать ему тайны жизни, философии и веры. Он говорил, что мир (то есть их долина) был сначала пустой ямой в скалах, а потом возникли сперва неодушевленные предметы, лишенные дара осязания, и ламы, и еще другие существа, у которых очень мало разума; затем появились люди и, наконец, ангелы, которых можно слышать, когда они поют и шелестят над головами, но которых коснуться нельзя. Последнее сильно озадачило Нуньеса, пока он не сообразил, что речь идет о птицах.

Дальше он поведал Нуньесу, как время разделилось на жаркое и холодное (у слепых это значило день и ночь), и объяснил, что в жаркое время положено спать, а работать надо, пока холодно. И что сейчас весь город слепых не спит только по случаю его, Нуньеса, появления. Он сказал, что Нуньес, несомненно, для того и создан, чтобы учиться приобретенной ими мудрости и служить ей, и что, несмотря на недоразвитость своего ума и неловкость движений, он должен мужаться и упорствовать в учении, — и эти слова все столпившиеся у входа встретили одобрительным ропотом. Потом он сказал, что ночь (слепые день называли ночью) давно наступила и всем надлежит вернуться ко сну. Он спросил, умеет ли Нуньес спать, и Нуньес ответил, что умеет, но что перед сном он должен поесть.

Ему принесли пищу — кружку молока ламы и ломоть грубого хлеба с солью — и отвели его в укромное место, где бы он мог поесть неслышно для других и потом соснуть до той поры, когда прохлада горного вечера поднимет всех для их нового дня. Но Нуньес не спал.

Вместо этого он сидел, где его оставили, и, вытянув усталые ноги, перебирал в памяти все неожиданности, сопровождавшие его приход в долину. Он нет-нет, а рассмеется то добродушно, то негодующе.

— «Ум еще не сложился», — повторял он. — «Не развиты чувства!» Им и в голову не приходит, что они оскорбили своего ниспосланного свыше короля и властителя. Вижу, придется мне их образумить. Только нужно подумать... Подумать!

Солнце склонилось к закату, а он все еще раздумывал.

Нуньес всегда умел почувствовать красоту, и когда он смотрел на охваченные заревом снежные склоны и ледники, замыкавшие со всех сторон долину, ему казалось, что ничего прекраснее он никогда не видел. От зрелища этой недоступной красоты он перевел взгляд на деревню и орошенные поля, утопавшие в сумраке, и вдруг им овладело волнение, и он от всего сердца стал благодарить судьбу, что она наделила его даром зрения.

— Го-го! Сюда, Богота, сюда! — услышал он голос из деревни.

Он встал, ухмыляясь. Сейчас он раз навсегда покажет этим людям, что значит для человека зрение. Они его станут искать и не найдут.

— Что же ты не идешь, Богота! — сказал голос.

Он беззвучно засмеялся и, крадучись, сделал два шага вбок от дорожки.

— Не топчи траву, Богота: этого делать нельзя.

Нуньес сам еле слышал шорох своих шагов. Он остановился в изумлении.

Человек, чей голос его кликал, бежал по черно-пегой мощеной дорожке прямо на него.

Нуньес опять вступил на дорожку.

— Вот я, — сказал он.

— Почему ты не шел на зов? — спросил слепец. — Что, тебя надо водить, как младенца? Ты разве не слышишь дороги, когда идешь?

Нуньес засмеялся.

— Я вижу ее, — сказал он.

— Нет такого слова «вижу», — сказал слепой, помолчав. — Брось свой вздор и ступай за мной на звук шагов.

Нуньес, досадуя, пошел за ним.

— Придет и мое время, — сказал он.

— Ты научишься, — ответил слепой. — В мире многому надо учиться.

— А ты слыхал поговорку: «В Стране слепых и кривой — король»?

— Что значит слепой? — небрежно бросил через плечо слепец.

Прошло четыре дня, и пятый застал короля слепых все еще скрывающимся среди своих подданных в обличье неуклюжего, никчемного чужака.

Провозгласить себя королем, увидел он, куда труднее, чем он предполагал, и пока что, обдумывая свой coup d'etat*, он делал, что ему приказывали, и учился порядкам и обычаям Страны слепых. Он нашел, что работать и гулять по ночам очень неудобно, и решил, что это он изменит в первую очередь.

Народ слепцов вел простую, трудовую жизнь, добродетельную и счастливую, если видеть добродетели и счастье в том, что обычно разумеют люди под этими словами. Они трудились, но не слишком обременяя себя работой; у них было вдоволь и пищи и одежды; были дни и месяцы отдыха; они охотно занимались музыкой и пением; познали любовь и рождали детей.

Удивительно, как уверенно и точно двигались они в своем упорядоченном мире. Все было здесь приспособлено к их нуждам, каждая из дорожек, расходившихся лучами по долине, шла под определенным углом к остальным и распознавалась по особой нарезке на закраине. Все препятствия, все неровности на дорожках и лугах были давно удалены, все навыки и весь уклад слепых, естественно, возникали из тех или иных потребностей. Чувства их чудесно изощрились, за пятнадцать шагов они улавливали и различали малейшее движение человека, даже слышали биение его сердца. Интонация давно заменила для них вы-

* государственный переворот *(фр.)*.

ражение лица, касание заменило жест. Мотыгой, лопатой и граблями они работали свободно и уверенно, как заправские садовники. Их обоняние было чрезвычайно тонко; они по-собачьи, чутьем распознавали индивидуальные различия; уверенно и ловко справлялись с уходом за ламами, которые жили в скалах наверху и доверчиво подходили к ограде, чтобы получить корм или укрыться под кровом. Но как легки и свободны могут быть движения слепого, это Нуньес узнал лишь тогда, когда вздумал наконец утвердить свою волю.

Он поднял мятеж только после бесплодных попыток действовать убеждением.

Сперва он пробовал от случая к случаю заговаривать с ними о зрении.

— Смотрите, люди, — говорил он. — Многое во мне вам непонятно.

Случалось иногда, двое-трое из них слушали его: сидели с умным видом, наклонив голову и наставив ухо, а он всячески старался объяснить им, что значит «видеть». Среди слушавших его была девушка с менее красными и запавшими веками, чем у других. Так и чудилось, что у нее за веками прячутся глаза, и ее-то в особенности надеялся он убедить. Он говорил о радостях зрения, о том, как прекрасны, когда на них глядишь, горы и небо, и утренняя заря, а те слушали с недоверчивой усмешкой, переходившей тотчас же в осуждение. Ему отвечали, что нет никаких гор, а у конца скал, где ламы щиплют траву, лежит конец мира: туда упирается дырявая крыша мироздания, с которой падают роса и лавины. Когда же он упорно твердил, что у мира нет ни конца, ни крыши, что конец и крыша — лишь выдумка слепых, ему отвечали, что мысли его порочны. Насколько он умел описать им небо с облаками и звездами, оно представлялось им нелепой и страшной пустотой. Как могла она заменить ту гладкую крышу мироздания, о которой говорила их религия! Они свято верили, что эта дырявая крыша восхитительно гладка на ощупь. Он понял, что его объяснения оскорбляют их, и, отказавшись от такого подхода, попробовал показать им практическую ценность зрения.

Как-то утром он увидел, что Педро по дороге, называвшейся Семнадцатой, направляется к центральным домам, увидел издалека, когда слепые еще не могли услышать или учуять идущего, и сказал им: «Скоро Педро будет здесь». Один старик возразил, что Педро нечего делать на Семнадцатой дороге, и тут, как бы в подтверждение его слов, Педро свернул на Десятую и торопливо зашагал обратно к окружной стене. А Нуньеса подняли на смех, когда Педро так и не пришел, и после, когда он, желая оправдаться, насел на Педро с расспросами, тот все отрицал, смеясь над ним в лицо, и с тех пор они стали врагами.

Потом он уговорил их, чтобы ему позволили пройти лугами весь долгий путь по отлогому склону до самой стены и чтоб его сопровождал один из них, а он станет описывать ему все, что делается в деревне промеж домов. Он видел, как кое-кто входил и выходил, но то, что они полагали значительным, происходило внутри или позади безоконных домов деревни — все то, что они сами приметили для проверки, — а этого он как раз не видел и не смог описать им. И вот, когда он потерпел поражение, а те не удержались и высмеяли его, он и решил обратиться к силе. Ему пришло на ум схватить лопату, повалить двух-трех из них на землю и в честной борьбе доказать им превосходство зрячего. Следуя своему решению, он уже схватил лопату, и тут он узнал о себе нечто для него самого неожиданное: что он просто не может хладнокровно ударить слепого.

Он остановился в нерешительности и понял: от слепых не укрылось, что он схватил лопату. Они все настороженно склонили головы набок и, наставив ухо, ждали, что он сделает дальше.

— Положи лопату, — сказал один.

И Нуньеса охватило чувство беспомощности и отвращения. Он едва не послушался.

Тогда он отшвырнул одного прямо к стене дома и стремглав бросился мимо него вон из деревни.

Он пересек луг, оставив за собою полосу примятой травы, и присел на закраину одной из бесчисленных дорожек. Он ощущал некоторый душевный подъем, как каждый в

начале борьбы, но больше смущение. Он начал сознавать, что с людьми более низкого духовного уровня, нежели ты сам, даже и бороться успешно нельзя. Он увидел издали, что по всей улице мужчины выходят из домов, вооруженные лопатами и кольями, и движутся на него широким строем по нескольким дорожкам сразу. Подвигались они медленно, переговариваясь между собой, и много раз весь отряд вдруг останавливался, слепые поводили носами и прислушивались. Когда Нуньес увидел это в первый раз, он рассмеялся. Но потом ему стало не до смеха.

Один слепец учуял его след на сырой траве и пошел по нему, нагибаясь и на ощупь проверяя дорогу.

Минут пять Нуньес следил за медленным продвижением отряда; затем его поначалу смутное желание что-то выкинуть и показать себя перешло в исступление. Он вскочил, сделал несколько шагов к окружной стене, повернулся и прошел немного назад. Те выстроились в полукруг и замерли, прислушиваясь.

Он тоже остановился, крепко сжав лопату в обеих руках. Не напасть ли на них?

Кровь стучала у него в ушах, отбивая ритм припева: «В Стране слепых и кривой — король».

Напасть на них?

Он оглянулся на высокую неприступную стену позади — неприступную из-за гладкой штукатурки, но всюду прорезанную множеством калиток — и на приближающуюся цепь преследователей. Им на подмогу из деревни выходили теперь и другие.

— Напасть?

— Богота! — крикнул один. — Богота! Где ты?

Он еще крепче сжал лопату и пошел лугами назад к деревне, а слепые, едва он сделал шаг, тотчас двинулись на него.

— Я изобью их, если они меня тронут, — сказал он. — Видит бог, изобью!

И он громко закричал:

— Эй вы, я буду делать у вас в долине все, что захочу! Слышите? Буду делать что хочу и ходить куда хочу!

Они быстро надвигались на него — ощупью, но все же очень быстро. Это было похоже на игру в жмурки, только навыворот: глаза завязаны у всех, кроме одного.

— Держи его! — крикнул кто-то.

Нуньес увидел, что уже охвачен дугой широкого незамкнутого круга преследователей. «Пора! — вдруг почувствовал он. — Нужно действовать решительно и быстро».

— Вы не понимаете! — крикнул он громким голосом, который должен был звучать сильно и властно, а прозвучал надорванно. — Вы слепые, а я зрячий. Оставьте меня!

— Богота! Положи лопату! И не ходи по траве.

Последний приказ, чудовищный в своей вежливой снисходительности, его взорвал.

— Я вас изувечу! — взревел он, захлебываясь от бешенства. — Видит бог, я изувечу вас! Оставьте меня!

Он побежал, толком не зная, куда бежать. Сперва он побежал от ближайшего к нему слепого, потому что мерзко было бы его ударить. Потом приостановился, сделал рывок, чтоб уйти от их рядов, смыкавшихся все тесней. Метнулся было в промежуток пошире, но двое слепых, сразу учуяв приближение его шагов, устремились друг к другу. Нуньес кинулся вперед, увидел, что сейчас его схватят, и... стукнул лопатой. Послышался глухой звук удара по руке и плечу, человек упал, завопив от боли, — он пробился.

Пробился! Теперь он был опять возле домов, а слепые, размахивая лопатами и кольями, носились взад и вперед с какой-то рассудительной стремительностью. Он услышал за собой шаги, услышал как раз вовремя, чтобы увидеть высокого детину, вынесшегося вперед и метившего в него на слух. Он растерялся, швырнул в противника лопатой, промахнулся на целый ярд, завертелся вьюном и побежал прочь, с воплем шарахнувшись от другого слепца.

Ужас охватил его. В исступлении он кидался туда и сюда, увертывался, когда в том не было нужды, и, торопясь смотреть сразу во все стороны, спотыкался. Была секунда, когда он, споткнувшись, растянулся на земле, и они слышали его падение. Далеко впереди в окружной стене виднелась открытая калитка; это было как просвет в небо.

Он кинулся к ней стремглав. Он даже не оглянулся ни разу на преследователей, пока не достиг той калитки. Шатаясь, он прошел по мосту, вскарабкался вверх по скалам, к изумлению и ужасу молодой ламы, которая тотчас ускакала от него, и лег, задыхаясь, наземь. Так окончился его coup d'etat.

Два дня и две ночи он провел за стеной Долины слепых, без пищи и крова и размышляя о полученном им неожиданном уроке. В ходе своих размышлений он не раз со все более горькой иронией повторял неоправдавшуюся пословицу: «В Стране слепых и кривой — король». Он думал больше всего о том, как ему одолеть и покорить народ слепцов, и все ясней понимал, что это для него неосуществимо. У него нет оружия, а добыть его теперь будет очень трудно.

Яд цивилизации проник даже в его родную Боготу, и, отравленный им, Нуньес не мог заставить себя пойти и убить слепого. Конечно, сделай он это, он потом диктовал бы свои условия, грозя народу слепцов поголовным истреблением. Но нельзя же человеку не спать, и рано или поздно, когда он уснет...

Он пробовал также искать пищу там, среди сосен, укрываться под сосновыми ветвями от ночного холода и подумывал, как бы изловчиться и поймать ламу, чтобы затем как-нибудь убить ее — пришибить, что ли, камнем — и получить таким образом хоть мясо. Но ламы, видно, заподозрили в нем врага, глядели на него недоверчивыми карими глазами и плевались, когда он подходил поближе. На третий день у него началась лихорадка, и страх обуял его. В конце концов он приполз к стене Страны слепых с намерением заключить мир. Он полз вдоль канала и звал, пока к воротам не вышли двое слепых. Он вступил с ними в переговоры.

— Я был безумен, — сказал он, — но я только недавно создан.

Это им понравилось.

Он сказал, что стал теперь умнее и раскаивается в своих проступках.

И тут неожиданно для себя он расплакался, потому что был слаб и болен, но они это сочли за добрый знак.

Его спросили, считает ли он по-прежнему, что умеет «видеть».

— Нет, — сказал он. — То было безумие. Это слово ничего не значит, меньше чем ничего.

Его спросили, что у нас над головой.

— На высоте десятью десяти человеческих ростов над миром простирается крыша... каменная крыша, гладкая-прегладкая...

Он опять истерически разрыдался.

— Не спрашивайте больше ни о чем, дайте мне сперва поесть, или я умру.

Он ожидал жестокого наказания, но слепые умели проявить терпимость. Они усмотрели в его мятеже лишь новое доказательство того, что он слабоумный и стоит на низшей ступени развития. Его просто выпороли и велели ему исполнять самую тяжелую черную работу, какая только нашлась, и он, не видя, как иначе заработать свой хлеб, покорно делал, что ему приказывали.

Несколько дней он был болен, и они заботливо ухаживали за ним. Это облегчило ему тяжесть подчинения. Но его заставляли лежать в темноте, что было для него большим лишением. Слепые философы приходили к нему, толковали о низком уровне его развития и так вразумительно укоряли за его сомнения в каменной крышке, закрывающей коробку их вселенной, что он сам едва не стал считать себя жертвой наваждения, не видя над собою этой крышки.

Так Нуньес сделался гражданином Страны слепых. Жители ее уже не сливались для него в однородную массу, а приобрели в его глазах свои индивидуальные особенности, между тем как мир за горами становился все более далеким, нереальным. Здесь, в новой жизни, был его хозяин Якоб — добродушный человек, если его не раздражать. Был племянник Якоба — Педро; и была Медина-Саротэ, младшая дочь Якоба. Ее не слишком ценили в мире слепых, потому что у нее были точеные черты лица и ей не-

доставало той приятной шелковистой гладкости, которая составляет для слепого идеал женской красоты. Но Нуньес с самого начала находил ее красивой, а теперь считал красивейшим созданием на земле. Ее сомкнутые веки не были вдавлены и красны, как у остальных в долине, — казалось, они могут в любое мгновение вновь подняться; и у нее были длинные ресницы, что считалось здесь уродливым. Голос ее, густой и звучный, не удовлетворял взыскательному слуху жителей долины. Вот почему у нее не было жениха.

Наступила пора, когда Нуньес стал думать, что, получи он ее в жены, он безропотно остался бы в долине до конца своих дней.

Он наблюдал за ней, искал случая оказать ей небольшую услугу; и вот он заметил, что и она тянется к нему. Как-то на праздничном собрании они сидели рядом при слабом свете звезд и слушали тихую музыку. Он коснулся ее пальцев и осмелился их пожать. Она тихонько ответила на пожатие. А однажды, когда они обедали в темноте, он почувствовал, что ее рука осторожно ищет его руку, и тут как раз огонь вспыхнул ярче, и он увидел выражение нежности на ее лице.

Он стал искать беседы с нею.

Однажды в лунную летнюю ночь он пришел к ней, когда она сидела и пряла. В серебряном свете она сама казалась серебристой и загадочной. Он сел у ее ног и сказал, что любит ее, и говорил, какой она ему кажется красивой. У него был голос влюбленного, он звучал с нежной почтительностью, почти благоговейно, а она никогда до той поры не знала мужского поклонения. Она не дала ему определенного ответа, но было ясно, что его слова ей приятны.

С того часа он заговаривал с нею при каждой возможности. Долина стала для него миром, а мир за горами, где люди жили в свете солнца, казался ему теперь волшебной сказкой, которую он когда-нибудь станет нашептывать ей на ухо. Очень робко и осторожно он пробовал заводить с ней разговор о зрении.

Зрение представлялось ей поэтическим вымыслом, и она виновато слушала описания звезд и гор и своей собственной нежной, лунно-белой красоты, как будто слушать это было преступным попустительством. Она не верила, понимая лишь наполовину, но испытывала непонятную радость, а ему казалось, что она все понимает и верит всему.

Его любовь стала менее благоговейной и более смелой. Он решил просить девушку в жены у Якоба и старейшин, но она робела и оттягивала, пока одна из ее старших сестер не опередила их и сама не сообщила Якобу, что Медина-Саротэ и Нуньес любят друг друга. Мысль о женитьбе Нуньеса на Медине-Саротэ вызвала сначала сильные возражения: не потому, чтобы девушку очень ценили, а просто потому, что Нуньеса считали существом особого рода — кретином, недоразвитым человеком, стоящим ниже допустимого уровня. Сестры злобно воспротивились, говорили, что девушка навлекает позор на всю семью. А старый Якоб, хотя и был по-своему расположен к неуклюжему, послушному рабу, только покачивал головой и твердил, что это невозможно. Всю молодежь приводила в ярость мысль о порче расы, а один парень так разошелся, что грубо обругал Нуньеса и ударил его. Нуньес не остался в долгу. В первый раз за долгие дни ему довелось убедиться, что зрение и в сумерках может дать преимущество. После этой драки больше ни у кого не было охоты поднимать на него руку. Но брак все еще признавали немыслимым.

Старый Якоб питал нежность к своей младшей дочери и печалился, когда она плакала у него на плече.

— Пойми, моя родная, он же идиот. Он бредит наяву; он ничего не умеет делать толком.

— Знаю, — плакала Медина-Саротэ. — Но он сейчас лучше, чем был. Он становится все лучше. И он силен, дорогой мой отец, и добр, сильней и добрей всех людей в мире. И он меня любит... и я, отец, я тоже его люблю.

Старый Якоб был в отчаянии, видя, что дочь безутешна, да к тому же — и это еще отягчало его горе — Нуньес

был ему по душе. И вот он пошел и сел в темном, без окон, зале совета среди других старейшин, следя за ходом обсуждения, и вовремя ввернул:

— Он теперь лучше, чем был; может случиться, что в один прекрасный день он станет таким же разумным, как мы.

Потом некоторое время спустя одного премудрого старейшину осенила мысль. Среди своего народа он слыл большим ученым, врачевателем и обладал философским, изобретательным умом. И вот у него явилась соблазнительная мысль излечить Нуньеса от его странностей. Однажды в присутствии Якоба он опять перевел разговор на Нуньеса.

— Я обследовал Боготу, — сказал он, — и теперь дело стало для меня ясней. Я думаю, он излечим.

— Я всегда на это надеялся, — ответил старый Якоб.

— У него поврежден мозг, — изрек слепой врач.

Среди старейшин пронесся ропот одобрения.

— Но спрашивается: чем поврежден?

Старый Якоб тяжело вздохнул.

— А вот чем, — продолжал врач, отвечая на собственный вопрос. — Те странные придатки, которые называются глазами и предназначены создавать на лице приятную легкую впадину, у Боготы поражены болезнью, что и вызывает осложнение в мозгу. Они у него сильно увеличены, обросли густыми ресницами, веки на них дергаются, и от этого мозг у него постоянно раздражен, и мысли неспособны сосредоточиться.

— Вот что? — удивился старый Якоб. — Вот оно как...

— Думается, я с полным основанием могу утверждать, что для его полного излечения требуется произвести совсем простую хирургическую операцию, а именно удалить эти раздражающие тельца.

— И тогда он выздоровеет?

— Тогда он совершенно выздоровеет и станет примерным гражданином.

— Да будет благословенна наука! — воскликнул старый Якоб и тотчас же пошел поделиться с Нуньесом своей счастливой надеждой.

Но его поразило, как нерадостно принял Нуньес его добрую весть.

— Как послушаешь тебя, покажется, что ты вовсе и не думаешь о моей дочери!

Обратиться к слепым хирургам Нуньеса убедила Медина-Саротэ.

— А ты? Ведь ты не хочешь, — спросил он, — чтобы я утратил зрение?

Она покачала головой.

— Зрение — мой мир!

Ее голова поникла.

— Есть красивые вещи на свете, маленькие красивые вещи: цветы, лишайники среди скал, мягонькая пушистая шкурка, далекое небо с плывущими в нем облаками, и закаты, и звезды. И есть на свете ты! Ради тебя одной стоит иметь зрение, чтобы видеть твое милое, ясное лицо, твои ласковые губы, твои дорогие, красивые руки, сложенные на коленях... И моих глаз, которые ты покорила, моих глаз, которые привязали меня к тебе, моих глаз требуют эти идиоты! Чтобы я касался тебя и слышал — и не видел больше никогда! Чтобы я пошел под вашу крышу из камня, утесов и мрака — эту жалкую крышу, которая придавила вашу мысль... Нет, ведь ты не захочешь, чтоб я согласился на это?!

В нем зашевелилось обидное сомнение. Он замолчал, не настаивая на ответе.

— Иногда, — начала она, — иногда мне хочется... — Она замолчала.

— Да?! — сказал он с тревогой.

— Иногда мне хочется, чтобы ты не говорил таких вещей.

— Каких?

— Я понимаю, что они красивы, эти твои фантазии. Я люблю их. Но теперь...

Он похолодел.

— Что же теперь? — тихо спросил он.

Она молчала.

— Ты хочешь сказать... ты думаешь, что я, может быть, стану лучше, если...

Он быстро взвесил все. В нем кипела злоба — да, злоба на глупую судьбу, но вместе с тем зашевелилось ласковое чувство к девушке, которой не дано его понять, — чувство сродни жалости.

— Дорогая, — прошептал он. И ее внезапная бледность показала ему, как сильно, всей душой рвалась она к тому, чего не смела высказать. Он обнял ее, поцеловал в краешек уха, и минуту они сидели молча.

— Что, если бы я согласился? — сказал он тихо-тихо.

— О, если б ты согласился! — твердила она сквозь слезы. — Если б согласился!

За неделю до операции, которая должна была поднять его из рабства и унижения до уровня слепого гражданина, Нуньес совсем лишился сна. В теплые солнечные часы, когда другие мирно спали, он сидел в раздумье или бесцельно бродил по лугам, стараясь вернуть ясность своему смятенному уму и сделать выбор. Он дал свой ответ, дал согласие, но в душе еще не решился. И вот миновала рабочая пора, солнце поднялось во славе своей над золотыми гребнями гор, и начался для Нуньеса последний день света. Он пробыл несколько минут с Мединой-Саротэ, перед тем как она ушла спать.

— Завтра, — сказал он, — я больше не буду видеть.

— Милый, — ответила она и крепко, как могла, сжала его руки.

— Тебе будет только чуть-чуть больно, — сказала она. — И ты пройдешь через эту боль... ты пройдешь через нее, любимый, ради меня... Дорогой, если сердце женщины, вся ее жизнь могут служить наградой, я вознагражу тебя. Мой дорогой, мой добрый с ласковым голосом, я вознагражу тебя.

Жалость к себе и к ней захлестнула его.

Он обнял ее, припал губами к губам и в последний раз заглянул в ее тихое лицо.

— Прощай, — шепнул он дорогому своему видению, — прощай.

И затем в молчании отвернулся от нее.

Она слышала его медленно удаляющиеся шаги, и было что-то в их ритме, что заставило ее безудержно разрыдаться.

Он собирался просто пойти в уединенное место, на усыпанный белыми нарциссами луг, и побыть там, пока не настанет час его жертвы, но поднял глаза и увидел утро — утро, подобное ангелу в золотых доспехах, сходящему к нему по кручам.

И показалось ему, что перед этим величием он сам, и этот слепой мир в долине, и его любовь — все, все только мерзость и грех.

Он не свернул в сторону, как собирался, а пошел вперед за окружную стену, в горы, и глаза его были все время прикованы к залитому солнцем льду и снегам.

Он видел их бесконечную красоту, и мысли его перенеслись к той жизни, от которой теперь он должен был навеки отказаться.

Он думал о большом свободном мире, с которым был разлучен, о родном своем мире, и перед ним вставало видение все новых горных склонов, даль за далью, и среди них Богота, город многообразной, живой красоты, днем — блеск и величие, ночью — озаренная тайна; город дворцов, фонтанов, статуй и белых домов, красиво расположившийся в самом сердце далей. Он думал о том, как в какие-нибудь два-три дня можно дойти до него горными ущельями, с каждым шагом подходя все ближе к его оживленным улицам и проспектам. Он думал о том, как долго можно идти по реке, от большого города Боготы в большой, огромный мир, через города и села, через леса и пустыни; идти день за днем по быстрой реке, пока берега не расступятся и не поплывут, поднимая волну, большие пароходы; и тогда ты достигнешь моря — бескрайнего моря с тысячью островов — нет, с тысячами островов и смутно видимыми вдали кораблями, что ходят и ходят без устали по широкому свету. И там, не замкнутое горами, ты увидишь небо — небо, не такое, как здесь, не диск, а купол бездонной синевы, глубь глубин, в которой плывут по круговым своим орбитам звезды.

Все зорче всматривались его глаза в каменную завесу гор.

Если, к примеру, подняться по этой ложбине, а потом вот по той расселине, то выйдешь высоко между тех корявых сосенок, что разбежались там по уступам скал, забираясь все выше и выше над ущельем. А потом? Пожалуй, можно влезть на ту осыпь. Затем как-нибудь вскарабкаться по каменной стене до границы снегов, а если та расселина непроходима, ему послужит, может быть, другая, дальше к востоку. А потом? Потом выйдешь в горящие янтарем снега, на полпути к гребню тех прекрасных пустынных высот.

Он взглянул через плечо на деревню, потом повернулся и долго пристально смотрел на нее.

Он думал о Медине-Саротэ, и она теперь была маленькой и далекой.

Он опять повернулся к стене гор, по которым сошел к нему день. Потом очень осмотрительно начал карабкаться.

Когда солнце склонилось к закату, он больше не карабкался: он был далеко и очень высоко. Побывал он и выше, но и теперь он еще был куда как высоко. Его одежда была изодрана, руки в крови, тело все в синяках, но он лежал покойно, и на его лице была улыбка.

Оттуда, где он лежал, долина казалась ямой, зияющей чуть не на милю внизу. Вечер уже стелил туман и тени, хотя вершины гор окрест были свет и огонь, а скалы рядом с ним в каждой своей частице напоены были тонкой красотой: прожилка зеленой руды бежала по серым камням; вспыхивали тут и там грани кристаллов; мелкий оранжевый лишайник вил тонкий узор вокруг его лица. Ущелье наводнили глубокие таинственные тени; синева сгустилась в темный пурпур, пурпур — в светящийся мрак, а наверху распростерлась безграничная ширь неба. Но он больше не смотрел на эту красоту, он лежал недвижный, улыбаясь, как будто удовлетворенный уже тем одним, что вырвался из Долины слепых, где думал стать королем.

Закат отгорел, настала ночь, а он все лежал, примиренный и довольный, под холодными светлыми звездами.

ИСТОРИЯ ПОКОЙНОГО МИСТЕРА ЭЛВЕШЕМА

Я пишу эту историю, не рассчитывая, что мне поверят. Мое единственное желание — спасти следующую жертву, если это возможно. Мое несчастье, быть может, послужит кому-нибудь на пользу. Я знаю, что мое положение безнадежно, и теперь в какой-то мере готов встретить свою судьбу.

Зовут меня Эдвард Джордж Иден. Я родился в Трентеме в Стаффордшире, где отец занимался садоводством. Мать умерла, когда мне было три года, а отец — когда мне было пять. Мой дядя Джордж Иден усыновил меня и воспитал, как родного сына. Он был человек одинокий, самоучка, и его знали в Бирмингеме как предприимчивого журналиста. Он дал мне превосходное образование и всегда разжигал во мне желание добиться успеха в обществе. Четыре года назад он умер, оставив мне все свое состояние, что после оплаты счетов составило пятьсот фунтов стерлингов. Мне было тогда восемнадцать лет. В своем завещании дядя советовал мне потратить деньги на завершение образования. Я уже избрал специальность врача и благодаря посмертному великодушию дяди и моим собственным успехам в конкурсе на стипендию стал студентом медицинского факультета Лондонского университета. В то время, когда начинается моя история, я жил в доме № 11-а по Университетской улице, в убогой комнатке верхнего этажа с окнами на задний двор. В ней вечно был сквозняк. Это была моя единственная комната, потому что я старался экономить каждый шиллинг.

Я нес в мастерскую на Тоттенхем-Корт-роуд башмаки в починку и тут впервые встретил старичка с желтым лицом. С этим-то человеком и сплелась так тесно моя жизнь. Когда я выходил из дому, он стоял у тротуара и в нерешительности разглядывал номер над дверью. Его глаза — тускло-серые, с красноватыми веками — остановились на мне, и тотчас же на его сморщенном лице появилось любезное выражение.

— Вы вышли вовремя, — сказал он. — Я забыл номер вашего дома. Здравствуйте, мистер Иден!

Меня несколько удивило такое обращение, потому что я никогда прежде и в глаза не видел этого человека, к тому же я чувствовал себя неловко, потому что под мышкой у меня были старые ботинки. Он заметил, что я не очень-то обрадован.

— Думаете, что это за черт такой, а? Я ваш друг, уверяю вас. Я видел вас прежде, хотя вы никогда не видели меня. Где бы нам поговорить?

Я колебался. Мне не хотелось, чтобы незнакомый человек заметил все убожество моей комнаты.

— Может быть, пройдемся по улице? — сказал я. — К сожалению, я сейчас не могу... — И я пояснил жестом.

— Что ж, хорошо, — согласился он, оглядываясь по сторонам. — По улице? Куда же мы пойдем?

Я сунул ботинки за дверь.

— Послушайте, — отрывисто проговорил старичок, — это дело, в сущности, моя фантазия; давайте позавтракаем где-нибудь вместе, мистер Иден. Я человек старый, очень старый и не умею кратко излагать свои мысли, к тому же голос у меня слабый, и шум уличного движения...

Уговаривая меня, он положил мне на плечо худую, слегка дрожавшую руку.

Я был молод, и пожилой человек имел право угостить меня завтраком, но в то же время это неожиданное приглашение нисколько меня не обрадовало.

— Я предпочел бы... — начал я.

— Но мы сделаем то, что предпочел бы я, — перебил старик и взял меня под руку. — Мои седины ведь заслуживают некоторого уважения.

Мне пришлось согласиться и пойти с ним.

Он повел меня в ресторан Блавитского. Я шел медленно, приноравливаясь к его шагам. Во время завтрака, самого вкусного в моей жизни, мой спутник не отвечал на вопросы, но я мог лучше разглядеть его. У него было чисто выбритое, худое, морщинистое лицо, сморщенные губы, за которыми виднелись два ряда вставных зубов, седые волосы были редкие и довольно длинные. Мне казалось, что он маленького роста — впрочем, мне почти все люди казались маленькими. Он сильно сутулился. Наблюдая за ним, я не мог не заметить, что он тоже изучает меня. Глаза его, в которых мелькало какое-то странное, жадное внимание, перебегали с моих широких плеч на загорелые руки и затем на мое веснушчатое лицо.

— А сейчас, — сказал он, когда мы закурили, — я изложу вам свое дело. Должен вам сказать, что я человек старый, очень старый. — Он помолчал. — Случилось так, что у меня есть деньги, и теперь мне придется кому-то завещать их, но у меня нет детей, и мне некому оставить наследство.

У меня мелькнула мысль, что старик, изображая откровенность, хочет сыграть со мной какую-то шутку, и я решил быть настороже, чтобы мои пятьсот фунтов не уплыли от меня.

Старик продолжал распространяться о своем одиночестве и жаловался, что ему трудно найти достойного наследника.

— Я взвешивал разные варианты, — сказал он. — Думал завещать деньги приютам, благотворительным учреждениям, библиотекам, назначить стипендии и, наконец, принял решение. — Глаза его остановились на моем лице. — Я решил найти молодого человека, честолюбивого, честного, бедного, здорового телом и духом, и, короче говоря, сделать его своим наследником, дать ему все, что имею. — Он повторил: — Дать ему все, что имею. Так, чтобы он внезапно избавился от всех своих забот и мог бороться за успех в той области, какую он сам себе изберет, располагая свободой и независимостью.

Я старался сделать вид, что совершенно не заинтересован, и, явно лицемеря, проговорил:

— Вы хотите моего совета, может быть, моих профессиональных услуг, чтобы найти такого человека?

Мой собеседник улыбнулся и взглянул на меня сквозь дым папиросы, а я рассмеялся, видя, что он, не говоря ни слова, разоблачил мою притворную скромность.

— Какую блестящую карьеру мог бы сделать этот человек! — воскликнул старик. — Я с завистью думаю, что вот я накопил такое богатство, а тратить его будет другой... Но я, конечно, поставлю условия; моему наследнику придется принести кое-какие жертвы. Например, он должен принять мое имя. Нельзя же получить все и ничего не дать взамен. Прежде чем оставить ему свое состояние, я должен узнать все подробности его жизни. Он обязательно должен быть здоровым человеком. Я должен знать его наследственность, как умерли его родители, а также его бабушки и деды, я должен иметь точное представление о его нравственности...

Я уже мысленно поздравлял себя, но эти слова несколько умерили мою радость...

— Правильно ли я понял, — начал я, — что именно я...

— Да, — раздраженно перебил он, — вы, вы!

Я не ответил ни слова. Мое воображение разыгралось, и даже врожденный скептицизм не в силах был его унять. В душе у меня не было ни тени благодарности, я не знал, что сказать и как сказать.

— Но почему вы выбрали именно меня? — наконец выговорил я.

Он объяснил, что слышал обо мне от профессора Хазлера, который отзывался обо мне как о человеке исключительно здоровом и здравомыслящем, а старик хотел оставить свое состояние тому, в ком, насколько это возможно, сочетаются идеальное здоровье и душевная чистота.

Такова была моя первая встреча со старичком. Он держал в тайне все, что касалось его самого. Он заявил, что пока не желает называть своего имени, и, после того как я ответил на кое-какие его вопросы, расстался со мной в вестибюле ресторана Блавитского. Я заметил, что, расплачиваясь за завтрак, он вытащил целую горсть золотых монет. Мне показалось странным, что он так настойчиво требует, чтобы его наследник был физически здоров.

Мы договорились, что я в тот же день подам в местную страховую компанию заявление с просьбой застраховать

мою жизнь на очень крупную сумму. Врачи этой компании мучили меня целую неделю и подвергли всестороннему медицинскому обследованию. Однако и это не удовлетворило старика, и он потребовал, чтобы меня осмотрел еще знаменитый доктор Хендерсон. Только в пятницу перед Троицей старик наконец принял решение. Он пришел ко мне довольно поздно вечером — было около девяти часов — и оторвал меня от зубрежки химических формул. Я готовился к экзамену. Он стоял в передней под тусклой газовой лампой, бросавшей на его лицо причудливые тени. Мне показалось, что он еще больше сгорбился и щеки его впали.

От волнения у него дрожал голос.

— Я удовлетворен, мистер Иден, — начал он, — вполне, вполне удовлетворен. В нынешний знаменательный вечер вы должны пообедать со мной и отпраздновать вашу удачу. — Приступ кашля прервал его. — Недолго придется вам дожидаться наследства, — проговорил он, вытирая губы платком и сжав мою руку своей длинной, худой рукой. — Вам, безусловно, не очень долго придется дожидаться.

Мы вышли на улицу и окликнули кеб. Я живо помню этот вечер: кеб, кативший быстро, ровно, контраст газовых ламп и электрического освещения, толпы на улицах, ресторан на Риджент-стрит, в который мы вошли, и роскошный обед. Сначала меня смущали взгляды, которые безукоризненно одетый официант бросал на мой простой костюм, затем я не знал, что делать с косточками маслин, но когда шампанское согрело кровь, я почувствовал себя непринужденно. Вначале старик говорил о себе. Еще в кебе он назвал себя. Это был Эгберт Элвешем, знаменитый философ, имя которого было мне известно еще на школьной скамье. Мне казалось невероятным, что человек, ум которого волновал меня, когда я был еще школьником, этот великий мыслитель вдруг оказался знакомым дряхлым старичком. Вероятно, всякий молодой человек, внезапно очутившись в обществе знаменитости, чувствует некоторое разочарование.

Теперь старик говорил о будущем, которое откроется передо мной, когда порвутся слабые нити, связывающие его с жизнью, говорил о своих домах, денежных вкладах, авторских гонорарах. Я и не предполагал, что философы могут быть так богаты. А он не без зависти смотрел, как я ем и пью.

— Сколько в вас жизненной силы! — сказал он и добавил со вздохом (мне показалось, что это был вздох облегчения): — Теперь недолго ждать!

— Да, — ответил я, чувствуя, что голова у меня кружится от шампанского, — может быть, у меня есть будущее, и благодаря вам ему можно позавидовать. Я буду теперь иметь честь носить ваше имя, зато у вас есть прошлое, такое прошлое, которое стоит моего будущего!

Он покачал головой и улыбнулся, приняв мое лестное восхищение как бы с некоторой грустью.

— Будущее! — повторил он. — А променяли бы вы его на мое прошлое?

К нам подошел официант с ликерами.

— Пожалуй, вы охотно примете мое имя, мое положение, — продолжал старик, — но согласились ли бы вы добровольно взять на себя мои годы?

— Вместе с вашими достоинствами, — любезно ответил я.

Он опять улыбнулся.

— Кюммель, две порции, — сказал мистер Элвешем официанту и занялся бумажным пакетиком, который достал из кармана.

— Это время дня, — произнес старик, — этот послеобеденный час — час, когда можно развлекаться пустяками. Вот маленький образчик моей мудрости. Это нигде не опубликовано.

Дрожащими желтыми пальцами он развернул пакетик: в нем был порошок розоватого цвета.

— Вот... — сказал старик. — Впрочем, сами догадайтесь, что это такое. Насыпьте порошку в рюмку, и кюммель превратится для вас в райский напиток.

Его глаза ловили мой взгляд, в их выражении было что-то загадочное.

Меня неприятно поразило, что этот великий ученый может заниматься приправами к напиткам, но я сделал вид, что очень заинтересован этой его слабостью, — я был достаточно пьян, чтобы подличать.

Мистер Элвешем всыпал половину порошка в свою рюмку, а половину — в мою. Затем вдруг поднялся и с подчеркнутым достоинством протянул мне руку. Я тоже протянул руку, и мы чокнулись.

— За скорое получение наследства, — сказал старик, поднося рюмку к губам.

— Нет, нет, — поспешно ответил я, — только не за это. Он остановился с рюмкой у рта и пристально заглянул мне в глаза.

— За долгую жизнь, — сказал я.

Он помедлил.

— За долгую жизнь! — с внезапным взрывом смеха отозвался он, и, глядя друг на друга, мы выпили ликер.

Пока я пил, старик продолжал смотреть мне прямо в глаза, а я испытывал какое-то удивительно странное чувство. С первого же глотка в голове началась страшная путаница. Мне казалось, что я физически ощущаю, как что-то шевелится в моем черепе, а уши наполнились невообразимым гулом. Я не чувствовал вкуса ликера, не замечал, как его ароматная сладость скользила мне в горло. Я видел только напряженный, жгучий взгляд серых глаз, устремленных на меня. Мне казалось, что страшное головокружение и грохот в ушах продолжались бесконечно долго. Где-то в глубине сознания мелькали и тотчас исчезали какие-то неясные воспоминания о полузабытых событиях.

Наконец старик прервал молчание. С внезапным вздохом облегчения он поставил рюмку на стол.

— Ну как? — спросил он.

— Чудесно, — ответил я, хотя и не почувствовал вкуса ликера.

Голова у меня кружилась. Я сел. В мыслях был хаос. Потом сознание прояснилось, но я видел все каким-то ис-

каженным, точно в вогнутом зеркале. Манеры моего компаньона изменились, они стали нервными и торопливыми. Он вытащил часы и с гримасой взглянул на них.

— Семь минут двенадцатого! — воскликнул он. — А сегодня я должен... одиннадцать двадцать пять... на вокзале Ватерлоо... Мне нужно идти.

Мистер Элвешем уплатил по счету и стал с трудом надевать пальто. На помощь нам пришли официанты. Еще минута, и он сидел в кебе, а я прощался с ним, все еще испытывая нелепое чувство: все вокруг стало маленьким и четким, точно я... как бы это объяснить? — точно я смотрел сквозь перевернутый бинокль.

Мистер Элвешем приложил руку ко лбу.

— Этот напиток... — сказал он. — Не надо было его вам давать! Завтра у вас голова будет раскалываться. Подождите, вот! — Он дал мне плоский конвертик, в каких обычно выдают порошки в аптеках. — Перед сном примите этот порошок. Тот, первый, был наркотик. Только запомните: примите его перед самым сном. Он проясняет голову. Вот и все. Дайте еще раз вашу руку, наследник.

Я сжал дрожавшую руку старика.

— До свидания, — сказал он, и по выражению его глаз я понял, что и на него подействовал этот напиток, свихнувший мне мозги.

Вдруг, вспомнив что-то, он принялся шарить в кармане пиджака и вытащил еще один пакет, на этот раз цилиндрической формы, по размерам и очертаниям напоминавший мыльную палочку для бритья.

— Вот, — сказал он, — чуть не забыл, возьмите, но не открывайте, пока я не приду к вам завтра.

Пакет был такой тяжелый, что я его едва не уронил.

— Ладно, — пробормотал я, а он улыбнулся мне, показав вставные зубы.

Кучер взмахнул кнутом над дремавшей лошадью.

Пакет, который дал мне Элвешем, был белый с красными печатями с обеих сторон и посередине.

«Если это не деньги, — подумал я, — то это — платина или свинец».

Я с величайшими предосторожностями засунул пакет в карман и, чувствуя по-прежнему сильное головокружение, пошел домой сквозь толпу гуляющих по Риджент-стрит, потом свернул в темные, задние улицы за Портленд-роуд. Я живо помню всю странность своих ощущений. Я настолько сохранил ясность мысли, что замечал свое необычайное психическое состояние и спрашивал себя, не подсыпал ли он мне опиума, с действием которого я практически был совершенно незнаком.

Мне очень трудно сейчас описать все особенности моего состояния; пожалуй, его можно было бы назвать раздвоением личности. Идя по Риджент-стрит, я не мог отделаться от странной мысли, что нахожусь на вокзале Ватерлоо, и мне даже хотелось взобраться на крыльцо Политехнического института, будто на подножку вагона. Я протер глаза и убедился, что нахожусь на Риджент-стрит. Как бы мне это объяснить? Вот вы видите искусного актера, он спокойно смотрит на вас; гримаса — и это совсем другой человек! Не найдете ли вы слишком невероятным, если я скажу, что мне казалось, будто Риджент-стрит вела себя в ту минуту так, как этот актер? Потом, когда я убедился, что это все же Риджент-стрит, меня стали сбивать с толку какие-то фантастические воспоминания. «Тридцать лет назад, — думал я, — я поссорился здесь с моим братом». Я тотчас расхохотался, к удивлению и удовольствию компании ночных бродяг. Тридцать лет назад меня еще не было на свете, и никогда у меня не было брата. Порошок, несомненно, лишал людей рассудка, потому что я продолжал глубоко сожалеть о своем погибшем брате. На Портленд-роуд мое безумие приняло несколько иной характер. Я стал вспоминать магазины, которые когда-то тут находились, и сравнивать улицу в ее нынешнем виде с той, какой она была раньше. Вполне понятно, что после ликера мои мысли стали путаными и тревожными, но я недоумевал, откуда явились эти удивительно живые фантасмагорические воспоминания; и не только те воспоминания, которые заползли мне в голову, но и те, которые от меня ускользали. Я остановился у магазина живой природы

Стивенса и стал напрягать память, чтобы вспомнить, какое отношение имел ко мне владелец этой лавки. Мимо прошел автобус — для меня он грохотал, как поезд. Мне казалось, что я далеко-далеко и погружаюсь в темную яму в поисках воспоминаний.

— Ах да, конечно, — сказал я себе. — Стивенс обещал дать мне завтра трех лягушек. Странно, что я об этом забыл.

Показывают ли сейчас детям туманные картины?

Я помню картины, на которых появлялся ландшафт, сначала как туманный призрак, потом он становился отчетливее, пока его не вытеснял другой. Вот так же, мне казалось, призрачные новые ощущения борются во мне со старыми, привычными.

Я шел по Юстон-роуд и Тоттенхем-Корт-роуд, встревоженный, немного испуганный и почти не замечая, что иду необычным путем, потому что обыкновенно пробирался через целую сеть боковых улиц и переулков. Я свернул на Университетскую улицу, и тут выяснилось, что я забыл номер своего дома. Только ценой страшного напряжения памяти я вспомнил № 11-а, но и то у меня было такое чувство, будто мне этот номер кто-то подсказал, но кто — я забыл. Я старался привести в порядок свои мысли, вспоминая подробности обеда, но никакими силами не мог представить себе лицо своего компаньона, — я видел только неясные очертания, как видишь отражение собственного лица в стекле, сквозь которое смотришь. Однако вместо мистера Элвешема я, как это ни странно, узнавал себя самого, сидящего за столом, румяного от вина, с блестящими глазами, болтливого.

«Надо будет принять второй порошок, — подумал я, — это становится невыносимым».

Я принялся искать свечу и спички в той части передней, где они никогда не лежали, а потом долго соображал, на какой площадке моя комната.

«Я пьян, — подумал я, — тут нет никакого сомнения».

И, как бы в подтверждение этого, я без всякой причины начал спотыкаться на каждой ступеньке лестницы.

На первый взгляд моя комната показалась мне незнакомой.

— Что за чепуха! — пробормотал я, оглядываясь вокруг. Усилием воли мне как будто удалось вернуть себе сознание действительности, и странная фантасмагория сменилась знакомыми предметами. Вот старое зеркало, за раму засунуты мои записки о свойствах белков. На полу валяется мой будничный костюм. Но все-таки все это было както нереально. У меня все время было дурацкое ощущение, будто я сижу в вагоне, поезд только что остановился на незнакомой станции и я выглядываю в окно. Я изо всех сил сжал спинку кровати, чтобы прийти в себя. «Может, это ясновидение, — подумал я, — надо будет написать в общество психиатров».

Я положил на туалетный столик пакет, который мне дал мистер Элвешем, сел на кровать и стал снимать ботинки. Чувство у меня было такое, будто картина моих ощущений наложена на другую картину и эта вторая картина все время старается проступить сквозь первую.

— К черту! — воскликнул я. — Что я, спятил или действительно нахожусь сразу в двух местах?

Наполовину раздевшись, я высыпал порошок мистера Элвешема в стакан. Вода зашипела и приняла флюоресцирующую янтарную окраску. Я выпил эту воду. Не успел я лечь, как мысли мои успокоились. Голова коснулась подушки, и я, по-видимому, сразу заснул.

Я проснулся внезапно от сна, в котором мне грезились какие-то странные животные. Я лежал на спине. Вероятно, всем знакомы эти гнетущие сновидения; проснувшись, человек избавляется от них, но они все же оставляют какое-то тягостное впечатление. Во рту у меня был странный вкус, во всех членах усталость, ощущение физического неудобства. Я лежал неподвижно, не поднимая головы от подушки, ожидая, что чувство отчужденности и ужаса развеется и тогда мне, может быть, удастся снова заснуть, но вместо этого оно только росло. Вначале я не замечал вокруг себя ничего необычного. Комната была освещена очень слабо, настолько слабо, что в ней было почти совсем

темно, и мебель проступала в виде совершенно темных пятен. Я пристально смотрел перед собой, насколько позволяло одеяло, натянутое до самых глаз. Мне пришло в голову, что кто-то забрался в комнату и украл мой пакет с деньгами. Но затем я полежал, ровно дыша, чтобы вновь вызвать сон, и понял, что это — только мое воображение. Тем не менее я беспокоился, я был уверен: что-то случилось. Я оторвал голову от подушки и всмотрелся в темноту. Сначала я не мог понять, в чем дело. Я вглядывался в окружавшие меня темные предметы, по большей или меньшей густоте мрака угадывал, где должны быть окна с задернутыми шторами, стол, камни, книжные полки и так далее. Потом что-то в окружавших меня темных вещах стало казаться мне необычным. Может быть, кровать повернута не так, как раньше. Там, где должны были быть книжные полки, туманно белело что-то, на них не похожее. Не могло это быть также и моей рубашкой, брошенной на стул: она была много меньше.

Преодолевая ребяческий страх, я сбросил одеяло и спустил ноги. Они не достали до полу, как бывало всегда, когда я садился на своей низкой кровати, а повисли, едва достигая края матраца. Я подвинулся и сел на самый край кровати. Рядом с ней на сломанном стуле должны были быть свеча и спички. Протянув руку и ничего не нащупав, я принялся шарить вокруг себя. Рука попала на какую-то тяжелую ткань, мягкую и плотную, которая зашуршала под пальцами. Я ухватился за нее и потянул. Оказалось, что это полог над изголовьем.

Теперь я окончательно проснулся и понял, что нахожусь в незнакомой комнате. Я был озадачен и постарался припомнить все, что случилось вечером. Как ни странно, оказалось, что я помню все совершенно ясно: обед, порошок, сначала один, потом другой, мои сомнения насчет того, пьян я или нет, медлительность, с которой я раздевался, прохладную подушку, которой я касался лицом. Вдруг я стал сомневаться: было ли это вчера или позавчера? Как бы то ни было, комната была чужой, и я не мог понять, как я в ней очутился.

Туманный, бледный предмет, который я видел раньше, становился все светлее, и теперь я понял, что это окно, а перед ним овальное зеркало, на которое падали слабые лучи света, проникавшие сквозь шторы.

Я встал, и меня поразило, что я чувствую такую слабость и неуверенность. Я медленно пошел к окну, протянув руки, но все-таки наткнулся по дороге на стул и ушиб колено. Обошел зеркало. Оно оказалось очень большим, с красивыми бронзовыми канделябрами по бокам. Я стал ощупью искать шнурок от шторы, не нашел его, но случайно схватил кисточку, и штора, щелкнув пружиной, поднялась.

Передо мной был абсолютно незнакомый вид. Небо было затянуто, и сквозь густую серую толщу облаков едва пробивались слабые лучи рассвета. На самом горизонте облака были окаймлены кроваво-красной полосой. Ниже все было темным и неясным. Вдали — холмы в дымке, туманная масса домов со шпилями, чернильные пятна деревьев, а под окном — кружево темных кустарников и бледно-серые дорожки. Все это было так чуждо, что на минуту я подумал: не сплю ли я еще? Я ощупал туалетный столик. Он был из полированного дерева, на нем стояли хрустальные флаконы и лежала головная щетка. На блюдечке лежал какой-то странный предмет, подковообразный на ощупь, с гладкими твердыми выступами. Я не мог найти ни свечи, ни спичек.

Снова я обвел глазами комнату. Теперь, при поднятых шторах, призрачные силуэты вещей выступали из темноты: огромная кровать с пологом и камин за нею, с большой белой полкой, поблескивавшей мрамором.

Прислонившись к туалетному столику, я закрыл глаза, потом снова открыл, стараясь сосредоточиться. Все вокруг было вполне реальным; это не было сновидением. Я готов был вообразить, что от выпитого вчера странного напитка в памяти у меня образовался какой-то пробел. Может быть, думал я, меня уже ввели во владение наследством, а я потом вдруг забыл обо всем и не помню, что случилось после того, как я узнал о своей удаче? Может быть, если я

подожду немножко, мои мысли прояснятся? Между тем воспоминания об обеде со стариком Элвешемом были необыкновенно живыми и свежими: шампанское, услужливые официанты, порошок, напиток... Я был готов дать голову на отсечение, что все это было лишь несколько часов назад!

Затем произошло нечто совершенно обыкновенное и вместе с тем столь ужасное, что я до сих пор содрогаюсь при одном воспоминании об этой минуте. Я заговорил вслух.

— Как же, черт возьми, я сюда попал? — сказал я.

Но голос был не мой!

Это был не мой голос, это был тонкий голос, артикуляция была неясной, и резонанс совсем не такой, как у меня. Чтобы успокоиться, я схватился одной рукой за другую — рука была костлявая, кожа старчески дряблая.

— Но ведь это же сон, — проговорил я ужасным голосом, который непонятно как поселился в моем горле, — ведь это сон!

Быстро, почти инстинктивно, я сунул в рот пальцы. Зубы мои исчезли. Пальцы нащупали мягкую поверхность сморщенных десен. У меня закружилась голова от ужаса и отвращения.

Я почувствовал безудержное желание увидеть свое лицо, сразу же убедиться в той страшной, кошмарной перемене, которая произошла со мной. Неверной походкой я пошел к камину за спичками и стал шарить на полке. В это время из моего горла вырвался лающий кашель, и я запахнул толстую фланелевую ночную рубашку, которая, как оказалось, была на мне надета. На камине спичек не было. Я вдруг почувствовал, что руки и ноги у меня окоченели от холода. Кашляя и шмыгая носом (возможно, что при этом я немножко и стонал), я заковылял к кровати.

— Ведь это же сон, — бормотал я, забираясь в постель, — сон!

Я сам чувствовал, что говорю это по старческой привычке повторять одно и то же.

Я натянул одеяло на плечи, на голову, засунул под подушку свои морщинистые руки и решил успокоиться и заснуть. Несомненно, все это только сон. Утром он развеется, и я проснусь сильным, энергичным, ко мне вернется молодость и жажда знаний. Я закрыл глаза, стал дышать равномерно и, убедившись, что сон не идет ко мне, принялся медленно вычислять степени числа три.

А то, чего я так жаждал, не приходило. Я не мог заснуть и все больше убеждался, что во мне действительно произошла страшная перемена. Потом я заметил, что лежу с широко открытыми глазами, забыв про свои вычисления, и ощупываю худыми пальцами беззубые десны. Я действительно внезапно и неожиданно превратился в старика. Каким-то необъяснимым путем я проскочил через всю свою жизнь до самой старости, каким-то образом у меня украли лучшую часть моей жизни, мою любовь, борьбу, силы и надежды. Я зарылся в подушку и старался убедить себя, что, может быть, все это галлюцинация.

Медленно, но неуклонно приближалось утро. Наконец отчаявшись заснуть, я сел на кровати и огляделся вокруг. Холодный рассвет проник через окно, и видна была вся комната. Она была просторна и хорошо обставлена — лучше, чем все другие комнаты, в которых мне раньше приходилось спать. На маленьком столике в нише виднелись свеча и спички. Я сбросил одеяло и, дрожа от сырости раннего летнего утра, встал и зажег свечу. Затем, дрожа так сильно, что гасильник для свечи подпрыгивал на своем шпиле, я, шатаясь, подошел к зеркалу и увидел... лицо Элвешема! Хотя в душе я уже этого ожидал, тем не менее впечатление было ужасным. Мистер Элвешем всегда казался мне физически слабым и жалким, но сейчас, когда он был одет только в грубую фланелевую ночную рубашку, которая распахнулась на груди и открыла тощую шею, сейчас, когда я сам стал Элвешемом, я не берусь описать, каким жалким и дряхлым он мне показался. Впалые щеки, растрепавшаяся прядь грязных седых волос, тусклые, слезящиеся глаза, дрожащие морщинистые губы. Вы, кому душой и телом столько лет, сколько вам и должно быть, не можете представить себе, что означало для меня это дьявольское заточение в чужом теле. Быть молодым, полным

желаний и сил и оказаться замурованным и раздавленным в этой трясущейся развалине!..

Но я отвлекся от своего рассказа. На некоторое время я, должно быть, совершенно потерял голову, когда убедился, что со мной произошло такое превращение. Было уже совсем светло, когда я настолько пришел в себя, что мог думать. Каким-то необъяснимым образом я изменился, хотя, как это могло случиться, если не волшебством, я не могу сказать. Теперь, когда я думал об этом, я понял, как дьявольски умен был Элвешем. Было ясно, что точно так же, как я оказался в его теле, он завладел моим телом, а следовательно, моей силой и моим будущим. Но как доказать это? Сейчас, когда я думал обо всем, это превращение казалось мне самому настолько невероятным, что голова моя пошла кругом, я должен был ущипнуть себя, ощупать свои беззубые десны, посмотреться в зеркало и потрогать окружавшие меня предметы, чтобы быть в состоянии здраво смотреть на совершившееся. Или вся наша жизнь лишь галлюцинация? Стал ли я в самом деле Элвешемом, а он мною? Может быть, я только во сне видел Идена? Был ли вообще на свете Иден? Но если бы я был Элвешемом, я должен был бы помнить, что я делал прошлым утром, как назывался город, в котором я жил, что происходило до того, как началось мое сновидение. Я боролся с этими вопросами. Мне вспомнилось странное раздвоение моих воспоминаний накануне вечером. Но теперь ум мой был ясен. Я не мог вызвать и тени каких-нибудь воспоминаний, не имевших отношения к Идену.

— Вот так сходят с ума! — воскликнул я визгливым голосом.

Я с трудом поднялся на ноги и потащил свое ослабевшее и отяжелевшее тело к умывальнику. Там я окунул седую голову в таз с холодной водой. Вытираясь полотенцем, я снова пытался думать о себе как об Элвешеме, но это было бесполезно. Не было никакого сомнения в том, что я Иден, а не Элвешем, но Иден в теле Элвешема.

Если бы я был человеком другого века, я, может быть, покорился бы судьбе, считая себя зачарованным. Но в

наше время скептицизма не очень-то верят в чудеса. Со мной проделали какой-то психологический трюк. То, что могли сделать порошок и пристальный взгляд, могут переделать другой порошок и другой пристальный взгляд или какое-нибудь средство в этом роде. И раньше случалось, что люди теряли память, но чтобы они могли меняться телами, как зонтиками!.. Я рассмеялся. Увы! Это был не прежний здоровый смех, а хриплое, старческое хихиканье. Я представил себе, как старик Элвешем смеется над моим положением, и меня обуял приступ необычной для меня ярости. Я начал быстро одеваться в ту одежду, которая валялась на полу, и только когда был уже совершенно одет, понял, что это была фрачная пара. Я открыл шкаф и нашел там одежду для каждого дня — клетчатые брюки и старомодный халат. Я надел на свою почтенную голову почтенную домашнюю шапочку и, слегка покашливая от всех этих усилий, вышел, ковыляя, на площадку лестницы.

Было приблизительно без четверти шесть, шторы были опущены, и дом погружен в тишину. Площадка была просторная, широкая, покрытая богатыми коврами, лестница вела вниз, в темный холл. Дверь напротив той, из которой я вышел, была приоткрыта, и я увидел письменный стол, вращающуюся книжную этажерку, спинку кресла у стола и полки с рядами томов в роскошных переплетах.

— Мой кабинет, — пробормотал я и пошел туда через площадку. При звуках моего голоса у меня мелькнула новая мысль, и, вернувшись в спальню, я надел вставные челюсти, которые легко сели на привычное место.

— Так-то лучше, — сказал я, пожевал челюстями и снова пошел в кабинет.

Ящики бюро были заперты. Откидной верх был тоже заперт. Ни в кабинете, ни в карманах брюк я не нашел никакого признака ключей. Тогда я снова поплелся в спальню и обследовал сначала карманы того костюма, который валялся на полу, а затем карманы всей одежды, какую я только мог найти. Я был в большом нетерпении, и если бы кто-нибудь вошел в комнату после того, как я закончил ее обследовать, он подумал бы, что в ней побывали грабите-

ли. Я не нашел ни ключей, ни единой монеты, ни клочка бумаги, кроме счета за вчерашний обед.

Меня внезапно охватила странная усталость. Я сел и уставился на разбросанные вокруг костюмы с вывороченными карманами. Бешенство мое улеглось. С каждой минутой я все яснее начинал понимать поразительную предусмотрительность моего противника, и все яснее становилась для меня безнадежность моего положения.

Я с усилием поднялся и снова поторопился вернуться в кабинет. На лестнице я увидел служанку, подымавшую шторы. По-видимому, выражение моего лица поразило ее, и она с удивлением посмотрела на меня. Я закрыл за собой дверь кабинета и, схватив кочергу, набросился на стол, пытаясь взломать ящики. Так меня и застали слуги. Стекло на столе было разбито, замок сломан, письма из ящичков бюро разбросаны по полу. В своем старческом бешенстве я раскидал перья и опрокинул чернильницу. Кроме того, большая ваза, стоявшая на камине, упала и разбилась, я сам не знаю как. Я не нашел ни денег, ни чековой книжки и никаких указаний, которые могли бы помочь мне вернуть мое тело в прежнем виде. Я отчаянно колотил по ящикам стола, когда в кабинет вторглись дворецкий и две служанки.

Такова без всяких прикрас история моего превращения. Никто не верит моим фантастическим уверениям. Со мной обращаются как с сумасшедшим и даже сейчас за мной присматривают. Между тем я человек нормальный, абсолютно нормальный, и, чтобы доказать это, я сел за письменный стол и записал очень подробно все, что со мной случилось. Я взываю к читателю. Пусть он скажет, есть ли в стиле или ходе изложения истории, которую он только что прочел, какие-нибудь признаки безумия. Я молодой человек, заключенный в тело старика, но никто не верит этому бесспорному факту. Естественно, я кажусь сумасшедшим тем, кто не верит мне; естественно, я не знаю, как зовут моих секретарей, не знаю навещающих меня врачей, своих слуг и соседей, не знаю названия города, в

котором очутился, и где он находится. Естественно, я не знаю расположения комнат в своем собственном доме и терплю множество неудобств всякого рода. Естественно, я задаю очень странные вопросы. Естественно, что иногда я плачу, кричу и у меня бывают приступы отчаяния. У меня нет ни денег, ни чековой книжки. Банк не признал бы моей подписи, потому что, я полагаю, у меня все еще почерк Идена, несколько изменившийся вследствие ослабления мускулов. Окружающие меня люди не позволят мне самому пойти в банк; да, кажется, в этом городе и нет банка, а мой текущий счет находится в каком-то районе Лондона. Кажется, Элвешем скрывал от всех домашних имя своего поверенного, но я ничего не знаю толком. Несомненно, Элвешем глубоко изучал психологию и психиатрию, и мои рассказы о себе только подтверждают предположение окружающих, что я сошел с ума от чрезмерного увлечения проблемами душевных расстройств. А еще говорят о тождестве личности!

Два дня назад я был здоровым юношей, перед которым была открыта вся жизнь, а теперь я озлобленный старик, неопрятный, несчастный, полный отчаяния. Я брожу по огромному роскошному чужому дому, а все вокруг следят за мной, боятся и избегают меня, как безумца. Между тем в Лондоне Элвешем начинает жизнь заново в здоровом молодом теле и с мудростью и знаниями, накопленными за семь десятков лет!

Он украл у меня жизнь!

Я не знаю точно, как это произошло.

В кабинете я нашел множество рукописных записей, относящихся главным образом к психологии памяти, кое-что зашифровано значками, совершенно непонятными для меня. Некоторые записи указывают на то, что Элвешем интересовался также философией математики.

Как мог произойти такой обмен, остается за пределами моего разумения. Всю свою сознательную жизнь я был материалистом, но здесь — ясный случай отделения духа от тела.

Я хочу испытать одно отчаянное средство. Сейчас я допишу свою историю, а потом прибегну к нему. Утром с помощью ножа, который я припрятал за завтраком, мне удалось взломать секретный ящик в бюро — заметить этот ящик было не очень трудно. Я не нашел там ничего, кроме маленького стеклянного флакончика зеленого цвета с белым порошком. На горлышке этикетка. На ней написано только одно слово: «Освобождение». Может быть, и вероятнее всего, это яд. Мне понятно, что Элвешем подсунул мне яд, я был бы даже уверен, что он хотел избавиться таким образом от единственного свидетеля, если бы флакончик не был так тщательно припрятан. Этот человек фактически разрешил проблему бессмертия. Если не произойдет какой-нибудь случайности, он будет жить в моем теле, пока оно не состарится, а затем сбросит его и отнимет молодость и силу у новой жертвы. Если вспомнить его бессердечие, страшно подумать, как он будет накапливать все больше опыта, который... Как давно он уже переходит из одного тела в другое?..

Но я устал писать. Порошок, оказывается, легко растворяется в воде. Вкус у него не неприятен.

Такова история, найденная на столе мистера Элвешема. Его мертвое тело лежало между письменным столом и креслом, последнее было резко отодвинуто в сторону, по-видимому, в предсмертных конвульсиях. История написана карандашом, размашистым почерком, совсем не похожим на обычный мелкий почерк Элвешема.

Остается добавить еще два любопытных факта: несомненно, между Иденом и Элвешемом была какая-то связь, поскольку все состояние Элвешема было завещано этому молодому человеку. Но он не получил наследства. В то время, когда Элвешем покончил с собой, Иден, как это ни странно, был уже мертв. Сутками раньше на людном перекрестке Хауэр-стонт и Юстон-роуд его сбил кеб, и он тотчас же скончался. Так что единственный человек, который мог бы пролить свет на эту фантастическую историю, ничего нам не скажет.

ПОД НОЖОМ

«Что, если я умру под ножом?»

Эта мысль преследовала меня, пока я шел домой от Хеддона. Вряд ли кто будет меня оплакивать. Судьба избавила меня от глубоких треволнений семейного человека, и среди моих близких друзей мало найдется таких, которых моя смерть огорчит, разве только потому, что им придется потерять даром время и отдать умершему последней долг. Факты представились мне лишенными ореола, в ясном и сухом освещении, пока я шел от дома Хеддона через Примроз Хилль.

Я вспомнил моих друзей молодости: я теперь понял, что наша взаимная привязанность была только традицией, которую мы старательно поддерживали. Были еще соперники и покровители в моей дальнейшей карьере. Я, вероятно, всегда был слишком холодным или замкнутым: одно обусловливает другое. Возможно, что даже способность к дружбе зависит от физической природы человека.

В моей жизни было время, когда я сильно горевал из-за потери друга; но сегодня, когда я шел домой, эмоциональная сторона моего сознания молчала. Я не мог ни жалеть самого себя, ни огорчаться из-за друзей, ни воображать их оплакивающими меня.

Меня заинтересовало это омертвение моей эмоциональной природы, которое, несомненно, было в связи с застоем в моей физиологической деятельности; и мои мысли начали блуждать в том направлении. Как-то раз, в пору пылкой юности, я испытал внезапную потерю крови и был на волоске от смерти. Я помню, что тогда мои привязанности и страсти будто вытекли из меня вместе с кровью, оставив за собой только равнодушную покорность судьбе, осадок жалости к самому себе. Несколько недель прошло, прежде чем во мне снова проснулись былые честолюбивые стремления, привязанности и вся сложная игра человеческой души. Мне пришло в голову, что причина этого отупения лежит в постепенном отрешении от радостей и стра-

даний, которыми управляет животное, живущее в человеке. Я считаю доказанным, насколько вообще что-либо может быть доказано, что высшие эмоции, нравственные чувства, даже утонченная нежность любви, развиваются из элементарных желаний и страхов животного: они представляют собою упряжь, в которую заключена духовная свобода человека. И возможно, что когда смерть бросает на нас свою тень и наша активность ослабевает, вместе с ней исчезает этот сложный механизм неустойчивых стремлений, склонностей и отвращений, взаимодействие которых определяет наши поступки. Что тогда остается?

Меня вдруг вернуло к действительности неминуемое столкновение с тележкой мясника. Я, оказывается, переходил мост через канал Риджент-парка, параллельный тому, который ведет в зоологический сад. Мальчишка в синей блузе глазел через плечо на черную баржу, которую медленно тащила сухопарая белая лошадь. У зоологического сада нянька переводила через мост трех веселых ребятишек.

Деревья ярко зеленели; весенние жизнерадостные краски еще не потускнели от летней пыли. В воде отражалось яркое голубое небо, которое пересекали длинные волны, дрожащие черные полосы от движения баржи. Дул свежий ветер; но он не оказал на меня обычного бодрящего действия.

Может быть, это отупение чувств объясняется предчувствием? Странно, что я мог рассуждать и распутывать сеть представлений с той же отчетливостью, как всегда, — по крайней мере, мне так казалось. Мое состояние скорее можно назвать спокойствием, чем отупением. Есть ли основание верить в предчувствие смерти? Может быть, человек, близкий к смерти, инстинктивно освобождается от сетей материи и чувств еще раньше, чем холодная рука дотронется до его руки? Я чувствовал себя странно отрешившимся от жизни и всего окружающего мира и не жалел об этом.

Дети, игравшие на солнце, набираясь сил и опыта для житейской борьбы, садовый сторож, болтавший с нянькой, мать со своим ребенком, молодая парочка, поглощенная друг другом, проходившая мимо меня, деревья у дороги, протягивавшие к солнцу новые жадные листочки, трепет, пробегавший по их ветвям, — я равнодушно смотрел на все, как будто был уже вне жизни.

Пройдя еще немного по широкой аллее, я почувствовал усталость и слабость в ногах. Было жарко; я свернул в сторону и сел на один из зеленых стульев, окаймлявших дорогу. Спустя минуту я задремал; мне казалось, что я умер, истлел, разложился, высох, и я видел, как птицы выклевали у меня один глаз. «Проснитесь!» — раздался громкий голос, и пыль на дороге и земля под травой внезапно зашевелились. Я раньше никогда не представлял себе, что Риджент-парк — кладбище, но теперь я увидел сквозь деревья огромное поле, которое я едва мог обнять взглядом, сплошь усеянное разверзающимися могилами и поднимающимися надгробными плитами. Происходило какое-то смятение; мертвые, выходившие из гробов, словно задыхались, силясь подняться: они обливались кровью от усилий, и красное мясо отрывалось от белых костей. «Проснитесь!» — крикнул голос, но я решил не вставать для таких ужасов. Но меня не хотели оставить в покое. «Довольно дрыхнуть!» — сказал сердитый голос. Какой невоспитанный ангел!.. Человек, продававший билеты на стулья, тряс меня за плечо, требуя с меня пенни.

Я заплатил пенни, сунул билет в карман, зевнул, расправил ноги и, чувствуя себя менее вялым, встал и направился к Ленгемской площади. Я снова скоро заблудился в запутанном лабиринте мыслей о смерти. Пересекая Мэрилебонскую дорогу, там, где она поднимается к Ленгемской площади, я едва увернулся от оглобли кеба и пошел дальше с бьющимся сердцем и ушибленным плечом. Как странно было бы, если бы мои размышления о завтрашней смерти привели меня к ней еще сегодня.

Но я не хочу вас больше утруждать рассказами о моих переживаниях в этот и следующий день. Во мне росла уверенность, что я умру от операции; но мне кажется, что я только рисовался перед собой.

Доктора должны были прийти в одиннадцать, и я не вставал. Мне казалось, что не стоит возиться с одеваньем и мытьем, и хотя я прочел газету и письма, полученные с утренней почтой, я не нашел их очень интересными. В числе их была дружеская записка от Аддисона, моего школьного товарища, обращавшая мое внимание на два противоречия и одну опечатку в моей новой книге, и письмо от Ленгриджа, изливавшего свое неудовольствие против Минтона. Я позавтракал в постели. Жгучая боль в боку усилилась. Я знал, что это боль, но она почему-то, — не знаю, поймете ли вы это, — не очень беспокоила меня. Я ночью мучился бессонницей, жаром и жаждой, но утром чувствовал себя уютно. Ночью я лежал, думая о прошлом; утром задремал над мыслями о бессмертии.

Хеддон пришел аккуратно, минута в минуту с изящным черным саквояжем: вскоре явился и Моубрей. Их появление несколько возбудило меня, я начал проявлять более сильный интерес к происходившему. Хеддон придвинул к постели маленький восьмиугольный столик и, повернувшись ко мне широкой черной спиной, стал вынимать из саквояжа инструменты. Я слышал легкий звон стали. Мое воображение, по-видимому, не совсем замерло.

— Вы мне сделаете очень больно? — спросил я равнодушным тоном.

— Нисколько, — ответил мне Хеддон через плечо. — Мы вас захлороформируем. Сердце у вас здоровое, как у быка.

При этих словах на меня пахнуло острой сладостью наркотика. Они уложили меня, придав удобное положение, на боку и, прежде чем я успел опомниться, начали хлороформировать. Вначале появляется щекотанье в ноздрях и ощущение удушья. Я знал, что я умру, что теперь наступает конец моему сознанию, и вдруг почувствовал себя не готовым к смерти; у меня появилось смутное сознание неисполненного долга, но я не знал, какого именно. Что я не успел сделать? Я не мог придумать, что мне еще осталось исполнить. Ничего заманчивого я не видел в жизни. Но все же у меня появилось странное нежелание смерти. И

физическое мучительно тягостное ощущение. Доктора, конечно, не подозревают, что они убьют меня.

Возможно, что я боролся. Затем я впал в неподвижность, и полное молчание и непроницаемая тьма окутали меня.

Должно быть, был промежуток полного отсутствия сознания в течение нескольких секунд или минут. Затем я с холодной, бесстрастной уверенностью понял, что я еще не умер. Я еще связан с моим телом; но все множество ощущений, исходящих из него и составляющих задний план сознания, исчезло и оставило меня свободным. Нет, не вполне свободным; что-то еще привязывало меня к жалкой плоти, распластанной на кровати, привязывало, но не настолько сильно, чтобы я не мог чувствовать себя вне ее, независимым от нее, стремящимся от нее уйти. Не думаю, что я действительно видел и слышал, но я ощущал все происходившее вокруг меня, как будто бы видел и слышал. Хеддон наклонился надо мной, а Моубрей стоял позади; скальпель, — это был большой скальпель, — резал мне мясо на боку под ложными ребрами. Интересно было наблюдать, как меня резали, будто сыр, и я не ощущал ни малейшей боли, никакого страха. Я чувствовал интерес, подобный тому, который испытывает человек, наблюдающий за шахматной игрой посторонних игроков.

Лицо Хеддона выражало уверенность, и в руке чувствовалась твердость; но я с удивлением заметил (не знаю, каким образом), что он серьезно сомневается в своей способности благополучно провести операцию.

Я читал также мысли Моубрея.

Он находил, что в приемах Хеддона слишком сильно проглядывает специалист. Новые идеи всплывали, как пузыри, в потоке тревожных мыслей и лопались одна за другой в маленькой светлой точке его сознания. Он не мог не восхищаться быстротой и ловкостью Хеддона, несмотря на свою завистливую натуру и склонность критиковать.

Я увидел свою обнаженную печень.

Меня сбивало с толку мое положение. Я не чувствовал себя умершим, но все-таки я чем-то отличался от своего

прежнего живого «я». Мрачное, подавленное состояние, которое тяготело надо мной больше года и окрашивало все мои мысли, исчезло. Я ощущал и думал безо всякой эмоциональной окраски. Меня интересовал вопрос, все ли захлороформированные так ощущают окружающее и забывают ли они это, когда прекращается действие наркоза? Ведь не совсем удобно было бы заглянуть в мысли некоторых людей и потом забыть об этом.

Хотя я не считал себя умершим, я все же ясно сознавал, что скоро умру. Это заставило меня снова вернуться к наблюдению за действиями Хеддона. Я заглянул в его сознание и увидел, что он боится перерезать разветвление моей портальной вены. Мое внимание было отвлечено от подробностей любопытными изменениями, происходившими у него в мозгу. Его сознание напоминало дрожащее пятнышко света, которое отбрасывает зеркало гальванометра. Его мысли текли под ним, как поток, некоторые, — ясные и отчетливые, — попадали в фокус, другие, — туманные, — оставались на краю, в полусвете. Сейчас этот маленький огонек сияет ровным светом; но малейшее движение Моубрея, чуть слышный звук извне, даже едва заметная перемена в медленном движении живого мяса под ножом заставляли светлое пятно мигать и кружиться. Новое чувственное впечатление ворвалось в поток мыслей, и светлое пятно метнулось к нему навстречу быстрее испуганной рыбки. Мне казалось странным, что от этого неустойчивого мерцающего пятнышка зависят все сложные движения человека, что, следовательно, в ближайшие пять минут моя жизнь во власти его колебаний.

Хеддон нервничал. Казалось, будто маленький образ перерезанной вены становится ярче и стремится вытеснить из его мозга образ другого разреза, не доходящего до намеченной цели. Он тревожился; страх не дорезать боролся в нем со страхом прорезать слишком глубоко.

Затем внезапно, словно поток воды, прорвавший плотину, на него нахлынуло кошмарное сознание совершившегося факта и закружило все его мысли, и я тут же заметил, что вена перерезана. Он откинулся назад с

хриплым возгласом, и я увидел, как коричневато-алая кровь выступила крупной каплей и начала быстро стекать вниз. Хеддон был в ужасе. Он бросил окровавленный скальпель на восьмиугольный столик, и оба врача тотчас же кинулись ко мне с суетливыми и неудачными попытками исправить несчастье. «Льду!» — крикнул Моубрей, задыхаясь. Но я знал, что я убит, хотя мое тело все еще цеплялось за меня.

Не буду описывать их запоздалые попытки спасти меня, хотя я и замечал каждую подробность. Мои восприятия стали острее и быстрее, чем когда-либо в жизни; мысли проносились в моем мозгу с невероятной быстротой, но с безукоризненной отчетливостью. Так бывает после приема умеренной дозы опиума.

Через минуту все будет кончено, и я буду свободен.

Затем я ощутил какое-то все увеличивающееся давление, такое чувство, будто огромный магнит тянет меня вверх из оболочки моего тела. Давление все усиливалось. Я чувствовал себя атомом, из-за которого боролись чудовищные силы. Сознание вернулось ко мне на одно краткое страшное мгновение. Ощущение стремительного падения, какое бывает в кошмарах, но только в тысячу раз интенсивнее, вместе с ужасом тьмы потоком пронеслось в моем сознании. Вслед за этим оба врача, обнаженное тело с прорезанным боком, маленькая комната начали уплывать подо мной и исчезли, как пена, унесенная течением.

Я реял в воздухе. Подо мной быстро исчезал лондонский Вест-Энд; я, по-видимому, быстро поднимался вверх, а он все подвигался на запад, как панорама. Я различал сквозь легкую пелену дыма бесчисленные трубы крыш, узкие улицы, загроможденные людьми и экипажами, маленькие пятна скверов и колокольни церквей, торчащие, как иглы, над зданиями. Но все это уплывало по мере вращения земли вокруг своей оси, и через несколько секунд (так мне показалось) я уже носился над разбросанными группами домов в окрестностях Илинга, причем маленькая Темза казалась голубой полоской на юге, а Чилтернские холмы вырисовывались в туманной дали, как края

чаши. Я поднимался вверх. Вначале у меня не было ни малейшего представления о том, что означает этот стремительный полет. Поле моего зрения расширялось с каждой минутой, а детали города и полей, холмов и долин становились все бледнее и туманнее, и блестящий сероватый оттенок все больше сливался с синевой холмов и зеленью открытых полей; небольшой клочок облака низко в небе сиял ослепительной белизной. По мере того, как слой воздуха между мной и пространством становился тоньше, небо надо мной, вначале нежно-голубого весеннего цвета, делалось глубже, принимало более яркую окраску, переходя постепенно через все промежуточные оттенки, пока наконец не потемнело, как в полночь; затем стало черным, как зимнее звездное небо, и в конце концов покрылось тьмой, никогда еще не виденной мною. Сначала одна звезда, затем несколько звезд и, наконец, бесчисленное множество их вспыхнули на небе.

Солнце было поразительно странное и волшебное. Оно имело форму диска ослепительно белого цвета; не желтоватого, как это кажется с земли, а мертвенно белого, с алыми полосками и бахромой извивающихся огненных языков. И, закрывая собой полнеба по обеим сторонам солнца, простирались два серебристо-белых крыла, более блестящих, чем Млечный Путь; они придавали ему сходство с крылатыми сферами, которые я видел на египетских скульптурах и больше нигде не встречал на Земле. Я сообразил, что это солнечная корона, хотя я в земной жизни видел ее только на рисунке.

Когда мое внимание снова обратилось на Землю, я увидел, что она ушла от меня далеко. Луга и города стали уже неразличимыми, и все разнообразные оттенки пейзажа слились в однообразный, блестящий серый тон, нарушаемый только ослепительной белизной облаков, разбросанных волокнистыми хлопьями над Ирландией и Западной Англией. Я видел теперь очертания Северной Франции и Ирландии и весь Великобританский остров, исключая Северную Шотландию, скрывающуюся за горизонтом, и те местности, где береговая линия затуманивалась или

затмевалась тучами. Море было тускло-серое, темнее земли; и вся панорама медленно поворачивалась к востоку.

Все это произошло так быстро, что, только поднявшись на тысячу миль над землей, я впервые подумал о себе. Теперь я убедился, что у меня нет ни рук, ни ног, никаких органов и что я не чувствую ни страха, ни боли. Я сознавал, что холод безвоздушного пространства, окружавшего меня (я оставил воздух за собой), превосходил человеческое воображение, но это не тревожило меня. Солнечные лучи пронизывали пустоту, бессильные осветить и согреть, пока не встретят на своем пути материю. А далеко внизу, стремительно удаляясь от меня (на бесчисленные мили в секунду), там, где маленькое темное пятно на сером фоне обозначало Лондон, — двое врачей старались вернуть жизнь жалкой, изрезанной и изношенной оболочке, которую я покинул. Я почувствовал такое освобождение, такой безмятежный покой, с которыми не сравнится ни одно из земных наслаждений, испытанных мною. По мере того, как я все быстрее и быстрее удалялся от странного белого Солнца на черном небе и от большой блестящей Земли, мне казалось, что я расширяюсь каким-то непонятным образом, расширяюсь по сравнению с тем миром, который я оставил, и сравнительно с моментами и периодами земной жизни.

Я вскоре увидел весь земной шар, слегка выпуклый, как луна при полнолунии; серебристые очертания Америки озарялись теперь полуденным солнцем, в лучах которого (как мне казалось) несколько минут тому назад грелась маленькая Англия, Сначала Земля казалась огромной и сияла, заслоняя значительную часть неба, но с каждой минутой она удалялась и уменьшалась. Когда она съежилась, круглая Луна в третьей четверти показалась над краем ее диска. Я стал разыскивать знакомые созвездия. Только часть Овна, как раз за Солнцем, и Лев, заслоненный Землей, не были видны. Я увидел извилистую разорванную ленту Млечного Пути и Вегу, ярко сиявшую между Солнцем и Землей; Сириус и Орион волшебно сверкали на фоне неприглядной тьмы противоположной части неба.

Полярная звезда находилась в зените, а Большая Медведица висела над земным шаром. Дальше, выше и ниже блестящей солнечной короны, сияли странные созвездия, которых я никогда в жизни не видел; одну из этих групп, похожую по форме на кинжал, я признал за Южный Крест. Все они были не больше, чем кажутся с Земли; только мелкие звезды, которые оттуда едва заметны, сияли теперь среди черной пустоты так же ярко, как звезды первой величины; а крупные миры представляли собой точки неописуемого цвета и блеска. Альдебаран горел кровавым огнем, а Сириус казался средоточием всех сапфиров в мире. Все звезды сияли ровным светом, блестящие и спокойные, и не мерцали. Мои впечатления отличались остротой и алмазною яркостью: вокруг меня не было смягчающего тумана, не было воздуха, я видел только бесконечную темноту, усеянную резкими, блестящими точками и пятнами света. Когда я снова взглянул на Землю, маленький шар показался мне не больше солнца, и он вращался и уменьшался на моих глазах, пока в одну секунду (так мне показалось) не сократился вдвое; и он продолжал свое движение, быстро уменьшаясь. Далеко, в противоположном направлении, ровно сияла розовая булавочная головка света — планета Марс. Я неподвижно висел в пространстве и следил без малейшего страха или удивления за тем, как мимо меня проносится облако космической пыли, которое мы называем Вселенной.

Мне вдруг стало ясно, что мое ощущение времени изменилось, что моя мысль движется не быстрее, но несравненно медленнее и что каждое восприятие отделяется от другого промежутком в несколько дней. Луна успела совершить один оборот вокруг Земли, когда я это заметил; и я ясно различал движение Марса по его орбите. Мне казалось, что промежутки между моими мыслями все время увеличиваются, так что наконец тысячелетие равнялось в моем представлении одной минуте.

Вначале созвездия неподвижно сияли на черном фоне бесконечного пространства; но потом мне показалось,

будто группа звезд вокруг Геркулеса и Скорпиона сближается, а Орион, Альдебаран и соседние звезды рассыпаются в разные стороны. Из мрака внезапно вылетел сверкающий каскад каменных обломков, которые блестели, как пылинки в солнечном луче, и были окутаны бледным, светящимся туманом. Они кружились вокруг меня и в одно мгновение исчезли вдали. Затем я увидел, что блестящее световое пятно, сиявшее в стороне от меня, начало быстро расти, и я понял, что на меня мчится Сатурн. Он становился все больше и больше, поглощая небо и заслоняя с каждой минутой новую группу звезд.

Я видел его приплюснутое вращающееся тело, дискообразный пояс и семь маленьких спутников. Он рос и рос, стал огромным, и я погрузился в поток сталкивающихся камней, пляшущих пылинок и вихрей газа и увидел над собой громадное тройное кольцо, словно три концентрические круга лунного света, и черную тень над кишащим хаосом внизу. Все это случилось в течение одной десятой доли того времени, которое требуется, чтобы об этом рассказать. Планета пролетела мимо, как молния; она на несколько секунд заслонила Солнце и тут же превратилась в черное, тающее, крылатое пятно, закрывающее свет. Землю, колыбель моего бытия, я уже больше не видел.

Таким образом с величавой быстротой, при глубоком молчании, Солнечная система спадала с меня, как платье, пока Солнце не стало обыкновенной звездой среди мириадов звезд и не потерялось вместе с вихрем пятен-планет в смутном мерцании далекого света. Я уже не был больше обитателем Солнечной системы: я перешел во Внешнюю Вселенную и как будто охватывал мыслью и постигал весь мир материи.

Звезды все быстрее сдвигались вокруг той точки, где Антарес и Вега исчезли в блестящем тумане, пока эта часть неба не превратилась в водоворот туманности, а передо мной открылась более широкая бездна черной пустоты; звезды сияли все реже и реже. Мне казалось, что я приближаюсь к точке между Поясом и Мечом Ориона, и пустота

вокруг меня раздвигается все шире с каждой секундой, непостижимая бездна небытия, в которую я падал. Вселенная все быстрее и быстрее мчалась мимо, превратившись в конце концов в вихрь кружащихся атомов, безмолвно летевших в пустоту. Звезды, загоравшиеся все ярче и ярче, окружающие их планеты, озарявшиеся призрачным светом при моем приближении, вспыхивали и снова исчезали в бездне небытия; бледные кометы, группы метеоритов, дрожащие сгустки материи, светящиеся точки проносились мимо — некоторые на расстоянии сотен миллионов миль, другие более близко; они летели с невероятной быстротой, эти вихри созвездий, мгновенные вспышки огня среди необъятной черной ночи, напоминающие облако пыли, озаренное солнцем. Все шире и глубже становилось беззвездное пространство, потустороннее ничто, в которое я опускался. Наконец четверть неба стала черной и пустой, и весь стремительный поток звездного моря сомкнулся за мной, словно задергивалась пелена света. Он уносился от меня, словно гигантский блуждающий огонь, подгоняемый ветром. Я оказался в пустыне пространства. Черная пустота все расширялась, пока мириады звезд не стали казаться роем огненных точек, улетающих от меня, непостижимо далеких, в то время как мрак, небытие и пустота охватывали меня со всех сторон. Вскоре маленький мир материи, клетка точек, в которой я начал бытие, растаял, превратившись сначала во вращающийся диск мерцающих искр, а затем в крошечное пятно туманного света. Еще минута — и он обратится в точку и затем исчезнет.

И вдруг чувство вернулось ко мне, чувство подавляющего ужаса; меня охватил неописуемый страх перед черной пустотой вместе со страстной жаждой привязанности и общества. Кругом молчание и тьма. Я перестал существовать. Я — ничто. И кругом — ничего, кроме бесконечно маленькой точки света, которая мерцала в бездне. Я силился слышать и видеть, но вокруг меня только бесконечное молчание, невыносимая тьма, ужас и отчаяние.

Затем я заметил, что над светлой точкой, в которую превратился весь мир материи, поднимается бледное сияние. И по обеим сторонам его появились полоски менее глубокого мрака. Я наблюдал за ним, как мне казалось, целые века, и во время моего бесконечного ожидания туман едва заметно прояснялся. Затем около полоски появилось бледно-коричневое облако неправильной формы. Я испытывал страстное нетерпение, но вокруг меня все светлело так медленно, что почти не изменялось. Что означала эта странная красноватая заря в бесконечной ночи пространства?

ЦВЕТЕНИЕ СТРАННОЙ ОРХИДЕИ

АРМАГЕДДОН

Человек с бледным лицом вошел в вагон на станции Регби. Он двигался медленно, несмотря на то, что носильщик торопил его. Впрочем, даже когда он еще стоял на платформе, я заметил, какой у него болезненный вид. Он со вздохом уселся в угол напротив меня, неловко попробовал закутаться в свой плед — и застыл, уставившись неподвижным взором в пустоту. Вдруг он почувствовал мой пристальный взгляд, посмотрел на меня, протянул свою безжизненную руку за газетой, опять поглядел на меня.

Я сделал вид, что читаю. Я боялся, что невольно обеспокоил его, и очень удивился, когда он вдруг заговорил.

— Простите, — сказал я, — что вы сказали?

— В этой книге, — повторил он, указывая худым пальцем на мою книгу, — говорится о снах?

— Очевидно, — ответил я, так как это было «Толкование сновидений» Fortnum-Roscoe.

Он помолчал немного, как бы ища слов.

— Да, — сказал он наконец, — но они ничего не могут сказать вам об этом.

Я его не сразу понял.

— Они ничего не знают, — добавил он.

Я посмотрел на него внимательнее.

— Сны бывают разные, — продолжал он.

Что можно было на это возразить?

— Я полагаю... — Он помедлил. — Вы видели когда-нибудь сны? Я хочу сказать — ясно, очень ясно.

— Я редко вижу сны, — возразил я. — Не знаю, случается ли мне видеть хотя бы три ярких сна за год.

— А-а! — протянул он, казалось, собираясь с мыслями. — Ваши сны не сливаются с вашими воспоминаниями? — спросил он кратко. — Это никогда не сбивало вас с толку? Было это с вами или нет?

— Почти никогда. Разве изредка являлось некоторое сомнение, да и то на короткое время. Я думаю, что это редко с кем бывает.

— А он упоминает об этом? — Незнакомец указал на книгу.

— Он говорит, что иногда это бывает, и объясняет все повышенной чувствительностью, но будто бы это встречается как исключение, а не как правило. Вы, наверное, знаете эти теории.

— Очень мало — только то, что они неверны.

Его бледная рука некоторое время играла оконным ремнем.

Я хотел опять взяться за книгу, но он торопливо заговорил, наклонившись вперед и почти касаясь меня:

— Бывают ли, как их называют, «сны с продолжением», которые снятся одну ночь за другой?

— Я думаю, что бывают. Такие случаи описываются во всех книгах о душевных заболеваниях.

— О душевных заболеваниях? Да. Я думаю, что там есть. Это самое подходящее место для них. Но что я хотел сказать? — Он посмотрел на свои костлявые пальцы. — Но всегда ли это сны? И сны ли это или что-нибудь другое? Может быть, это что-нибудь другое?

Я прервал бы его навязчивый разговор, если бы не напряженная тревога в его лице. Как сейчас вижу его встревоженные глаза, воспаленные, красные веки — вы, наверное, знаете такой взгляд.

— Я не настаиваю на своем мнении, — сказал он, — но это меня убивает.

— Сны?

— Если хотите, назовите это снами. Одну ночь за другой. Ярко, так ярко... Это, — он указал на местность, мелькавшую в окне, — кажется нереальным в сравнении с теми снами! Я едва помню, кто я, чем занимаюсь... — Он остановился.

— Даже теперь сон еще длится, хотите вы сказать? — спросил я.

— Все кончено.

— То есть как?

— Я умер.

— Умерли?

— Раздавлен, убит, и теперь мое «я», как в том сне, мертво навсегда. Мне снилось, что я другой человек, живущий в другой части света и в другое время. Мне снилось это ночь за ночью. Каждую ночь я просыпался в другой жизни. Живые сцены, живые события, пока не настал конец.

— Пока вы не умерли?

— Пока я не умер.

— А с тех пор?

— Нет, — сказал он. — Благодарю Бога — это было концом сна...

Ясно было, что я от него не отделаюсь. К тому же у меня был еще целый час впереди, уже вечерело, а изучать «Толкование сновидений» было не очень интересно.

— Живете в другое время... — сказал я. — Вы хотите сказать, в другом столетии?

— Да.

— В прошлом?

— Нет, в будущем.

— Например, в году три тысячи...

— Не знаю, в каком году. Я знал во сне, то есть когда спал, но не теперь — не теперь, когда я бодрствую. Я многое забыл с тех пор, как проснулся, хотя и знал все, когда спал... Они называли года иначе, чем мы их называем...

Как это они называли их? — Он прижал руку ко лбу. — Нет, — сказал он, — я забыл. — Он слабо улыбнулся.

С минуту я боялся, что он мне не расскажет своего сна. Я обыкновенно не люблю слушать чужие сны, но тут было другое дело. Я даже помог ему.

— Это началось... — подсказал я.

— Все было жизненно с самого начала. Казалось, что я внезапно проснулся во сне. Странно то, что в тех снах, о которых я говорю, я никогда не вспоминал настоящей жизни. Казалось, что та жизнь во сне захватывала меня всего. Быть может... Но я вам расскажу, каким я себя вижу, когда стараюсь все вспомнить. Сначала — ничего ясного; потом, оказывается, я сижу в какой-то лоджии и любуюсь открытым морем. Я дремал — и вдруг проснулся бодрый и оживленный, совсем не сонный, — проснулся, потому что девушка перестала меня обмахивать опахалом...

— Девушка?

— Да, девушка. Не перебивайте, а то вы меня собьете. — Он вдруг остановился. — Вы не подумаете, что я сумасшедший? — спросил он.

— Нет, — ответил я, — вы видели сон, расскажите его мне.

— Я сказал, что проснулся и что девушка перестала обмахивать меня. Вы понимаете: я вовсе не удивился, что нахожусь там. Я не почувствовал внезапного перехода. Я это принял просто так, как оно было. Воспоминание об этой жизни, жизни двадцатого столетия, поблекло, исчезло, как сон. Я все знал о себе, знал, что меня звали теперь Гедон, а не Купер, и знал свое положение в свете. Я многое забыл с тех пор, как проснулся, — в памяти большие пробелы, — но тогда все было ясно и логично.

Он опять замолчал, схватил ремень от окна, перегнулся и умоляюще посмотрел на меня.

— Вам не кажется это вздором?

— Да нет же! — воскликнул я. — Продолжайте. Скажите, что это была за лоджия?

— Это была не настоящая лоджия — не знаю, как это назвать. Она была мала и выходила на юг. Все было в тени,

исключая полукруг над балконом, откуда видно было небо, море и угол, где стояла девушка. Я лежал на кушетке — это была металлическая кушетка с четкими полосатыми подушками, — девушка стояла ко мне спиной, облокотившись о перила балкона. Лучи восходящего солнца освещали ее щеку и ухо. Ее нежная белая шея, вьющиеся волосы на затылке и белые плечи были освещены солнцем, а гибкое изящное тело было в прохладной голубой тени. Она была одета... не знаю, как это описать... во что-то легкое, воздушное. Так она стояла предо мной, и я понял, как прекрасна и желанна она была, как будто я никогда ее раньше не видел. Когда же я вздохнул и приподнялся на локте, она обернулась... — Он остановился. — Я прожил на свете пятьдесят три года. У меня были мать, сестра, друзья, жена и дочери — все лица, игру каждого лица я помню, но лицо этой девушки — оно стоит как живое перед моими глазами. Когда я вспоминаю его, я вижу его перед собой, я мог бы нарисовать его. И все же...

Он замолк, я тоже ничего не говорил.

— Лицо, которое вам снится, — это лицо, о котором вы мечтаете. Она была прекрасна. Не той страшной, холодной красотой, способной вызвать поклонение, как красота святой; не той, которая возбуждает страсти, но которая просветляет душу — нежные, кротко улыбающиеся губы и задумчивые серые глаза. Движения ее были так грациозны, она была полна такого изящества...

Он остановился, опустив голову и закрыв лицо руками. Потом посмотрел на меня и продолжил свой рассказ, уже не стараясь больше скрывать, что он верит в абсолютную реальность своего переживания.

— Вы видите, я от всего отказался ради нее, от своих планов, тщеславия, от всего, к чему стремился, чего желал. Я был знатным человеком там, на севере, влиятельным, богатым и известным, но что могло сравниться с ней? Я приехал с ней туда, в этот город, полный веселого солнца, и бросил все на произвол судьбы, чтобы насладиться жизнью хоть под конец моего земного пути. Пока я любил ее, не зная, думает ли она обо мне, не зная, на что она решит-

ся, на что мы оба решимся, жизнь казалась мне напрасной и пустой, все было прах и тлен. Так оно было: все прах и тлен. Ночь за ночью и долгие дни я томился и страдал — душа моя боролась с запретным плодом! Нельзя ни с кем говорить о таких вещах. Это только намек, это тень, это восходящий и заходящий свет. Все меняется только потому, что оно здесь, налицо. Дело в том, что во время наступившего кризиса я бросил их на произвол судьбы и уехал.

— Кого бросили? — спросил я, недоумевая.

— Народ, там, на севере. Видите ли, в том сне я был великим человеком — из тех, в которых верят, за которыми идут. Миллионы людей, никогда меня не видевших, готовы были действовать и подвергаться опасностям только потому, что вполне доверяли мне. Я вел эту игру годами — эту великую, трудную игру, эту рискованную, ужасную политическую игру, среди интриг и измены, речей и волнений. Это была обширная и неспокойная страна. В конце концов я выступил против этой шайки — их так и звали шайкой — это было целое сплетение мошеннических планов низкого честолюбия и волнующих умы глупостей и громких лозунгов; это была шайка, из года в год возбуждавшая и ослеплявшая народ и неминуемо толкавшая его к гибели. Вы, конечно, не поймете всей сложности и мрака того времени. Но я все знал во сне до мельчайших подробностей. Я думаю, что все это пронеслось передо мной, прежде чем я проснулся, и смутная цепь событий, вызванная моим воображением, была еще передо мной в то время, когда я протирал глаза. Это темная история, и я был счастлив, что солнце так ярко светит. Я сел, стал смотреть на девушку и бесконечно радовался тому, что выбрался из той сумятицы, сумасбродства и насилия, пока было еще не поздно. — Во всяком случае, думал я, здесь — жизнь, любовь, красота, желания, наслаждение. Не дороже ли все это напрасных стремлений к неизвестным, хотя и грандиозным целям? Я раскаивался, что вообразил себя вождем, вместо того, чтобы отдать свою жизнь любви. Но потом я подумал, что если бы я в юности не был так строг и требователен к себе, то, может быть, отдавался бы пустым и не-

достойным женщинам. При этой мысли все мое существо растворилось в любви и нежности к моей дорогой госпоже, моей повелительнице, которая пришла, наконец, и заставила меня — я не мог бороться с ее очарованием! — бросить эту жизнь.

«Ты достойна этого, — сказал я. — Ты это заслужила, моя любимая, моя гордость, моя радость. Любовь! Обладать тобой — это стоит всех их, вместе взятых».

При звуке моего голоса она обернулась.

«Пойди сюда и посмотри! — воскликнула она (я и теперь ее слышу). — Посмотри, как солнце встает на Монте-Соларо!»

Я помню, как вскочил на ноги и подошел к ней на балконе. Она положила свою белую руку мне на плечо и указала на громады скал, как бы пробуждающихся к жизни. Я. посмотрел туда. Но прежде всего я обратил внимание на то, как луч солнца, лаская, скользнул по ее щеке и шее. Как описать вам то, что у нас было перед глазами? Мы были на Капри...

— Я тоже был там, — сказал я. — Поднимался на вершину Монте-Соларо и пил «vero Caprі» — мутное пойло, вроде сидра.

— А-а! — протянул человек с бледным лицом. — Скажите мне, был ли это действительно Капри; тогда в настоящей жизни я никогда не был там. Подождите, я опишу вам. Мы находились в маленькой комнатке, в одной из бесчисленных маленьких комнат, прохладной и светлой, высеченной из известняка, на каком-то мысу, высоко над морем. Весь остров представлял из себя что-то вроде одного сплошного отеля, неизвестно как составлявшего одно целое. На другой стороне были на целые мили вокруг плавучие отели и громадные помосты, на которые опускалась воздушная флотилия. Это называлось город веселья. Этого не было в ваше время, то есть я хотел сказать, этого нет теперь. Да, конечно, теперь!

Итак, наша комната была на самом краю мыса, так что видно было и восток и запад. На востоке поднималась высокая скала, — наверное, около тысячи футов высоты, холодная и серая, за исключением одной узкой ярко-золотой полоски; под скалой — Остров Сирен и крутой, обрывистый берег, сливающийся с горячим восходящим солнцем. Если посмотреть на запад, ясно был виден маленький залив и узкая береговая полоска, вся в тени. Из этого мрака высоко и гордо вздымался Соларо, багряный, увенчанный золотом, как царственная красавица, и над ним плыла по небу бледная луна. А перед нами от востока до запада расстилалось многоцветное море, усеянное маленькими парусными лодочками.

На востоке эти маленькие лодочки были серые, ясные и определенные; на западе это были маленькие золотые лодочки, из чистого золота, как маленькие огоньки. А как раз под нами была скала, и в ней арка. Голубая вода переходила в зеленый цвет и, пенясь, клубилась вокруг арки, из-под которой скользила лодка.

— Я знаю эту скалу, — сказал я. — Я там чуть не утонул. Ее называют Faraglioni.

— Faraglioni? Да, она ее так назвала, — подтвердил человек с бледным лицом. — Там была какая-то история, но... — Он опять дотронулся до лба. — Нет, — продолжал он, — я забыл эту историю.

Да, первое, что я помню, это был мой первый сон — эта маленькая прохладная комнатка и великолепное небо, и воздух, и любимая девушка, и ее освещенные солнцем руки, ее красивая одежда. Мы сидели и шепотом разговаривали друг с другом. Мы говорили шепотом не потому, что кто-нибудь мог нас слышать, но потому, что все еще было так ново в наших отношениях — наши мысли были как бы немного испуганы и боязливо воплощались в слова, потому и шли они самой легкой поступью.

Мы проголодались и пошли из нашей комнаты странными переходами по движущемуся полу, пока не дошли до большой обеденной залы, где бил фонтан и играла музыка. Это было красивое, веселое место — солнце, журчание воды, рокот струн. Мы сидели, ели и улыбались друг другу, и мне не хотелось останавливать внимание на человеке, зорко следившем за нами из-за соседнего стола.

Потом мы пошли в танцевальный зал, но я не могу описать его. Это было огромное помещение, превосходящее все, что вы когда-либо могли видеть. В одном месте в стену галереи были вделаны высокие старинные ворота Капри. Вздымались легкие колонны, золотые ветки и побеги ниспадали со столбов в виде фонтана, заливали потолок, как утренняя заря, переплетаясь, как... как сети заговора. Вокруг всего зала стаяли чудесные статуи, странные драконы и причудливые, удивительные химеры, державшие светильники. Все помещение было залито искусственным светом, более ярким, нежели утренняя заря. Когда мы проходили через толпу, все оборачивались и смотрели на нас, так как все знали меня в лицо и по имени, а также и то, что я неожиданно отказался от власти и борьбы и приехал сюда. Все смотрели также на даму, которая была со мной, хотя никто не знал истории ее появления или неверно истолковывали ее. И я знал, что некоторые из них считали меня счастливым, несмотря на то, что имя мое было запятнано бесчестьем и позором.

Воздух был полон музыки, гармоничного благоухания и ритма красивых движений. Тысячи красивых людей двигались по зале, наполняли галереи, сидели в различных уголках. Все были одеты в яркие цвета, увенчаны цветами, танцевали в большом кругу среди белых статуй древних богов, красивые процессии юношей и девушек проходили взад и вперед. Мы танцевали с ней не однообразные, скучные танцы наших дней, то есть настоящего времени, но какой-то прекрасный, опьяняющий танец. До сих пор у меня стоят перед глазами ее радостные движения. Она, знаете, танцевала серьезно, с достоинством — и все же ласкала меня, улыбалась и ласкала меня взором.

Музыка была тоже другая, — пробормотал он. — Она звучала... Нельзя описать — как! Она была бесконечно богаче и разнообразнее, чем какая-либо музыка, которую мне случалось слышать наяву.

Потом — это было во время нашего танца — какой-то господин подошел и заговорил со мной. Это был тощий, энергичный с виду человек, слишком просто одетый для

данного случая. Я уже за завтраком заметил, что он следил за мной, также когда мы шли в танцевальный зал — я все время старался избегать его взгляда, — и теперь, когда мы сидели в небольшой нише, с улыбкой следя за веселящейся публикой, двигавшейся по всем направлениям по ярко освещенному залу, он подошел, дотронулся до меня и заговорил так, что я был вынужден слушать его. Он хотел поговорить со мной наедине.

«Нет, — возразил я, — у меня нет тайн от этой дамы. Что вы хотели сказать?»

Тогда он ответил, что сообщение его будет неинтересно и, во всяком случае, скучно для дамы.

«Может быть, и для меня?» — сказал я.

Он посмотрел на нее, как бы прося защиты. Потом спросил неожиданно, слышал ли я о враждебном заявлении, которое сделал Ившэм. Надо вам сказать, что Ившэм раньше всегда стоял рядом со мной во главе той большой партии, там, на севере. Это был властный, суровый, бестактный человек, и только я умел обуздывать и усмирять его. Я думаю, что больше из-за него, чем из-за меня, так взволновались все тогда при моем уходе, поэтому заданный мне вопрос возбудил во мне заново интерес к той жизни, которую я на время покинул.

«Я за последнее время ничем не интересовался, — сказал я. — Что же говорил Ившэм?»

И он начал оживленно рассказывать. Признаться, даже я был поражен необузданным безумием Ившэма — такие дикие и угрожающие слова были им сказаны. Присланный ими человек не только передал мне слова Ившэма, но стал спрашивать совета и разъяснять мне, как я им нужен. Пока он говорил, моя дама сидела немного наклонившись и следила за выражением моего лица и лица моего собеседника.

Старая привычка обсуждать и составлять планы тотчас же проснулась во мне. Я сразу представил себе мое возвращение на север и весь драматизм этого положения. Все, что этот человек говорил, показывало, что в партии царит большой беспорядок, но крушения ее еще не было. Если

я вернусь туда, моя власть будет сильнее, нежели когда я уехал оттуда. Потом я подумал о своей подруге. Вы понимаете... Как вам сказать? Были известные особенности в наших отношениях — не буду упоминать о них, — которые делали ее присутствие там невозможным. Я должен был оставить ее, я должен был открыто и навсегда отказаться от нее, если бы хотел продолжать свое дело на севере. И он знал это, когда говорил со мной и с ней, — он знал это так же хорошо, как и она: исполнение долга означало сперва разлуку, а потом окончательный разрыв. Эти мысли рассеяли мечту о возвращения на север. Я неожиданно повернулся к моему собеседнику, и он подумал, что его красноречие убедило меня.

«Какое мне теперь дело до всего этого? — сказал я. — Я со всем этим покончил. Не думаете ли вы, что я своим уходом кокетничаю с обществом?»

«Нет, — возразил он, — но...»

«Отчего же вы меня не оставите в покое? Я со всем этим уже покончил. Я теперь только частное лицо!

«Да, — ответил он. — Но подумали ли вы... Эти толки о войне, эти тревожные слухи, эти ярые нападки...»

Я встал.

«Нет! — воскликнул я. — Я не хочу вас больше слушать. Я все принял во внимание, все взвесил — и я удалился».

Казалось, он собирается настаивать. Он посмотрел на меня, потом на наблюдавшую за нами мою подругу.

«Война», — повторил он, как бы говоря сам с собой, затем медленно повернулся и пошел прочь.

Я стоял, погруженный в вихрь мыслей, вызванных его призывом.

Тогда прозвучал ее голос.

«Дорогой мой, — сказала она, — если ты им необходим...» Она не закончила и остановилась.

Я взглянул на ее милое лицо, настроение мое поколебалось и упало.

«Я им нужен только затем, чтобы сделать то, что они сами не решаются сделать, — возразил я. — Если они не

доверяют Ившэму, пусть сами устраиваются с ним, как хотят».

Она посмотрела на меня с сомнением.

«Но война...» — возразила она.

Я заметил сомнение на ее лице, появлявшееся уже и раньше, — сомнение во мне и в себе: первая тень такого сомнения, строго говоря, уже должна была разъединить нас навсегда.

Я был старше и без труда мог убедить ее в том или ином.

«Дорогая, — начал я, — не смущайся случившимся. Никакой войны не будет. Время войн прошло. Верь мне, что я знаю положение дел. Они не имеют права на меня, дорогая, и никто не имеет права на меня. Я был свободен в выборе жизни, и я сделал свой выбор».

«Но война...» — повторила она.

Я сел рядом с ней, обнял ее одной рукой, а другой взял ее за руку. Я решил рассеять ее сомнения, хотел развеселить ее. Я стал обманывать ее и вместе с тем обманывал и себя. А она слишком охотно верила мне, слишком готова была забыть обо всем.

Вскоре тень рассеялась, и мы поспешили к месту нашего купания, к гроту del Bovo Marino, где мы обычно купались каждый день. Мы плавали и брызгали друг в друга, поддерживаемые волнами; мне казалось, что я становлюсь легче и сильнее, чем обыкновенный человек. Наконец мы вышли из воды, веселые, мокрые, и стали бегать между скал. Я надел сухой купальный костюм, мы сели пожариться на солнце, и я задремал, прислонив голову к ее коленям; она положила мне руку на голову, стала слегка проводить ею по волосам — и я заснул.

И вдруг — как будто лопнула струна — я проснулся и очутился в своей кровати в Ливерпуле, в своей обычной обстановке.

Только одно мгновение я не хотел поверить, что все, так ярко пережитое, было не что иное, как сновидение.

Я действительно не мог принять все за сон, несмотря на всю реальность окружавших меня предметов. Я умылся

и оделся как всегда, и пока брился, размышлял, почему именно я должен покинуть любимую мною женщину для фантастической политики сурового и враждующего севера. Даже если бы Ившэм ввергнул мир в войну, что мне до этого? Я был мужчина, и сердце было у меня мужское. И зачем должен я брать на себя верховную ответственность за судьбу мира?

Вы должны знать, что я не всегда так отношусь к делам, к моим реальным делам. Я, нужно вам сказать, присяжный поверенный и имею твердые убеждения.

Поймите, видение было так реально, так непохоже на сон, что я постоянно вспоминал самые незначительные подробности; даже обложка книги, лежавшей на швейной машинке жены в столовой, ярко напомнила мне золотую полоску на кресле в нише, где я разговаривал с посланным о покинутой мною партии. Слыхали ли вы когда-нибудь о подобных снах?

— О подобных снах?

— То есть чтобы впоследствии вспоминались мельчайшие забытые подробности?

Я задумался. Мне никогда раньше не приходил в голову этот вопрос.

— Нет, — сказал я, — кажется, что так никогда не бывает во сне.

— Да, — ответил он, — но как раз так это и было. Я, понимаете ли, присяжный поверенный в Ливерпуле и часто спрашивал себя: что подумали бы обо мне мои клиенты и люди, с которыми я был в деловых отношениях, если бы я им вдруг сказал, что люблю девушку, которая родится через несколько столетий, и страдаю за политические недоразумения моих праправравнуков?

Я был очень занят в этот день и заключал девяностодевятилетний контракт с одним нетерпеливым архитектором, и нам хотелось во что бы то ни стало заставить его подписать этот контракт. Во время разговора со мной он вел себя так несдержанно, что я пошел спать еще очень взволнованный. В эту ночь я не видел сна, как и в последующую, насколько я помню. И во мне поколебалось

убеждение в реальности происходившего. Появилось чувство, что это был сон. Но потом вернулось прежнее ощущение.

Когда четыре дня спустя сон возобновился, все было по-другому. Я думаю, что и во сне прошло четыре дня. Многое случилось за эти дни на севере, тень этих событий опять легла между нами, и на этот раз было не так легко ее разогнать. Я, помню, начал с грустью раздумывать: почему, несмотря ни на что, я должен до конца своих дней возвращаться к труду и работе, унижениям и вечному недовольству только для того, чтобы спасти от гнета и ужаса войны и неудачного правления сто миллионов простого народа, который я не люблю и слишком часто презираю? И, в конце концов, кто поручится, что я не ошибусь? Все они стремятся к своим личным целям, почему же и мне не жить, как все люди? И вдруг ее голос прозвучал среди этих размышлений.

Я поднял глаза. Я очнулся. Мы поднимались над городом веселья, были почти на вершине Монте-Соларо и смотрели на залив. Уже близок был вечер. Вдали слева Иския как бы плыла в золотистом тумане между небом и водой. Неаполь вырисовывался белым пятном на холмах, перед нами был Везувий с длинной стройной полосой дыма, тянувшейся на юг, а невдалеке сверкали развалины Торре-дель-Аннунциата и Кастелламаре.

Я вдруг прервал его:

— Вы были, наверное, на Капри?

— Только в этом сновидении, — ответил он, — только в этом сновидении. Вдоль всего залива, по ту сторону Сорренто, вырисовывались плавучие дворцы Города Радости — они стояли на якорях. Дальше на север были широкие плавучие платформы, куда приставали аэропланы. Каждый день после обеда аэропланы спускались с высоты и приносили тысячи людей со всех концов света на Капри для его радостей. Все это лежало у наших ног.

Мы все это разглядели только вскользь, так как нам пришлось увидеть в этот вечер нечто совершенно необычайное. Пять военных аэропланов, давно дремавших без

всякой пользы в дальних арсеналах устья Рейна, маневрировали теперь на восточной стороне небосклона. Ившэм удивил весь свет, послав эти и много других аэропланов в разные стороны. Это была уже реальная угроза в той смелой, дерзкой игре, которую он вел, и даже я был поражен — настолько это было неожиданно. Он был одним из тех невероятно упрямых, энергичных людей, которые как бы посланы провидением творить несчастья. На первый взгляд его энергию можно было принять за даровитость. У него не было ни воображения, ни изобретательности — только тупая, огромная сила воли и сверхъестественная вера в свое тупое, идиотское, не покидавшее его счастье. Я помню, как мы стояли над мысом, следя за планирующей вдали эскадрильей; я понял тогда же все значение этого, я уже предвидел, какой оборот принимает дело. И все-таки еще не было слишком поздно. Я должен был вернуться и спасти мир. Я знал, что на севере они пошли бы за мной при условии, чтобы я только в одном пункте не противоречил их взглядам. На востоке и на юге ко мне отнеслись бы с большим доверием, чем к кому-либо из северян. Я знал, стоило мне только сказать ей, и она отпустила бы меня... и не оттого, что она не любила меня!

Мне не хотелось уезжать, у меня были совсем другие планы. Я так еще недавно сбросил с себя этот кошмар ответственности, я был еще так недавно ренегатом своего долга, что ясное сознание того, что я должен сделать, не имело никакого влияния на мою волю. Я хотел жить, предаваться удовольствиям и сделать мою подругу счастливой. То, что я пренебрег своими обязанностями, не удручало меня, однако я становился молчаливым и озабоченным. Это наполовину отравляло светлую радость дня и повергало меня в мрачные размышления среди ночной тиши. В то время как я стоял и наблюдал за тем, как аэропланы Ившэма, эти зловещие птицы, летали взад и вперед, она стояла возле меня и смотрела на меня, она видела мою тревогу, но не могла ее объяснить себе; глаза ее, затуманенные выражением грусти, пытливо следили за мной. Лицо ее было в тени, так как солнце склонялось уже к закату. Не

она была виновата, что я оставался. Она просила меня уйти — и ночью еще раз со слезами просила об этом.

В конце концов ощущение того, что она здесь, рядом, вывело меня из задумчивости. Я быстро повернулся к ней и предложил ей взапуски сбежать по склону горы.

«Не надо», — сказала она, будто это не соответствовало ее серьезному настроению.

Но я решил покончить с этой серьезностью и заставить ее пробежаться: когда у человека захватывает дыхание от бега, он уже не может грустить. Она споткнулась, я подхватил ее под руку. Мы побежали вниз, обогнали двух людей, которые с удивлением обернулись, так как, наверное, узнали меня. Когда мы были на полпути, послышался странный шум в воздухе. Мы остановились: над вершиной холма летели эти военные аппараты, один за другим.

Он остановился, очевидно обдумывая, как их описать.

— На что они были похожи? — спросил я.

— Они еще не были в бою, — сказал он. — Они были вроде наших теперешних броненосцев, но они еще не участвовали в боях. Никто не знал, чем угрожают сидящие на них раздраженные люди, да никто и не думал о них. Это были большие движущиеся аппараты; по форме они походили на лезвие копья с пропеллером вместо древка.

— Стальные?

— Нет, не стальные.

— Из алюминия?

— Нет-нет, ничего подобного, из очень обыкновенного сплава — ну, как медь, например. Он назывался... подождите. — Он потер себе лоб рукой. — Я все забываю, — сказал он.

— На них были орудия ?

— Маленькие орудия с сильно взрывчатыми снарядами, выстрел производился из задней части ствола, а заряжались орудия с передней части. Это, разумеется, в теории, но они никогда еще не были в деле. Никто не мог сказать, как это произойдет. Между тем, я думаю, что было приятно быстро и легко кружить по воздуху, как стая молодых ласточек.

Мне кажется, что летчики даже не представляли себе ясно, как все будет в действительности. Эти летающие военные корабли были только малой долей бесконечного числа разных военных приспособлений, изобретенных во время продолжительного мира. Много было придумано и усовершенствовано таких предметов — адских, отвратительных штук, ни разу еще не испробованных: громадные машины, страшные взрывчатые вещества, величайшие орудия. Вы знаете отвратительный способ работы гениальных людей, изобретающих такого рода предметы. Они похожи на бобров, которые строят свои плотины и совсем не думают о том, что от этого реки выступят из берегов и затопят окрестности.

Когда мы в сумерках спускались к нашей гостинице по извилистой тропинке, все ясно предстало моим глазам: я видел, как все предвещало неизбежную войну под давлением властной, преступной руки Ившэма, и предчувствовал, что означала война при новых сложившихся обстоятельствах. Но и теперь, несмотря на то, что я осознавал, что, быть может, еще есть последняя возможность вернуться назад, я не мог заставить себя сделать это.

Он вздохнул.

— Это была последняя возможность для меня. Мы не пошли в город до тех пор, пока небо не покрылось звездами. Мы ходили по высокой террасе, и моя подруга все советовала мне вернуться.

«Дорогой, — говорила она, повернув свое милое лицо ко мне, — это смерть. Жизнь, которую ты ведешь, — смерть. Вернись к ним, вернись к своим обязанностям».

Она заплакала, крепко прижимаясь ко мне и повторяя сквозь слезы: «Вернись, вернись».

Потом она вдруг замолкла. Взглянув на нее, я сразу понял, что она хочет сделать. Это было одно из тех мгновений, когда становишься ясновидящим.

«Никогда!» — сказал я.

«Нет?» — спросила она с удивлением и, кажется, немного испугалась того, что я ответил на ее мысли.

«Ничто, — сказал я, — не заставит меня вернуться. Ничто! Мой выбор сделан. Я избрал любовь, и свет должен уступить. Будь что будет — я хочу так жить, я хочу жить для тебя! Ничто не изменит моего решения, ничто, дорогая моя. Если бы ты даже умерла, даже если бы ты умерла...»

«Что тогда?» — проговорила она нежно.

«Тогда я тоже умру!»

Прежде чем она успела сказать что-нибудь, я заговорил красноречиво, как я умел говорить в той жизни: я стал восхвалять любовь, стал доказывать, что наша жизнь героична и величава, а то, что я покидаю, все это жестокое, крайне неблагодарное, вполне заслуживает быть отброшенным. Я прилагал все усилия представить все в самом ярком свете, так как должен был убедить не только ее, но и себя. Мы говорили — и она прижималась ко мне, раздираемая противоречивыми стремлениями: с одной стороны, то, что ей казалось благородным, с другой — то, что она знала как счастье. Потом я представил все в героическом виде, все бедствия земли я изобразил в виде блистающей оправы для нашей несравненной любви, и наши бедные, заблудшие души упивались под тихими звездами этим величием, зачарованные этим великолепным заблуждением или, скорее, опьяненные этой величественной иллюзией.

Таким образом я пропустил момент. Это была последняя возможность. В то время, когда мы ходили взад и вперед, вожди на юге и на востоке уже приняли свое решение, и горячий ответ, который должен был разрушить грубое своеволие Ившэма, уже назревал и готов был прозвучать. По всей Азии, по всему океану, везде на юге и воздух и провода трепетали одним позывным кличем: готовься!

Ни один смертный не знал, что значит война, никто не мог себе представить, какие ужасы принесет с собой война при всех этих новых изобретениях. Мне кажется, большинство думали, что вся ее суть будет заключаться в блестящих мундирах, воинственных кличах, триумфальных шествиях, знаменах и боевой музыке — и это в то время,

когда половина мира получает свое продовольствие за тысячи миль!

Человек с бледным лицом остановился. Я посмотрел на него — он уставился взором в пол вагона. Маленькая железнодорожная станция, целый ряд груженых вагонов, сторожевая будка, задняя сторона какого-то домика промелькнули мимо окна, прогремел мост, эхом повторяя грохот поезда.

— После этого, — сказал он, — я часто видел сны. В продолжение трех недель сны по ночам были моей жизнью. Самое худшее было то, что были ночи, когда сны не приходили, когда я ворочался с боку на бок на постели в настоящей проклятой жизни, а там — в потерянной для меня стране — совершались события, знаменательные, ужасные события... Я жил по ночам. Дни — те дни, когда я бодрствовал, та жизнь, которой я живу теперь, — превращались в бледный, далекий сон, в темную оправу, книжный переплет.

Он задумался.

— Я мог бы рассказать вам все, описать мельчайшие подробности сна, но то, что я делал днем — я не знаю, я не мог бы сказать вам, не помню. Память изменяет мне. Житейские дела ускользают от меня.

Он наклонился вперед и закрыл глаза руками. Долгое время он молчал.

— Что же дальше? — спросил я.

— Война разразилась наподобие урагана.

Он уставился неподвижным взором, как бы видя перед собой недоступные описанию вещи.

— Что было потом? — настаивал я.

— Если бы придать этому малейший оттенок нереальности, — сказал он тихо, как бы говоря сам с собой, — все было бы только страшным сном. Но то не был страшный сон — все произошло в действительности. Да!

Он так долго молчал, что я стал беспокоиться, что не услышу конца его истории. Но он заговорил опять тем же тоном исповеди.

— Нам оставалось только одно — бегство. Я не думал, что война коснется Капри — наперекор всему я все еще надеялся, что Капри останется в стороне. Двое суток спустя повсюду раздавались крики, шум, гам. Почти все женщины и мужчины имели значки — эмблемы Ившэма; вместо музыки повсюду раздавались дикие боевые клики, мужчины записывались добровольцами, а в танцевальных залах производилось военное учение. Весь остров наполнился непрерывным шумом: ходили слухи, что бой начался. Я этого не ожидал. Я так мало видел радости в жизни, что для меня такое возбуждение было непонятно. Я оставался и стороне и походил на человека, который мог бы, если бы захотел, предотвратить взрыв порохового погреба. Но время ушло. Я «был ничто, всякий мальчишка со значком Ившэма имел больше значения. Толпа толкала нас и кричала нам в уши; проклятый боевой клич оглушал нас; какая-то женщина с криком набросилась на мою подругу за то, что у нее не было значка. Мы пошли домой, сопровождаемые бранью и криками. Подруга моя — бледной и молчаливой, а я был полон яростной злобы. Я был так взбешен, что поссорился бы с ней, если бы увидел хоть тень упрека в ее глазах.

Все мое великолепие слетело с меня. Я бродил по нашей горной келье, за окном виднелось темнеющее море, а с юга вспыхивал какой-то свет, то пропадая, то появляясь вновь.

«Нам надо отсюда уехать, — повторял я снова и снова. — Я сделал выбор и не хочу участвовать в этой смуте, не хочу иметь никакого дела с этой войной. Нас все это не касается. Здесь нам не место. Уедем!»

На другой же день мы бежали от войны, охватившей весь свет. Потом началось бегство — все было только одним бегством.

Он мрачно задумался.

— Сколько времени это продолжалось? Он не ответил.

— Сколько дней?

Лицо его было бледно и искажено, руки стиснуты. Он не обращал внимания на мое любопытство.

Я старался вопросами вернуть его опять к рассказу.

— Куда вы направились? — спросил я.

— Когда?

— Когда вы покинули Капри.

— На юго-запад, — сказал он и посмотрел на меня одно мгновение. — Мы поплыли на лодке.

— Я думал, на аэроплане.

— Они все были захвачены неприятелем.

Я его больше не расспрашивал.

Немного погодя он начал опять с какой-то монотонной убежденностью:

— К чему тогда все это? Если эта война, эти резня и насилие — жизнь, зачем нам тогда стремление к удовольствию, к красоте? Если нет спасения, нет ни одного мирного места, если все наши мечты о тишине и спокойствии не что иное, как обман, мираж, зачем нам тогда такие сны? Не низменная страсть, не дурные намерения привели нас к этому — любовь заставила нас уединиться. Любовь явилась мне с ее глазами, облеченная ее красотой, прекраснее всего на свете, в образе и свете истинной жизни — и повлекла меня за собой. Я заставил замолчать все голоса, ответил на все вопросы — и пришел к ней. И нашел здесь только войну и смерть!

Мне пришло на ум спросить его:

— Это, может быть, был только сон?

— Сон! — крикнул он исступленно. — Сон... когда еще и теперь...

Он в первый раз оживился. Слабая краска залила его щеки. Он поднял руку кверху, сжал ее в кулак и тяжело опустил себе на колени. Он заговорил, не глядя на меня, и продолжал говорить, отвернувшись в сторону.

— Мы только призраки, — говорил он, — даже только призраки призраков, желания наши подобны тени облаков, воля наша — как солома, которую взвихривает ветер; дни проходят — неизбежность и привычка влекут нас за собой, как поезд мчит за собой тени своих огней, не так ли? Только одно реально и достоверно, одно не плод фантазии, но вечно и несокрушимо — это смысл моей жизни,

а все остальное второстепенно, даже бесполезно. Я любил ее, эту женщину моего сна. Она и я — мы умерли вместе!

Сон! Как может это быть сном, когда это пронизало живую жизнь неутешным горем, если оно сделало все, чем я жил и о чем страдал, ненужным и бессмысленным?

До самого того момента, когда ее убили, я надеялся, что нам удастся уйти, — сказал он. — Всю ночь и все утро, пока мы шли морем от Капри до Салерно, мы говорили о бегстве. Мы были полны надежды. Надежда, что мы будем жить вместе, вдали от всего, вдали от борьбы и войны, от суетных и безумных страстей и произвольного закона мира «Ты должен! ты не должен!» — не оставляла нас до конца. Мы были выше всего этого, как будто наше стремление друг к другу было свято, наша любовь друг к другу — священная миссия...

Даже тогда, когда мы с нашей лодки увидели, что чудесный облик величавой скалы на Капри уже изрыт и изуродован складами оружия и валами, превратившими ее в крепость, — даже тогда мы не поняли, что неминуемо побоище, хотя от поспешных приготовлений стояли тучи дыма и пыли, все было, как в тумане. Я даже пустился в рассуждения при виде этой картины. Скала вздымалась, все еще прекрасная, несмотря на все свои язвы, с бесчисленными окнами, арками и дорожками; она поднималась уступами футов на тысячу — огромная серая масса, пересеченная площадками с виноградниками, лимонными и апельсиновыми рощами, множеством агав, винных ягод и кущами миндальных деревьев в цвету. Вдали над аркой, возвышающейся над Пиккола-Марина, показались еще лодки, а когда мы обогнули мыс недалеко от материка, то увидели еще целый ряд маленьких лодок, шедших под ветром к юго-западу. Немного погодя их набралось великое множество, и самые дальние казались небольшими точками ультрамарина на тени западной скалы.

«Любовь и здравый смысл, — сказал я, — заставляют нас бежать от всех ужасов войны».

Хотя мы и видели, что целая флотилия аэропланов надвигалась по южному небосклону, мы не обратили на

это никакого внимания. То тут, то там появлялся целый ряд небольших точек на небе, покрывая всю юго-западную часть горизонта, а там — еще и еще, и наконец вся эта часть неба была покрыта темно-синими пятнами. То они казались тоненькими синими полосками, то вдруг один из них, затем несколько сразу, закрывали собой солнце и блистали быстрой, яркой молнией. Они приближались, то вздымаясь ввысь, то опускаясь вниз и вырастая у нас на глазах, как громадная стая чаек, грачей или других каких-нибудь птиц; они подвигались с поразительной равномерностью, покрывая при своем приближении все более обширное пространство неба. Южное крыло эскадрильи двигалось против солнца, в виде облака, похожего на стрелу. И вдруг они круто повернули на восток и понеслись туда, становясь все меньше и меньше, все более призрачными, пока не исчезли с небосклона. Тогда мы заметили на севере, в высоте, боевые машины Ившэма, парящие высоко над Неаполем наподобие стаи комаров в летний вечер.

Это обеспокоило нас не больше, как если бы это была стая птиц. Даже грохот снарядов вдали, к юго-востоку, не внушал нам никаких опасений...

Каждый день — каждый раз, как я видел следующий сон — наши мысли были далеко от всего земного. Мы непрестанно искали приюта, где мы могли бы жить и любить. Усталость, горе и нужда одолевали нас. Мы были покрыты пылью и грязью от беспрерывной ходьбы, мы жили полуголодными, исполненными ужаса от виденных нами трупов и бегущих людей, — битва разлилась целым потоком уже по всему полуострову, — все это мучило нас, но тем не менее наша решимость во что бы то ни стало спастись только крепла. Как она была мужественна и терпелива! Она, которая никогда еще не испытывала лишений и страданий, не только не падала духом, но поддерживала и меня. Мы шли то в одном, то в другом направлении, ища выхода из страны, опустошенной и разграбленной толпами прошедших мародеров. Мы все время шли пешком. Сперва нас догоняли другие беженцы, но мы не присоединялись к ним. Некоторые бежали на север, многие смешивались с толпой крестьян, наводнявших все дороги; некоторые поступали добровольцами, и их усылали на север. Некоторые воодушевлялись всем этим, но мы держались в стороне. У нас не было столько денег, чтобы пробраться на север, и я боялся за свою подругу, как бы она не попала в руки этой толпы рекрутов. Мы высадились у Салерно, повернули от Кава, старались пройти к Таренто проходом через Монте-Альбурно, но должны были вернуться из-за недостатка пищи. Так мы спускались до самых болот близ Пестума, где стоят громадные одинокие храмы. У меня была слабая надежда, что в Пестуме мы найдем лодку и выйдем опять в море. И вот здесь-то настигла нас война.

Моей душой овладела какая-то слепота. Я видел, что мы окружены, что гигантская сеть войны накрыла нас своей паутиной. Сколько раз видели мы полки, шедшие с севера по разным направлениям, видели, как они прокладывали дороги для провоза амуниции и подъема орудий! Раз нам показалось, что они стреляли в нас, приняв нас за шпионов; как бы то ни было, но в нас стреляли. Сколько раз мы прятались в лесах от летавших над нами аэропланов!

Но все это не имеет теперь значения — все эти ночи, проведенные в бегстве и муках... Наконец-то мы были на открытом месте, близ громадных храмов Пестума, на белой каменной площади, покрытой колючим кустарником, ровной, пустынной и такой плоской, что стоявшая вдали группа эвкалиптов видна была до самых корней. Как все живо перед моими глазами! Подруга моя сидела под кустом и отдыхала, она была очень утомлена и слаба, а я стоял и старался разгадать, на каком расстоянии находились друг от друга орудия, все время метавшие над нами снаряды. Вы понимаете, сражающиеся находились еще далеко друг от друга, стреляли из этих ужасных, не бывших дотоле в употреблении орудий, выстрелы которых попадали в цель где-то вне поля нашего зрения, и никто не мог предсказать, что смогут сделать аэропланы.

Я знал, что мы находились между двумя армиями и что они сходились. Я знал, что нам грозила опасность и что мы не могли оставаться здесь, не должны были задерживаться.

Хотя я все это понимал, но это было у меня в подсознании, как будто все это нас не касалось. Я главным образом думал о своей подруге. Невыносимая боль наполняла мое сердце. В первый раз она упала духом и расплакалась. Я слышал, как она всхлипывала за моей спиной, но не оборачивался, так как сознавал, что ей надо выплакаться — слишком долго она сдерживалась ради меня. Самое лучшее, думал я, пусть она поплачет и отдохнет, а потом мы будем продолжать наш трудный путь. Я не имел никакого понятия о том, что должно было так скоро случиться. Я вижу ясно, как она сидела тогда — и эти ее милые волосы распустились по плечам, я могу хоть сейчас нарисовать ее впалые щеки.

«О, если бы мы уехали! — сказала она. — Если бы я тебя отпустила!»

«Нет, — возразил я. — Даже теперь я не раскаиваюсь. Я не хочу раскаиваться: я сделал выбор и хочу выдержать до конца!..»

— И что же дальше?

— Наверху в небе что-то блеснуло и разорвалось, и я услышал: пули со свистом пролетели над нами, как горсть гороха, внезапно брошенная на пол. Оторванные осколки камней и куски кирпича взлетали и неслись вихрем вверх, потом все смолкло...

Он прижал руку к губам, смочил губы языком.

— Когда блеснул огонь, я обернулся... Знаете, она встала. Она встала и сделала шаг вперед. Как будто хотела подойти ко мне. Пуля попала ей в сердце.

Он замолчал и уставился на меня. Я почувствовал всю ту неловкость, какую чувствуешь обыкновенно в таких случаях. На одну минуту наши глаза встретились, потом он отвернулся к окну. Мы долго молчали. Когда я снова взглянул на него, он сидел, откинувшись в своем углу, с прижатыми к груди руками и грыз свои пальцы.

Вдруг он укусил себя за ноготь — и словно проснулся.

— Я понес ее, — сказал он, — к храмам на руках, как будто это нужно было сделать. Не знаю, почему они казались мне священными... Они такие древние, думал я... Она, должно быть, умерла мгновенно. Но я говорил с ней, пока нес ее, все время...

Он опять замолк.

— Я видел эти храмы, — сказал я отрывисто.

Он так живо воскресил в моей памяти эти уединенные залитые солнцем колоннады из осыпающегося песчаника!

— Это был коричневый, большой коричневый храм. Я сел на упавшую колонну и держал ее на руках. После первого переполоха наступила тишина. Немного погодя ящерицы выползли из своих нор и стали бегать, как будто ничего не случилось, ничего не изменилось... Было до жути тихо, солнце стояло так высоко и тени были так недвижимы... Даже тени от трав на колоннах были неподвижны, несмотря на гул и треск, раздававшийся в небе.

Насколько помню, аэропланы приближались с юга, а битва удалялась на запад. Один аэроплан был подбит, перевернулся и упал. Я помню это, хотя это меня нисколько не интересовало. Мне все казалось таким неважным. Аэроплан был похож на раненую чайку — знаете, как они трепещут еще некоторое время над водой. Мне было видно между колонн храма: он был весь черный на светлой голубой воде.

Три или четыре раза снаряды взрывались вдоль берега, затем все стихло. Каждый раз все ящерицы торопливо убегали и прятались на некоторое время. Это был весь вред, который причиняли аэропланы; только раз шальная пуля задела камень, на котором я сидел, провела свежую яркую борозду по его поверхности.

Когда тени увеличились, тишина показалась еще глубже. Странно то, — заметил он тоном человека, ведущего простой разговор, — что я не думал, я совсем не думал. Я сидел среди камней, держа ее на руках, как будто в летаргическом сне, как окаменелый.

Я не помню, как проснулся. Не помню, как одевался в этот день. Я знаю только, что очнулся у себя в конторе, пе-

редо мной лежали вскрытые письма, и мне казалось таким абсурдом, что я нахожусь здесь, между тем как сознавал, что в действительности я сижу окаменелый в храме Пестума с мертвой женщиной на руках. Я, как автомат, прочел письма и сразу забыл, о чем в них говорилось.

Он остановился, затем наступила долгая пауза. Вдруг я заметил, что мы уже едем по спуску от Чок-Фарм к Юстону. Я удивился, что время прошло так быстро. Я резко повернулся к нему и спросил решительным тоном, каким говорят «теперь или никогда!»:

— А вы видели еще сны?

— Да...

Казалось, он должен был сделать над собой усилие, чтобы окончить рассказ. Голос его был очень слаб.

— Только один раз, и то только на несколько мгновений, мне казалось, что я вдруг пришел в себя, сел, а труп лежал возле меня на камнях. Худой, костлявый труп — не она, знаете... слишком скоро... это была уже не она... Я, может быть, слышал голоса. Не знаю. Я только ясно сознавал, что люди проникли сюда, в наш уединенный уголок, и что это последнее оскорбление. Я встал и пошел через храм, потом увидал сперва одного солдата с желтым лицом, одетого в грязную белую форму, отделанную синим, потом еще нескольких, вскарабкавшихся на старинную стену погибшего города и присевших там на корточки. Это были маленькие, блестевшие на солнце фигурки, осторожно оглядывавшиеся.

Дальше я заметил еще нескольких, потом еще, в другом месте стены. Это был длинный неправильный ряд солдат в развернутом строе.

Человек, которого я увидел первым, привстал и что-то скомандовал, люди его соскочили со стены в кустарник и направились к храму. Он слез вместе с ними и повел их. Он шел прямо на меня и, когда увидел меня, остановился.

Сперва я смотрел на этих людей с любопытством, но когда увидел, что они направляются к храму, мне захотелось запретить им это, и я крикнул офицеру:

«Вы не смеете входить сюда, я здесь! Я здесь со своей покойницей!»

Он остановился, потом крикнул что-то на непонятном мне языке.

Я повторил свои слова.

Он крикнул опять, а я сложил руки и стоял неподвижно. Тогда он сказал что-то своим людям и направился ко мне. Он держал в руке саблю наголо.

Я знаками показывал ему, чтобы они ушли, но он подходил все ближе. Тогда я сказал ему спокойно и ясно:

«Вы не должны входить сюда. Это древние храмы, и я здесь со своей мертвой...»

Он подошел так близко, что я ясно мог разглядеть его лицо. У него было узкое лицо, тупые серые глаза и черные усы. На верхней губе у него был шрам, он был грязен и небрит. Он продолжал говорить непонятные вещи, должно быть, о чем-то спрашивал меня.

Теперь я знаю, что он меня боялся, но тогда не понял этого. Пока я старался разъяснить ему, он повелительно прервал меня, приказывая, должно быть, отойти в сторону.

Он хотел пройти мимо меня, но я схватил его за руку.

Я видел, как он изменился при этом в лице.

«Безумец! — закричал я. — Разве ты не видишь, что она умерла!»

Он попятился назад, посмотрел на меня бешеными глазами. Я видел, как блеснула в них решимость, жажда чего-то. Затем вдруг, мрачно нахмурив лицо, он замахнулся саблей — вот так, назад, — а потом проткнул меня...

Он сразу смолк.

Я заметил перемену ритма в движении поезда. Тормоза заскрипели, вагоны вздрогнули и столкнулись. Действительность уже захватывала своим шумом и гамом. Я увидал сквозь закоптелое окно вагона, электрические огни, освещавшие со своих высоких мачт серый туман, целый ряд пустых вагонов, мелькнувших на запасных путях, потом стрелку, зеленые и красные огни которой пронизывали мрачные сумерки Лондона. Я снова посмотрел на его осунувшееся лицо.

— Он воткнул мне саблю в сердце. С каким-то изумлением, не страхом, не болью, но именно изумлением почувствовал я, как сабля проткнула меня, как она прошла сквозь мое тело. Мне не было больно, знаете, мне совсем не было больно.

Показались желтые огни платформы, замелькали сперва быстро, затем медленнее, и остановились после сильного толчка. Неясные фигуры людей двигались по платформе.

— Юстон! — крикнул какой-то голос.

— Что вы сказали? Я не чувствовал ни боли, ни острого жгучего укола, только изумление, потом все окутала темнота. Разгоряченное, грубое лицо передо мной — лицо того, кто меня убил, — как будто удалялось. Затем оно совсем исчезло...

— Юстон! — взывали голоса снаружи. — Юстон!

Дверь вагона отворилась, впуская целый поток звуков, носильщик стоял перед нами и ждал. Треск захлопывающихся дверей, стук от подков извозчичьих лошадей, и сквозь все это — издали — неопределенный грохот лондонской мостовой. Тележка с зажженными фонарями мелькнула на платформе.

— Потом разверзлась тьма, целый поток тьмы разлился и поглотил все.

— Ваш багаж, сударь? — поинтересовался носильщик.

— И это был конец? — спросил я.

Он, очевидно, был в нерешительности. Наконец почти беззвучно ответил:

— Нет.

— Так что же?

— Я не мог к ней приблизиться. Она была на другой стороне храма. Потом...

— Ну, что же? — настаивал я.

— Кошмар! — крикнул он. — Именно кошмар! Боже мой! Гигантские птицы раздирали ее на куски и дрались между собой!

ЦВЕТЕНИЕ СТРАННОЙ ОРХИДЕИ

Покупка орхидей всегда сопряжена с известной долей риска.

Перед вами сморщенный бурый корень, — во всем остальном полагайтесь на собственное суждение, или на продавца, или на удачу — как вам угодно. Может, растение это обречено на гибель или уже погибло; может, вы сделали вполне солидную покупку, стоящую потраченных денег; а может — и так не раз бывало, — перед вашим восхищенным взором медленно, день за днем, начнет разворачиваться нечто невиданное: новое богатство формы, особый изгиб лепестков, более тонкая расцветка, необычная мимикрия. На нежном зеленом стебле расцветают разом гордость, краса и доходы — и как знать! — может, и слава. Ибо для нового чуда природы необходимо новое имя, и не естественно ли окрестить цветок именем открывшего его? «Джонсмития»! Что ж, бывали названия и похуже.

Может быть, надежды на такое счастливое открытие и сделали из Уинтера Уэдербэрна завсегдатая цветочных распродаж, — надежды и, вероятно, еще то обстоятельство, что у него не было в жизни никаких других сколько-нибудь интересных занятий. Это был робкий, одинокий, довольно никчемный человек со средствами, достаточными для безбедного существования, и недостатком духовной энергии, которая заставила бы искать занятий более определенных. Он мог бы с таким же успехом коллекционировать марки или монеты, переводить Горация, переплетать книги или открывать новые виды диатомеи*. Но вышло так, что он занялся выращиванием орхидей, и все его честолюбивые помыслы заключались в маленькой оранжерее.

— Почему-то мне кажется, — сказал он однажды за кофе, — что сегодня со мной непременно что-нибудь слу-

---

* Диатомея — кремнистая водоросль.

чится. — Говорил он медленно, так же как двигался и думал.

— О, ради бога, не говорите об этом, — воскликнула экономка, его кузина. Для нее туманное «что-нибудь случится» всегда означало лишь самое худшее.

— Нет, вы меня неверно поняли. Я не имею в виду ничего неприятного... хотя, что я, собственно, имею в виду, я и сам не знаю.

— Сегодня, — продолжал он, помолчав, — у Питерсов распродажа кое-каких растений из Индии и с Андаманских островов. Я загляну к ним, посмотрю, что у них там хорошего. Как знать, вдруг я приобрету что-нибудь ценное? Может, это предчувствие.

Он протянул чашку за второй порцией кофе.

— Это растения, собранные тем несчастным молодым человеком, о котором вы мне на днях рассказывали? — спросила экономка, наливая кофе.

— Да, — ответил он и задумался над кусочком поджаренного хлеба.

— Со мной никогда ничего не случается, — заговорил он, продолжая свои мысли вслух. — Почему, хотел бы я знать. С другими происходит все что угодно. Взять хотя бы Харви. Только на прошлой неделе в понедельник он нашел шестипенсовик, в среду все его цыплята заболели вертячкой, в пятницу приехала двоюродная сестра из Австралии, а в субботу он вывихнул ногу. Целый водоворот волнующих событий по сравнению с моей жизнью.

— Мне кажется, я бы предпочла поменьше волнений, — сказала экономка. — Не думаю, чтоб это было вам на пользу.

— Да, конечно, это беспокойно. Но все же... Вы подумайте, ведь со мной никогда ничего не случается. Когда я еще был мальчуганом, у меня никогда не бывало никаких приключений. Я рос и никогда не влюблялся. Так никогда и не женился. Хотел бы я знать, что испытывает человек, когда с ним случается что-нибудь действительно необычное. Этому охотнику за орхидеями было всего тридцать шесть лет, когда он умер, — на двадцать лет моложе

меня. А он был дважды женат, один раз разводился, четыре раза болел малярией и один раз сломал себе берцовую кость. Однажды он убил малайца, в другой раз его ранили отравленной стрелой. И в конце концов он погиб в джунглях от пиявок. Все это, разумеется, очень беспокойно, но зато как интересно, за исключением пиявок, пожалуй.

— Все это не пошло ему на пользу, я уверена, — сказала леди убежденно.

— Может быть, и нет. — Уэдербэрн взглянул на часы. — Двадцать три минуты девятого. Я выеду без четверти двенадцать, времени у меня хватит. Я думаю надеть летний пиджак — сегодня достаточно тепло, — серую фетровую шляпу и коричневые ботинки. Дождя, мне кажется...

Он кинул взгляд сперва на безоблачное небо и залитый солнцем сад за окном, затем с тревогой на лицо кузины.

— Я считаю, все-таки лучше взять зонтик, раз вы едете в Лондон, — сказала она тоном, не допускающим возражений. — Туда и обратно дорога не очень-то близкая.

Он вернулся под вечер в необычном для него возбуждении. Он совершил покупку. Редко случалось, чтоб Уэдербэрн действовал решительно, — на этот раз было именно так.

— Это ванды, — перечислял он, — а это дендробии и палеонофис.

Глотая суп, он любовно созерцал свои приобретения. Он разложил их перед собой на белоснежной скатерти и все время, пока обедал, сообщал кузине всяческие подробности о них. По заведенному обычаю каждую свою поездку в Лондон он заново переживал по возвращении, что доставляло удовольствие и ему и его слушательнице.

— Я так и знал, что сегодня что-нибудь случится. И вот я купил все это... Некоторые из них, — я почему-то положительно убежден в этом, — некоторые из них окажутся замечательными. Ну, как будто мне кто-то сказал, что они окажутся замечательными. Вот эта, — он указал на сморщенный корень, — не определена. Не то палеонофис, не то что-то другое. Может, это новый вид или даже новый

род. Это как раз последний экземпляр из того, что собрал бедняга Баттен.

— Мне она не нравится. У нее отвратительная форма.

— На мой взгляд, она пока лишена всякой формы.

— Ужасно не нравятся мне эти торчащие отростки.

— Завтра они спрячутся в горшке под землей.

— Похоже на паука, притворившегося мертвым. Уэдербэрн улыбался и, склонив голову набок, рассматривал корень.

— Да, признаться, это не очень красивый образчик. Но об этих растениях никогда нельзя судить по корню. Может оказаться прекраснейшая орхидея. Сколько дел у меня завтра! Сегодня вечером я должен обдумать, как мне рассадить все это, а уж завтра я примусь за работу.

— Беднягу Баттена нашли в мангровом болоте не то мертвым, не то умирающим, — вскоре заговорил он опять. — Одна из этих орхидей лежала под ним, примятая его телом. Уже несколько дней перед тем он был болен местной лихорадкой, — очевидно, он потерял сознание: эти мангровые болота очень вредны для здоровья. Говорят, болотные пиявки высосали из него всю кровь, — всю до единой капли. Может, именно вот эта орхидея, которую он пытался достать, и стоила ему жизни.

— От этого она не кажется мне лучше.

— Пусть жены сетуют, удел мужей трудиться, — сказал Уэдербэрн с глубочайшей серьезностью.

— Только подумать: умереть без всякого комфорта, в каком-то отвратительном болоте. Лежать в лихорадке и ничего, кроме хлородина и хины, — если мужчин предоставить самим себе, они будут питаться одним хлородином и хиной, — и никого поблизости, кроме туземцев! Говорят, на Андаманских островах все туземцы совершенные дикари, во всяком случае едва ли можно ждать от них хорошего ухода, раз никто не обучал их. И все для того, чтобы в Англии люди могли покупать орхидеи!

— Разумеется, удобств тут мало, но некоторые находят наслаждение в таком образе жизни, — сказал Уэдербэрн. — Во всяком случае, туземцы, которые участвовали в его экспедиции, были настолько культурны, что сберегли собранные им растения и передали их потом его коллеге, орнитологу. Хотя, правда, они дали орхидеям завянуть и не смогли объяснить, к какому виду они принадлежат. Именно поэтому эти растения так интересуют меня.

— Именно поэтому они вызывают во мне отвращение. Не удивлюсь, если окажется, что на них бациллы малярии. Только представить себе: на этих безобразных корешках лежало мертвое тело! Боже мой, мне сначала это не пришло в голову! Нет, заявляю категорически: я больше не в состоянии куска в рот взять.

— Я уберу их со стола, если хотите, и переложу на скамейку у окна. Мне их оттуда также хорошо видно.

В течение последующих дней он действительно с головой ушел в работу: возился в своей оранжерейке с углем, кусочками тикового дерева, мохом и другими таинственными аксессуарами всякого, кто выращивает орхидеи. Он считал эти дни преисполненными событий. По вечерам он рассказывал друзьям о новых орхидеях. И снова и снова говорил о своем предчувствии чего-то необычного.

Несколько ванд и дендробий погибло, несмотря на все заботы, но странная орхидея вскоре начала показывать признаки жизни. Он был в восторге, когда обнаружил это, и тут же потащил кузину в оранжерею, не дав ей доварить варенье.

— Это бутон, — пояснил он, — а тут скоро будет масса листьев. А вот эти маленькие отростки — это воздушные корешки.

— Как будто из бурой массы торчат белые пальцы, — сказала экономка. — Нет, они мне не нравятся.

— Почему же?

— Не знаю. Похоже на пальцы, готовые схватить. Я не вольна в своих симпатиях и антипатиях.

— Не могу, конечно, поручиться, но, насколько мне известно, подобных воздушных корешков нет ни у одного вида орхидей. Впрочем, может, это мая фантазия. Видите, на концах они немного сплющены.

— Они мне не нравятся, — повторила экономка и, вздрогнув, отвернулась. — Я понимаю, это глупо с моей стороны, и мне очень жаль, раз вы-то от них в таком восторге. Но у меня из головы не выходит этот труп.

— Но, может, это вовсе не то самое растение. Ведь это только мои догадки.

Она пожала плечами:

— Все равно, они мне не нравятся.

Уэдербэрна слегка задело такое отвращение к его орхидее. Но это не помешало ему толковать об орхидеях вообще и об этой в частности, как только у него являлась к тому охота.

— Столько всегда занятного с этими орхидеями, — сказал он как-то, — столько возможностей и неожиданностей. Дарвин изучал их оплодотворение и доказал, что все строение самого обыкновенного цветка орхидеи приспособлено к тому, чтоб насекомые могли переносить пыльцу с растения на растение. Но существует множество уже известных видов орхидей, которые не могут быть оплодотворены таким образом. Например, некоторые из киприпедий, — неизвестно ни одно насекомое, которое могло бы переносить с них пыльцу. А у некоторых орхидей вообще никогда не находили семян.

— Но как же вырастают новые цветы?

— Из усов и клубней и тому подобное. Это легко объяснимо. Непонятно другое: для чего служат цветы? Весьма вероятно, — добавил он, — что моя орхидея окажется в этом отношении совершенно необыкновенной. Если так, я буду ее изучать. Я давно уж собираюсь заняться исследованиями, как Дарвин, но все как-то не находилось времени или что-нибудь мешало. Знаете, листья уже начинают разворачиваться. Мне бы очень хотелось, чтоб вы зашли взглянуть на них.

Но она заявила, что в оранжерее слишком душно, у нее там разбаливается голова. Она видела растение уже два раза, — в последний раз воздушные корешки, к сожалению, напомнили ей щупальца, которые как будто тянутся к добыче. Они стали преследовать ее во сне: будто растут

прямо на глазах и стараются ее схватить. Поэтому она окончательно решила больше не смотреть на орхидею, и Уэдербэрну пришлось одному восхищаться развернувшимися листьями. Они были обычного размера, широкие, темно-зеленые и блестящие, покрытые у основания пурпурными пятнышками. Ему никогда еще не встречались такие листья. Он поместил орхидею на низкую скамью под термометром, а рядом устроил нехитрое приспособление: на горячие трубы батареи капала из крана вода, и воздух вокруг насыщался парами. Все послеобеденное время Уэдербэрн теперь проводил в мечтах о приближающемся цветении странной орхидеи.

И, наконец, великое событие свершилось. Едва войдя в маленькое, крытое стеклом помещение, он тотчас понял, что бутон распустился, хотя огромный палеонофис скрывал от него сокровище. В воздухе носился новый аромат — сильный, необычайно сладкий, заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями оранжерее. Уэдербэрн поспешил к орхидеям, и — о радость! — на свисающих зеленых ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот одуряющий аромат. Уэдербэрн замер от восторга.

Цветы были белые, с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках; тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. Уэдербэрн тотчас понял, что это совершенно новый вид. Но какой нестерпимый запах! Как душно в оранжерее! Цветы поплыли у него перед глазами.

Надо проверить, не слишком ли высока температура. Он шагнул к термометру. Внезапно все закачалось. Кирпичный пол поднялся и опустился. Белые цветы, зеленые листья, вся оранжерея — все накренилось, потом подскочило вверх.

В половине пятого, согласно раз и навсегда заведенному порядку, экономка приготовила чай. Но Уэдербэрн к столу не явился.

«Никак не может расстаться со своей противной орхидеей, — подумала она и подождала еще минут десять. —

Может, у него остановились часы? Надо пойти позвать его».

Она направилась прямо к оранжерее, открыла дверь и окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела что-то лежащее на кирпичном полу у горячих труб батареи.

С минуту она стояла неподвижно.

Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе, — сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки.

Сперва она не поняла. Но тут же увидела под одним из хищных щупальцев на щеке тонкую струйку крови.

Крикнув что-то нечленораздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок.

От ошеломляющего запаха цветов у нее начала кружиться голова. Как они вцепились в него! Она тянула тугие веревки, а все вокруг плыло, как в тумане. Она чувствовала, что теряет сознание, и понимала, что этого нельзя допустить. Оставив Уэдербэрна, она поспешно открыла ближайшую дверь, вдохнула свежий воздух, и тут ее осенила блестящая мысль. Схватив цветочный горшок, она швырнула его в стекло в конце оранжереи. Затем с новыми силами принялась тащить неподвижное тело Уэдербэрна. Горшок со странной орхидеей свалился на пол. С мрачным упорством растение все еще цеплялось за свою жертву. Надрываясь, она тащила к выходу тело вместе с орхидеей. Затем ей пришло в голову отрывать присосавшиеся корешки по одному, и уже через минуту Уэдербэрн был свободен. Он был бледен, как полотно, кровь текла у него из многочисленных круглых ранок. Поденный рабочий, привлеченный звоном бьющегося стекла, подошел в тот момент, когда она окровавленными руками волокла из оранжереи безжизненное тело. На мгновенье он представил себе невероятные вещи.

— Скорее воды! — крикнула она, и ее голос рассеял его фантазии.

Когда поденщик с необычным для него проворством вернулся, неся воду, он застал экономку всю в слезах; голова Уэдербэрна лежала у нее на коленях; она стирала кровь с его лица.

— Что случилось? — спросил Уэдербэрн, приоткрыв глаза, и тут же закрыл их снова.

— Бегите живей, скажите Энни, пусть сейчас же идет сюда, а потом за доктором Хэддоном, — сказала она поденщику. И добавила, видя, что он медлит: — Я все расскажу, как только вы вернетесь.

Вскоре Уэдербэрн вновь открыл глаза. Заметив, что его тревожит необычайность его позы, она объяснила:

— Вам стало дурно в оранжерее.

— А орхидея?

— Я пригляжу за ней.

Уэдербэрн потерял много крови, но в общем особенно не пострадал. Ему дали бренди с каким-то розовым мясным экстрактом и уложили в постель. Экономка вкратце рассказала доктору Хэддену обо всем, что произошло.

— Сходите в оранжерею и посмотрите сами, — предложила она.

В открытую дверь врывался холодный воздух, приторный запах почти исчез. Воздушные корешки, разорванные и уже увядшие, валялись среди темных пятен на кирпичном полу. Ствол орхидеи сломался при падении горшка. Края лепестков сморщились и побурели. Доктор наклонился было разглядеть их получше, заметил, что один из воздушных корешков еще слабо шевелится, и передумал.

На следующее утро странная орхидея все еще лежала там, почерневшая, испускающая запах гнили. От утреннего ветерка дверь поминутно хлопала, и весь выводок орхидей Уэдербэрна съежился и завял. Зато сам Уэдербэрн ликовал у себя в спальне, упиваясь рассказами о своем необыкновенном приключении.

КРАСНАЯ КОМНАТА

Могу вас уверить, — сказал я, — что потребуется очень осязаемое привидение, чтобы испугать меня. И я встал перед камином со стаканом в руке.

— Это ваше собственное желание, — сказал сухорукий человек, бросив на меня косой взгляд.

— Я живу уже двадцать восемь лет на свете, — сказал я, — и до сих пор еще не видел привидений.

Старая женщина сидела, пристально глядя в огонь; ее бледные глаза были широко раскрыты.

— Ай! — вмешалась она. — Вот вы прожили двадцать восемь лет, а, наверно, не встречали ничего похожего на этот дом. Немало вы еще увидите, коли у вас на плечах только двадцать восемь лет. — Она медленно качала головой из стороны в сторону. — Немало можно еще увидеть на свете горя!

Я подозревал, что старики стараются усилить своим настойчивым жужжанием призрачные ужасы этого дома. Я поставил на стол свой пустой стакан, окинул взглядом комнату и мельком уловил в конце ее, в невероятном старинном зеркале свое отражение, укороченное и расширенное до невозможности.

— Ну так что ж, — сказал я, — если я что-нибудь увижу сегодня ночью, я научусь многому; ведь я подойду к делу без всякой предвзятости.

— Это ваше собственное желание, — снова повторил сухорукий.

Я услышал стук палки и тяжелые шаги снаружи по плитам коридора. Дверь заскрипела на петлях, и в комнату вошел второй старик, более согнутый, более морщинистый, более дряхлый, чем первый. Он опирался на одинокий костыль, глаза его были защищены щитком, а полувывороченная бледно-розовая нижняя губа отвисла, обнажая разрушающиеся желтые зубы. Он направился к креслу по другую сторону стола, грузно опустился в него и начал кашлять. Человек с сухой рукой бросил на вновь пришедшего быстрый взгляд, отражавший явную неприязнь; старуха не обратила внимания на появление нового гостя и продолжала все так же пристально смотреть в огонь.

— Я говорю, что это ваша собственная воля, — сказал сухорукий, когда кашель на минуту утих. — Почему вы не пьете? — спросил он новоприбывшего, подвигая к нему пиво.

Старик налил себе полный стакан трясущейся рукой; расплескал на стол. Чудовищная тень его корчилась на стене, передразнивая его движения.

Я должен сознаться, что совсем не ожидал найти таких гротескных стариков. Я всегда находил в дряхлости что-то нечеловеческое, что-то атавистическое и унижающее; у стариков, мне кажется, человеческие свойства почти нечувствительно отпадают день за днем. Эти трое вызывали во мне чувство неловкости своим натянутым молчанием, своими согнутыми фигурами, своим явным недружелюбием ко мне и друг к другу.

— Если, — сказал я, — вы укажете мне эту вашу комнату с привидением, я прекрасно устроюсь в ней на ночь.

Старик с кашлем внезапно отдернул голову назад, заставив меня даже вздрогнуть, и бросил на меня из-под зонтика еще один взгляд своих красных глаз. Но никто не ответил мне. Я подождал минуту, переводя глаза с одного на другого.

— Если, — сказал я несколько громче, — если вы укажете мне эту комнату с привидением, я избавлю вас от необходимости занимать меня.

— Там есть свеча на плите за дверью, — сказал сухорукий; обращаясь ко мне, он упорно смотрел на мои ноги. — Но если вы хотите отправиться в красную комнату сегодня ночью...

— Да уж если не сегодня, то когда же? — сказала старуха.

— О... идите один!

— Прекрасно, — ответил я. — А как мне пройти?

— Идите все прямо по коридору, — сказал старик, — пока не придете к двери; за ней вы найдете винтовую лест-

ницу и на середине ее площадку и другую дверь, обитую байкой. Пройдите через нее и спуститесь по коридору до конца. Красная комната будет у вас по левую руку вверх по ступенькам.

— Правильно ли я запомнил? — сказал я и повторил его указания. Он поправил меня в одной мелочи.

— Вы в самом деле идете туда? — спросил человек со щитком. Он в третий раз окинул меня взглядом, сопровождаемым странным, неестественным подергиванием лица.

— Да уж если не туда, так куда же? — сказала старуха.

— Я для того и приехал, — сказал я и направился к выходу. Старик со щитком над глазами встал и, пошатываясь, обошел стол, чтобы быть поближе к остальным и к огню. У двери я остановился и оглянулся на них: они сидели близко друг к другу, темные на фоне огня, и глядели на меня через плечо с сосредоточенным выражением на своих дряхлых лицах.

— Спокойной ночи, — сказал я, открывая дверь.

— Это ваша собственная воля, — повторил сухорукий.

Я оставил дверь широко раскрытой, пока свеча не разгорелась как следует; потом закрыл их и пошел по холодному, гулкому коридору.

Должен сознаться, что странные фигуры этих трех старых пенсионеров, на попечение которых остался замок и потемневшая старинная комната управляющего, где они собрались, немного подействовали на меня, несмотря на усилия сохранить трезвое настроение. Эти люди, казалось, принадлежали к другому веку, более раннему, когда все явления духовной жизни отличались от явлений нашего времени: были менее достоверны, — к веку, когда верили в предзнаменования и колдунов, а существование привидений не вызывало ни в ком сомнений. Самое существование этих стариков представлялось мне призрачным; покрой их платья — порождением умершей мысли, убранство и устройство их комнаты — призрачными мыслями исчезнувших людей, которые скорее тяготили и разделяли жизнь сегодняшнего дня.

Но, сделав над собою усилие, я отогнал от себя эти мысли. В длинном подземном коридоре, по которому гулял сквозняк, было холодно и пыльно, и моя свеча то и дело вспыхивала, заставляя тени корчиться и вздрагивать. На винтовой лестнице сверху и снизу отзывалось эхо; позади меня двигалась одна тень, а впереди, вверх по лестнице, бежала другая. Я дошел до площадки и остановился там на минуту, прислушиваясь к почудившемуся мне шуршанию. Затем, успокоенный полнейшей тишиной, я распахнул обитую байкой дверь и очутился в коридоре.

Вид его едва ли соответствовал моим ожиданиям; лунный свет, проникая сквозь огромное окно на большой лестнице, выделял все предметы яркой, черной тенью или серебристым сиянием. Все стояло на своем месте, и можно было подумать, что дом покинут только вчера, а не восемнадцать месяцев назад. В канделябр были вставлены свечи, а пыль, скопившаяся на коврах и натертом полу, лежала таким ровным слоем, что ее невозможно было разглядеть при лунном свете. Я собирался двинуться дальше, как вдруг внезапно остановился. Над площадкой стояла бронзовая группа, скрытая от меня выступом стены; тень ее с необыкновенной отчетливостью падала на белые плиты, вызывая представление о каком-то скорчившемся человеке, подстерегающем меня. Я простоял неподвижно, быть может, полминуты. Затем, засунув руку в карман, где находился револьвер, я двинулся вперед и увидел Ганимеда с орлом, блестевшим в лунном сиянии. Этот инцидент на время успокоил мои нервы, и фарфоровый китаец, голова которого молчаливо закачалась, когда я проходил мимо, едва привлек мое внимание.

Дверь в красную комнату и ступени к ней находились в темном углу. Я принялся водить из стороны в сторону свечой, прежде чем открыть дверь, чтобы составить себе ясное представление о характере покоев, в которых я находился. «Вот тут, — думал я, — был найден мой предшественник», — и воспоминание об этом кольнуло меня страхом. Я бросил через плечо взгляд на озаренного луной Ганимеда и с некоторой поспешностью открыл дверь в

красную комнату, полуоборотив лицо в сторону площадки. Я вошел, сразу закрыл за собой дверь, повернул ключ, который нашел в замке с внутренней стороны, и остановился, высоко держа свечу и разглядывая обстановку, в которой будет протекать мое бдение, — знаменитую красную комнату Лотарингского замка, где умер юный герцог. Или, скорее, где он начал умирать, потому что он открыл дверь и упал головой вперед на ступеньки, по которым я только что поднялся. Таков был конец его бдения, его доблестной попытки разбить предание о призраке, живущем в этом месте, «Никогда, — подумал я, — апоплексия не оказала еще большей услуги суеверию»... С этой комнатой связывались и другие, более старые истории, вплоть до истории о робкой жене и о трагической шутке мужа, хотевшего напугать ее. Оглядывая кругом эту большую мрачную комнату, с ее полными теней оконными нишами, углами и альковами, можно было легко понять, как расцвели предания в этих мрачных углах, в этой плодотворящей тьме. Моя свеча казалась в ее обширности крошечным язычком огня, не способным озарить противоположный конец комнаты, и оставляла за своим островком света целый океан тайны и намеков.

Я решил немедленно произвести систематический осмотр комнаты и рассеять фантастическое влияние темноты, пока оно не овладело мной. Проверив замок двери, я начал ходить по комнате, осматривая со всех сторон каждый предмет обстановки; я приподнял оборки кровати и широко раздвинул ее занавеси. Перед тем, как закрыть ставни, я приподнял жалюзи я исследовал запоры окон, потом нагнулся вперед и заглянул вверх — в черноту широкого камина — и постучал по темной дубовой обшивке, ища какого-нибудь скрытого отверстия. В комнате висели два больших зеркала, каждое с парой канделябров, со свечами, а на камине стояли свечи в китайских подсвечниках. Я зажег все свечи одну за другой. В камине лежал уголь — непредвиденный знак внимания со стороны старого управляющего. Я зажег огонь и, когда он хорошо разгорелся, стал к нему спиной и снова осмотрел комнату. Я пододвинул обитое ситцем кресло и стол, чтобы образовать перед собой нечто вроде баррикады, и положил на стол заряженный револьвер. Этот тщательный осмотр принес мне пользу, но все же я нашел, что темнота в отдельных углах и полная тишина слишком возбуждающе действуют на мое воображение.

Эхо, отвечавшее на шорох, и потрескивание огня не могли служить мне успокоением. Тень в алькове (особенно, наверху) отличалась неопределимым свойством намекать на чье-то присутствие, странной способностью внушать мысль о притаившемся живом существе, мысль, которая так легко возникает в безмолвии и одиночестве. Наконец, чтобы успокоить себя, я вошел в альков со свечой и удостоверился, что там нет ничего осязаемого. Я поставил подсвечник на пол у алькова и оставил его там.

К этому времени я находился уже в состоянии значительного нервного напряжения, хотя рассудок мой не находил к этому никакой основательной причины. Мысли мои, однако, были вполне ясны. Я совершенно непритворно сознавал, что ничего сверхъестественного не может произойти, и, чтобы занять время, начал складывать стихи о своеобразной легенде этого места. Я попробовал громко декламировать их, но эхо показалось мне неприятным. По этой же причине я бросил по прошествии некоторого времени беседу с самим собой о призраках и их визитах к живым. Мои мысли вернулись к трем старым развалинам там, внизу, и я попытался удержать их на этом предмете. Мрачное сочетание черного и красного в комнате смущало меня; даже при семи свечах помещение казалось темным. Свеча в алькове неровно вспыхивала, а колебание пламени в камине заставляло теня и полутени беспрерывно меняться и шевелиться. Оглядываясь вокруг, чтобы найти какое-нибудь средство против этого, я вспомнил о свечах, которые видел в коридоре, и, сделав над собой легкое усилие, вышел в лунный свет, держа в руках свечу и не закрывая за собой дверей. Вскоре я вернулся с целым десятком свечей. Я разместил их в различных безделушках, которыми щедро была украшена комната, зажег их и рас-

ставил в тех местах, где тени были всего гуще. — некоторые на полу, некоторые в углублениях окон, — пока, наконец, мои семнадцать свечей не были размещены таким образом, что каждый дюйм комнаты оказался непосредственно освещенным по крайней мере одной из них. Мне пришло в голову, что, если привидение появится, придется предупредить его, чтобы оно не споткнулось. Теперь комната была освещена совсем ярко. В этих маленьких струящихся язычках заключалось что-то очень веселое и ободряющее, а необходимость снимать с них нагар дала мне занятие и вызвала облегчающее сознание, что время проходит.

Однако, несмотря на это, мысль о предстоящем бодрствовании угнетала меня. Было уже за полночь, когда свеча в алькове внезапно погасла и черная тень снова прыгнула на свое место. Я не заметил, как она потухла; я просто повернулся и увидел, что темнота стояла уже там; так иногда двинешься и заметишь вдруг неожиданное присутствие чужого.

«Черт возьми! — произнес я вслух. — Здоровый сквозняк!» И, взяв со стола спички, я прошел небрежной походкой через комнату, чтобы снова осветить угол. Первая спичка не загорелась и, когда я чиркнул вторую, что-то мигнуло на стене передо мной. Я невольно повернул голову и увидел, что обе свечи на маленьком столике около камина погасли. «Странно! — сказал я, — Не сделал ли я этого сам в припадке рассеянности?»

Я вернулся обратно, снова зажег одну из свечей и, делая это, увидел, что свеча в правом канделябре одного из зеркал замигала и погасла, а за ней почти немедленно последовала ее соседка. Тут не могло быть ошибки. Пламя исчезло, как будто кто-то зажимал фитили между пальцами, и они сразу почернели, не светясь и не дымя. В то время, как я стоял, раскрыв рот, свеча у подножья кровати погасла, и тени, казалось, приблизились ко мне еще на один шаг.

— Нет, это не пройдет! — сказал я, и сначала одна, а потом другая свеча на камине погасла.

— В чем дело? — воскликнул я со странной визгливой нотой, каким-то образом проникшей в мой голос. При этом свеча на шкафу погасла, и та, которую я снова зажег в алькове, последовала за ней.

— Ого! — сказал я. — Эти свечи заколдованы!

Я говорил с полуистерической шутливостью, чиркая при этом спичкой, чтобы зажечь свечи на камине. Мои руки так сильно дрожали, что я дважды провел спичкой мимо шероховатой бумаги спичечной коробки. Когда камин снова выступил из темноты, в самом отдаленном углу у окна погасли две свечи. Но я снова зажег той же спичкой более крупные свечи у зеркала и на полу около порога двери и таким образом, казалось, на минуту одержал верх над силой, гасившей их. Но тут одним порывом исчезло сразу четыре огня в различных углах комнаты, и я с дрожащей торопливостью зажег другую спичку и остановился в нерешительности, не зная, куда ее поднести.

Пока я стоял таким образом, колеблясь, невидимая рука, казалось, смахнула две свечи на столе. С криком ужаса я бросился к алькову, потом в угол, а затем к окну, успев зажечь три свечи в то время, как две другие погасли на камине; затем, придумав лучший способ, я бросил спички в обшитый железом ящик для бумаг в углу и взял в руку подсвечник. Благодаря этому я избегал проволочки зажигания спичек. Но, несмотря ни на что, свечи упорно гасли, и тени, которых я боялся и против которых боролся, снова вернулись и стали подползать ко мне, отвоевывая шаг то с одной, то с другой стороны. Это напоминало неровную грозовую тучу, сметающую звезды на своем пути: время от времени одна из них загоралась на минуту и снова исчезала. Теперь я почти обезумел от ужаса перед надвигающейся тьмой, и самообладание покинуло меня... Я скакал, задыхающийся и всклокоченный, от свечи к свече в тщетной борьбе с этим неумолимым наступлением. Я разбил себе об стол бедро, я опрокинул стул, я споткнулся и упал, стащив при падении скатерть со стола. Моя свеча откатилась от меня, и я, поднявшись на ноги, схватил другую. Она внезапно погасла, когда я размахивал ею над столом,

задутая, по всей вероятности, ветром, вызванным моим резким движением. И немедленно же обе оставшиеся свечи последовали за ней. Но в комнате все еще был свет — красное пламя, отгонявшее от меня тени. Камин! Конечно, я мог просунуть свою свечу между перекладинами и снова зажечь ее.

Я повернулся к тому месту, где между пылающими угольями все еще плясало пламя, разбрасывая по мебели красные отблески: но не успел я сделать и двух шагов по направлению к решетке, как огонь тотчас же начал колебаться и погас, жар исчез, отблески заметались и померкли и, когда я всовывал свечу между перекладинами, темнота сомкнулась вокруг меня, как закрывается глаз, окутала меня удушающим объятием, запечатала мое зрение и раздавила последние остатки рассудка в моем мозгу. Свеча выпала из моих рук. Я простер руки в тщетном усилии оттолкнуть от себя давящий мрак и, возвышая голос, вскрикнул изо всех сил — раз, другой, третий. Затем я, должно быть, вскочил, шатаясь, на ноги. Я знаю, что вспомнил озаренный луной коридор и, втянув голову, закрыв лицо руками, бросился к двери.

Но я забыл точное место, где была дверь, и тяжело стукнулся об угол кровати. Я отшатнулся назад, повернулся и получил удар или сам ударился о какой-то громоздкий предмет. У меня осталось смутное воспоминание о том, как я метался таким образом, ударяясь в темноте, о судорожной борьбе и о собственных диких криках, которые я испускал, устремляясь то туда, то сюда, о тяжелом ударе, полученном под конец в лоб, об ужасном ощущении падения, длившемся целую вечность, о своем последнем безумном усилии удержаться на ногах... затем я ничего больше не помню.

Я открыл глаза при свете дня. Голова моя была неуклюже забинтована и сухорукий обмывал мне лицо. Я оглянулся кругом, стараясь вспомнить, что произошло. Я повел глазами в угол и увидел старуху, на этот раз уж не рассеянную; она капала в стакан какое-то лекарство из маленького синего флакона.

— Где я? — спросил я. — Я, как будто. припоминаю вас и все-таки не могу понять, кто вы?

Тогда они рассказали мне все, и я выслушал историю об обитаемой привидением красной комнате, как слушают сказку.

— Мы нашли вас на заре, и у вас была кровь на губах и на лбу.

Воспоминание о пережитом возвращалось ко мне очень медленно.

— Теперь вы верите, — сказал старик, — что в комнате не чисто?

Он больше уж не обращался со мной, как человек, встречающий незваного гостя, а как сочувствующий в беде друг.

— Да, — сказал я.

— И вы видели призрак? А мы, которые прожили здесь всю свою жизнь, так и не взглянули на него. Потому что мы никогда не осмеливались... Скажите-ка, это действительно старый граф?..

— Нет, — сказал я, — не он...

— Я говорила тебе, — сказала старушка со стаканом в руке, — это его бедная молодая графиня, которая испугалась...

— Нет, не она, — сказал я. — Там нет ни привидения графа, ни призрака графини; там вообще нет призрака, но хуже, гораздо хуже...

— Ну? — спросили они.

— Там худший из всех ужасов, преследующих жалкого смертного человека, — сказал я, — и это — страх во всей своей наготе. Страх, который не выносит ни света, ни звука, который не считается с разумом, который оглушает, опутывает темнотой и подавляет. Он преследовал меня, когда я шел по коридору, он боролся со мной в комнате...

Я резко остановился. Наступило молчание. Моя рука поднялась к перевязке.

Тогда человек со щитком над глазами вздохнул и заговорил:

— Так и есть, я знал это. Власть темноты. Темнота прячется там всегда. Вы можете почувствовать ее даже днем,

даже в яркий летний полдень, в драпировках, в занавесках... она будет таиться за вами, как бы вы ни осматривались кругом. В сумерках она ползет по коридору и преследует вас так, что вы не осмеливаетесь обернуться. В этой комнате обитает страх — черный страх, и он останется жить там, пока будет стоять этот дом греха.

ПАУЧЬЯ ДОЛИНА

Когда три всадника в полдень круто обогнули излучину потока, перед ними открылась широкая, просторная долина. Прихотливо-извилистый каменистый овраг, вдоль которого они долго преследовали беглецов, перешел в широкий откос, и все трое одновременно съехали с тропинки и направились к маленькому пригорку, поросшему масличными деревьями; на пригорке они остановились: двое впереди, а немного сзади их третий всадник на коне с серебряной наборной уздой.

Несколько мгновений они жадно обшаривали глазами огромное пространство внизу. Пустынное, оно уходило вдаль, только кое-где виднелись купы иссохших терновых кустов, а еще дальше туманные намеки на какие-то теперь уже пересохшие овраги уныло прорезывали желтую траву. Пурпурные дали сливались с голубоватыми склонами далеких холмов — холмов, быть может, зеленеющих, а под ними как будто невидимо поддерживаемые и висящие в лазури высились горы со снежными вершинами, которые разрастались все шире и смелее к северо-западу, по мере того как бока долины сходились. И долина развертывалась к западу, заканчиваясь где-то под самым небом темным пятном, которое говорило, что там уже начинается лес. Но не к востоку и не к западу были устремлены взоры всадников — они упорно смотрели вниз, в долину.

Первым нарушил молчание сухощавый человек со шрамом на губе.

— Нигде нет... — произнес он со вздохом разочарования. — Да что — ведь у них был в распоряжении целый день!

— Но они и не подозревают, что мы преследуем их по горячим следам, — сказал маленький человек на белой лошади.

— Ей-то уж следовало бы это знать, — промолвил предводитель с горечью, как будто говоря с самим собой.

— Они не могут уйти далеко — у них всего один мул. И весь сегодняшний день у девушки шла кровь из ноги...

Глаза всадника на коне с серебряной уздечкой сверкнули гневом.

— Вы думаете, я этого не заметил? — огрызнулся он.

— Сказать это все-таки не лишнее, — прошептал маленький человек про себя.

Сухощавый всадник со шрамом на губе безучастно таращил глаза и говорил:

— Они едва ли успели перейти долину, и если мы будем скакать... — Он кинул взгляд на белую лошадь и замолчал.

— Чтобы черт побрал всех белых лошадей! — произнес всадник на коне с серебряной уздечкой и повернулся, чтобы взглянуть на белую лошадь.

Маленький человек, глядя куда-то между меланхолических ушей своей лошади, проговорил:

— Я сделал все, что мог.

Двое других снова некоторое время пристально смотрели в долину. Сухощавый провел по губе верхней частью кисти руки.

— Двинемся! — внезапно воскликнул человек на коне с серебряной уздечкой.

Маленький всадник дернул за повод, за ним другие. Мелкая дробь лошадиных копыт посыпалась по примятой траве — кавалькада снова поскакала по следам беглецов.

Они осторожно пробирались вдоль длинного откоса и наконец, миновав заросли колючих кустов с сухими рогатыми ветками странной формы, попали в долину. Следы тут становились едва приметными: почва была сухая, бес-

плодная; только и была здесь опаленная мертвая трава, лежавшая по земле. И все-таки, прижавшись в шеям лошадей, напряженно вглядываясь, то и дело останавливаясь, всадники не теряли следа беглецов.

Попадались вытоптанные места, погнутые и сломанные былинки жесткой травы, и опять как будто намеки на след ноги. Однажды предводитель заметил темное пятно крови там, где шла девушка-метиска. При этом он шепотом назвал ее безумной.

Сухощавый всадник держался ближе к предводителю, а маленький, словно во сне, скакал на белой лошади позади. Так они молча ехали гуськом: всадник на коне с серебряной уздечкой указывал путь. Спустя некоторое время маленькому всаднику на белой лошади уже казалось, что во всем мире полная тишина. Он очнулся от забытья. Если не считать позвякиванья копыт и сбруи, вся огромная долина как будто охраняла эту задумчивую тишину живописной картины.

Перед ним ехали двое, внимательно нагибаясь влево и невозмутимо покачиваясь в такт шагу лошадей. Тени их, как молчаливые, причудливо-заостренные и бесшумные спутники, шли перед ними, а ближе был его собственный сухой, скорченный контур. Он посмотрел вокруг. Что это такое? И вспомнил, что ведь здесь, в ущелье, должно быть эхо и, кроме того, непрерывный аккомпанемент увертливых голышей. Но что же еще? Нет ни единого дуновения. Огромная, безмолвная равнина, однообразная полуденная дрема. И лазурь — открытая и ясная, если не считать тумана, темным покрывалом висевшего в верхней части долины.

Он выпрямился, тряхнул уздечкой и собрался свистнуть, но у него невольно вырвался вздох. Он повернулся в седле и некоторое время глядел в отверстие узкого горного прохода, покинутого ими. Как голо! Голые откосы с обеих сторон, ни единого признака какого-нибудь животного или дерева, а человека и подавно. Что за местность! Что за пустыня! И он снова принял прежнюю позу.

На мгновение он ощутил радость: изогнутой пурпурно-черной веткой сверкнула змея и исчезла в коричневой траве. Все-таки в этой адской долине была жизнь! А затем, как будто с целью еще больше порадовать его, легкое дуновение коснулось его лица, послышался какой-то шепот, то усиливавшийся, то совсем замиравший, и он заметил, что колючий черноногий куст на маленьком холмике чуть-чуть шевельнулся — это был первый предвестник ветерка. Лениво смочил он слюной палец и поднял его вверх.

Затем он резко осадил лошадь, чтобы избегнуть столкновения с сухощавым всадником, который, потеряв следы, остановился. Как раз в этот момент он поймал взгляд предводителя, направленный на него. Тогда он на несколько мгновений заставил себя проявить интерес к преследованию. Но как только двинулись дальше, он вновь погрузился в изучение тени своего хозяина, его шляпы и плеча, которые появлялись и исчезали в контурах сухощавого всадника. Так они скакали четыре дня где-то за пределами мира в этих безлюдных и безводных местах, не имея никакой пищи, кроме нескольких кусков сушеного мяса под седлами; скакали через скалы и горы, где, наверное, никто, кроме этих беглецов, доселе не бывал, — и все из-за этого!

Это было девушкой, просто своенравным ребенком! А между тем города полны людей, девушек и женщин, чтобы исполнять малейшее желание этого человека! «Так почему же ради каприза страсти ему нужна вот именно эта, единственная?» — спросил сам себя маленький всадник, негодуя на весь мир, и облизал свои сухие губы почерневшим языком. Таков уж был нрав у хозяина — вот и все, что он знал. Все, значит, из-за того, что они посмели бежать от него...

Теперь он видел длинный ряд высоких перистых камышей, дружно склонявшихся, а затем — шелковые хвосты, которые колыхались по ветру. Ветер становился все сильнее, и, что бы там ни было, он изгонял из предметов их оцепенелую неподвижность. А это уже было хорошо.

— Хелло! — крикнул сухощавый всадник.

Все трое остановились.

— Что? — спросил предводитель. — В чем дело?

— Вот там, — ответил сухощавый, показывая вперед.

— Что?

— Там что-то такое движется сюда, к нам.

Так они говорили, а в это время какое-то желтое животное действительно бежало прямо к ним. Это была большая дикая собака, бежавшая против ветра с высунутым языком твердой поступью и с такой напряженной решимостью, что, казалось, она не видела всадников, к которым она приближалась. Животное бежало, подняв нос вверх, и было ясно, что бежало оно не потому, что чуяло запах добычи. Когда собака была уже недалеко, маленький всадник нащупал свою саблю.

— Да она бешеная, — сказал сухощавый.

— Крикнем! — предложил маленький человек и крикнул.

Собака подбежала, но когда маленький всадник обнажил лезвие, она отпрянула в сторону и, качаясь, пронеслась мимо.

Провожая глазами бегущую собаку, он сказал:

— А пены нет.

Всадник на коне с наборной серебряной уздечкой быстро взглянул вдаль и затем крикнул:

— Ну, вперед! При чем все это? — И подхлестнул лошадь.

Маленький всадник уже забыл о том, что так и осталась неразгаданной тайна этой собаки. Впрочем, может быть, она убегала просто от ветра. Теперь он погрузился в глубокие размышления о человеческом характере.

— Ну, вперед! — прошептал он про себя. — И почему это одному человеку дано говорить «вперед!» и с такой силой заставлять других исполнять свою волю? Тот, на коне с серебряной уздечкой, всю жизнь говорит так. А скажи это я!.. — думал маленький всадник.

Но люди удивлялись, когда кто-нибудь не исполнял даже самые дикие требования хозяина. Эта девушка всем казалась безумной, почти богохульствующей. Маленький

всадник задумался теперь о другом спутнике — сухощавом, со шрамом на губе. «И так же силен, как хозяин, и, может быть, смелее его, а между тем его удел — повиновение, и ничего больше, только точное и беспрекословное повиновение...»

Какое-то неприятное ощущение в руках и коленях заставило маленького человека подумать о более реальных вещах. Он что-то почуял, подъехал к своему сухощавому спутнику и спросил вполголоса:

— Обратили вы внимание на лошадей?

Сухощавый взглянул с недоумением.

— Им не нравится этот ветер, — сказал маленький всадник и вновь затрусил сзади, когда всадник на коне с серебряной уздечкой повернулся и посмотрел на него.

— Ничего! Ладно! — заметил сухощавый.

Они ехали молча. Двое ехали впереди, склонившись над следом, а последний наблюдал за туманом, который полз во всю ширь долины, все ближе и ближе. Он чувствовал, что ветер становится все крепче. Вдали слева он заметил тень каких-то темных фигур, — может быть, это дикие кабаны мчались по долине, — но не сказал об этом ни слова. Не упоминал больше и о том, что лошади как-то неспокойны.

Но вдруг он заметил сперва один, а потом другой огромный белый клубок, большой сияющий белый шар, как бы гигантскую головку чертополоха, которая двигалась по ветру им наперерез. Эти клубки парили высоко в воздухе, то опускались, то снова поднимались, задерживались на мгновение и снова быстро продвигались вперед. Лошади увидели это и встревожились.

Наступил момент, когда он заметил, что большая часть этих клубков — а их становилось все больше и больше — несется по долине прямо к нему.

В этот момент всадники услышали визг. Наперерез им промчался кабан, только на мгновение повернул голову в их сторону и снова побежал вниз по долине. Все три всадника остановились и привстали на стременах, вглядываясь в густеющий туман, надвигавшийся на них.

— Если бы не этот чертополох... — начал предводитель.

Но большой клубок уже пронесся, качаясь, в нескольких ярдах от них. Это не был гладкий шар — это было нечто огромное, мягкое, обволакивающее, прозрачное — простыня, схваченная за углы, воздушная медуза, вращавшаяся во время движения и тянувшая за собою длинные колыхающиеся нити и волокна.

— Это не чертополох, — проговорил маленький всадник.

— Мне не нравится эта штука, — заметил сухощавый.

— Проклятье! — крикнул предводитель. — Весь воздух полон ими.

— Если так и дальше будет, это нас совсем остановит.

Инстинктивное чутье, которое заставляет стадо оленей вытянуться в линию при приближении к невиданному предмету, подсказало им повернуть лошадей по ветру, проскакать несколько шагов и уставиться в надвигающееся на них множество плывших по ветру клубков. Клубки эти двигались по ветру с какой-то плавной быстротой, поднимаясь и опускаясь бесшумно, приникая к земле и вновь взлетая, — все одновременно, с какой-то спокойной и сознательной уверенностью. Справа и слева от всадников неслись передовые этой странной армии. При виде одного из них, который катился по земле, теряя свою форму и лениво развертываясь в цепкие, длинные полосы и ленты, все три лошади вдруг испугались и заплясали на месте. Предводителя всадников внезапно охватило безрассудное нетерпение. Он стал осыпать проклятиями эти движущиеся клубки.

— Вперед! — крикнул он. — Вперед! При чем тут все это? Как они могут нам помешать? Вперед, по следу!

Натянув удила, он стал осыпать ругательствами свою лошадь. Затем громко, со злостью крикнул:

— Я вам говорю: я все-таки пойду по этому следу! Но где же след?

Он осадил гарцующую лошадь и стал искать следы в траве. Длинная липкая нить пристала к его лицу, и какая-то серая лента обвилась вокруг руки, которой он держал поводья. Что-то огромное, многоногое побежало по его

шее вниз. Он поднял голову и увидел, что один из этих серых клубков как будто стоит над ним на якоре и хлопает развевающимися концами — как хлопает парус при повороте лодки, но только бесшумно.

У него сложилось впечатление, что он видит множество глаз густой кучи скрючившихся тел, длинные переплетающиеся лапы, перебирающие канаты, чтобы опустить на него нечто. Откинув голову, он некоторое время рукой опытного всадника сдерживал гарцующую лошадь. Затем чья-то сабля плашмя скользнула по его спине, сверкнул клинок над головой и рассек колеблющийся баллон паутины. Вся масса поднялась бесшумно, прояснилась и растаяла.

— Пауки! — прозвучал голос сухощавого. — Эти клубки наполнены огромными пауками! Взгляните!

Человек на коне с серебряной уздечкой безмолвно глядел вслед уплывавшим клубкам.

— А теперь сюда!

Предводитель посмотрел вниз на красную раздавленную тварь. Наполовину уничтоженная, она все еще шевелила теряющими силу лапами.

Затем сухощавый обратил внимание на то, что на них опускается новый клубок, и быстро выхватил свою саблю. Там, впереди, в долине, теперь как будто стоял туманный берег, разодранный в клочья. Он сделал попытку сориентироваться.

— Скачите за ним! — крикнул маленький всадник. — Скачите вниз по долине!

То, что затем случилось, было подобно замешательству в сражении. Всадник на коне с серебряной уздечкой видел маленького всадника, который проскакал мимо и, бешено отбиваясь от воображаемых пауков, столкнулся с лошадью сухощавого и опрокинул ее вместе с всадником наземь. Его собственная лошадь проскакала шагов десять вперед, прежде чем он успел справиться с ней. Затем он взглянул вверх, чтобы избежать воображаемых опасностей, и опять назад. Там он увидел лошадь, упавшую на землю, а рядом стоял сухощавый и рубил саблей трепетавшую серую мас-

су, которая лилась потоком и обволакивала их обоих. Паутинные клубки, похожие на головки чертополоха в пустыре в ветреный июльский день, быстро надвигались густой массой.

Маленький всадник соскочил с лошади, но не решился дать ей волю. Он старался оттащить барахтающееся животное одной рукой, в то время как другой бесцельно рубил в воздухе. Щупальца второго серого клубка запутались, и эта вторая серая масса тоже потихоньку осела.

Предводитель стиснул зубы, крепче сжал поводья, опустил голову и пришпорил свою лошадь. Лошадь, лежавшая на земле, перевернулась; на боках у нее были видны кровь и какие-то движущиеся тени. Сухощавый внезапно бросил ее и побежал по направлению к своему хозяину. Так он бежал шагов десять, затем ноги у него были стянуты и спутаны серым, и он бесцельно размахивал саблей. Серые ленты веяли следом за ним; тонкое серое покрывало было у него на лице. Левой рукой он колотил что-то такое, что сидело на его теле. Затем вдруг покачнулся и упал. Сделал было усилие, чтобы встать, снова упал и вдруг завыл:

— Ой-ой-ой!

Его хозяин видел огромных пауков и над собой, и внизу, на земле. Когда, ему удалось наконец, заставить свою лошадь подойти к этому стонущему серому существу, которое барахталось в судорожной борьбе, послышался топот копыт, и маленький человек, верхом и безоружный, лежа животом на белой лошади и вцепившись в ее гриву, ураганом пронесся мимо. И опять липкая сеть серых летучих волокон мазнула по лицу предводителя. Везде, со всех сторон, эти бесшумно плывущие паутинные клубки описывали круги, все ближе и ближе к нему...

Впоследствии до самого дня своей смерти он не мог вспомнить, как все это случилось. Сумел ли он повернуть свою лошадь, или она по собственному почину пошла следом за другой? Достаточно сказать, что в следующую минуту он уже скакал галопом по долине, ожесточенно крутя саблей над головой. Ветер все усиливался, и воздушные суда пауков, воздушные узлы и воздушные полотнища, казалось, мчались за ним, как будто сознательно его преследуя.

Топ-топ, тук-тук — скакал человек с серебряной уздечкой, не думая о том, куда скачет. Скакал с испуганным лицом, вглядываясь то направо, то налево, с саблей наготове. А в сотне ярдов, с хвостом из порванной паутины, тянувшейся за ним, скакал маленький человек на своей лошади, все еще не вполне твердо сидя в седле. Камыши склонялись перед ним, дул свежий и сильный ветер; над его плечом хозяин видел паутинные клубки, догоняющие его...

Он был поглощен одной мыслью — спастись от пауков, — и поэтому только когда его лошадь уже присела для прыжка, заметил, что впереди овраг. Он растерялся, перегнулся вперед на шею лошади, снова сел в седло... Но было поздно.

Хотя, растерявшись, он и не сумел перескочить, но он все же не забыл, как надо падать, и вновь оказался истинным всадником при падении. Он отделался ушибом плеча, а его лошадь покатилась, судорожно брыкая ногами. Потом она лежала внизу, не шевелясь. Сабля его воткнулась концом в твердую почву и переломилась пополам, как будто фортуна разжаловала его из своих рыцарей, а отскочивший конец сабли пролетел всего на какой-нибудь дюйм от его лица.

Через минуту он уже был на ногах и, затаив дыхание, смотрел на паутинные клубни, которые мчались на него. На мгновение его осенила мысль: бежать! Но он вспомнил об овраге и остановился. Он отскочил в сторону, чтобы увернуться от этого плывущего по ветру ужаса, а затем стал быстро карабкаться по крутым откосам, стараясь держаться той стороны, где не было ветра.

Тут, на берегу высохшей речонки, он мог скрючиться и в безопасности следить за этими странными серыми клубками, которые все плыли и плыли. Когда ветер затихнет, можно будет бежать отсюда. Он долгое время лежал со-

гнувшись, следя за этими странными, серыми лохмотьями, тянувшими свои волокна по узкой полосе неба.

Один из отставших пауков упал в лощину рядом с ним. Поперек — от конца одной лапы паука до конца другой — было не меньше фута, а тело его было размером в половину ладони. Поглядев некоторое время на чудовищную быстроту, с которой паук искал добычу и отскакивал, человек подставил ему сломанную саблю — пусть укусит! — а затем поднял свой каблук с подковой и раздавил его в лепешку. При этом он отпустил ругательство и долго смотрел вверх и под ноги себе: нет ли еще пауков?

Когда наконец он уверился, что весь рой пауков не может упасть сюда, он поискал удобное место, сел, погрузился в раздумье и, по своему обыкновению, начал хрустеть пальцами и кусать ногти. Появление спутника на белой лошади вывело его из этого состояния.

Еще задолго до того, как он его увидел, он знал о его приближении по топоту копыт, спотыкающейся поступи и спокойному голосу. И вот теперь появилась жалкая фигура маленького человека, все еще со шлейфом из белой паутины, тянувшимся за ним. Они встретились молча. Маленький человек был утомлен и пристыжен до состояния безнадежной горечи; он очутился лицом к лицу со своим присевшим на корточки хозяином.

Того передернуло под взглядом слуги.

— Ну? — наконец произнес он уже без всякой претензии на прежний свой повелительный тон. — Вы его бросили?

— Моя лошадь совсем взбесилась.

— Я знаю. И моя тоже.

Слуга лишь мрачно рассмеялся в лицо хозяину.

— Я же говорю: моя лошадь взбесилась, — повторил человек, у которого когда-то была серебряная уздечка.

— Мы оба трусы, — произнес маленький человек. А хозяин опять похрустел пальцами, некоторое время пристально глядя на маленького человека.

— Не называйте меня трусом, — наконец вымолвил он.

— Вы — трус, как и я сам.

— Быть может, и трус. Есть же какой-то предел, за которым всякий человек может и должен испытывать страх. И это я познал наконец, но не в такой степени, как вы. Вот тут-то и можно установить различие.

— Никогда мне даже не снилось, что вы могли покинуть его. Ведь за две минуты до этого он спас вам жизнь... И почему, собственно, вы являетесь нашим повелителем?

Хозяин снова захрустел суставами пальцев, и лицо его помрачнело.

— Ни один человек еще не называл меня трусом, — сказал он. — Лучше сломанная сабля, чем совсем никакой. Нельзя требовать от загнанной белой лошади, чтобы она тащила двух человек целых четыре дня. Я ненавижу белых лошадей, но на этот раз делу не поможешь. Вы начинаете понимать меня? Пользуясь тем, что вы видели и вообразили себе, вы, похоже, собираетесь запятнать мою репутацию. Люди, подобные вам, свергают королей. Впрочем, вы никогда мне не нравились.

— О, хозяин! — воскликнул маленький человек.

— Нет, — сказал хозяин. — Нет!

Он резко поднялся при первом движении маленького человека. Мгновение они мерили друг друга глазами. Над ними плыли клубки пауков. Быстро осыпались камешки, затем — топот бегущих ног, крик отчаяния, удар...

К ночи ветер стих. Когда солнце село, было ясно и тихо, и человек, у которого была когда-то серебряная уздечка, осторожно вышел, наконец, из оврага по удобному для подъема откосу, но теперь он уже вел под уздцы белую лошадь, которая раньше принадлежала маленькому человеку. Он был не прочь вернуться к своей лошади, чтобы снять с нее серебряную уздечку, но боялся ночи и усиливающегося ветра, который мог еще застать его в долине; кроме того, ему не улыбалось и то, что он мог найти свою лошадь, всю опутанную паутиной и, пожалуй даже, довольно неприглядно объеденную.

И когда он подумал об этих паутинных клубках и обо всех опасностях, через которые прошел и о том, каким образом он был спасен в этот день, его рука невольно нащупала маленькую ладанку, висевшую у него а шее, и он на миг ухватился за нее с сердечной благодарностью. И в то же самое время он посмотрел вниз, в долину.

— Я был разгорячен страстью, — сказал он, — и теперь она получила свое возмездие. И они тоже, без сомнения...

Тут, вдали от лесистых холмов, на другом конце долины, сквозь прозрачность солнечного заката он определенно и безошибочно заметил маленькую струйку дыма.

Выражение ясной покорности на его лице вдруг сменилось гневным изумлением. Дым? Он повернул белую лошадь, с минуту колебался. Какие-то воздушные шорохи пробежали по траве вокруг него. Вдалеке на камышах колыхались изодранные серые полотнища. Он посмотрел на паутинные клубки, посмотрел на дым.

— Пожалуй, это и не они, — произнес он.

Но он был уверен в обратном.

И когда он ехал, то ему пришлось пробивать себе путь между осевшими массами паутины. Почему-то на земле валялось много мертвых пауков, а те, которые остались живы, преступно пожирали своих сородичей, обращаясь в бегство при топоте копыт его лошади.

Время их торжества прошло. Не было уже ни малейшего ветерка, который мог бы их поднять с земли, не было уже к их услугам развевающихся в воздухе полотнищ. И эти твари, несмотря на весь их яд, не могли уже причинить ему вреда.

Он махнул своим поясом на тех, которые, казалось, подошли к нему слишком близко. А один раз, когда небольшая группа их перебегала через открытое место, ему взбрела в голову мысль — слезть с коня и растоптать их ногами, но он подавил это желание. Он ехал и, поворачиваясь в седле, поглядывал то и дело на дым вдалеке.

— Пауки, — бормотал он ежеминутно. — Пауки! Ну, ладно. В следующий раз я должен соткать паутину.

ЦАРСТВО МУРАВЬЕВ

I

Когда капитану Жерилло приказали вести его новую канонерку «Бенджамен Констан» в Бадаму — небольшой городок на реке Батемо, притоке Гварамадемы, — чтобы помочь тамошним жителям бороться с нашествием муравьев, он заподозрил, что начальство над ним издевается.

Его служебная карьера была романтичной и не совсем гладкой; здесь отчасти сыграли роль его томные глаза и привязанность одной знатной бразильской дамы. Газеты «Диарио» и «О Футуро» комментировали его новое назначение, увы, весьма непочтительно. И он чувствовал, что для такой непочтительности дает теперь новый повод.

Он был креолом и обладал чисто португальскими представлениями об этикете и дисциплине; единственным человек, которому он открывал свое сердце, был находившийся на судне инженер Холройд из Ланкашира; общение с ним, помимо всего прочего, давало капитану возможность практиковаться в английском: он произносил звук th весьма приблизительно.

— Они просто хотят сделать из меня посмешище! — говорил он. — Как может человек бороться с муравьями? Муравьи приходят и уходят.

— Поговаривают, что эти муравьи не уходят, — отвечал Холройд. — Парень, которого вы упоминали, этот Самбо...

— Замбо. Это значит «смешанная кровь».

— Самбо. Он сказал, что люди уходят.

Капитан раздраженно закурил.

— Такие случаи неизбежны, — сказал он немного погодя. — А почему? Нашествия муравьев и подобные штуки — все по воле божьей. Было такое нашествие в Тринидаде — маленьких муравьев, которые пожирают листья. Они объедают все апельсиновые, все манговые деревья! Что ж тут поделаешь? Иногда целые полчища являются к вам в дом — это воинственные муравьи, совсем другой

вид. Вы покидаете свой дом, а они в нем наводят чистоту. Потом вы возвращаетесь — ваш дом чистехонек и стоит как новый. Никаких тараканов, никаких блох, никаких клещей в полу!

— Этот Самбо говорит, что здесь совсем другая разновидность муравьев.

Капитан пожал плечами, выпустил струйку дыма и занялся своей папиросой.

Вскоре он снова вернулся к той же теме.

— Мой дорогой Олройд, что мне делать с этими проклятыми муравьями? — Капитан задумался. — Смешно, право, — сказал он.

Во второй половине дня, облачившись в форму, капитан сошел на берег, и вскоре на корабль стали прибывать ящики и всякая тара. Позднее появился и он сам.

Холройд, наслаждаясь прохладным вечером, сидел на палубе, задумчиво курил и любовался Бразилией. Вот уже шесть дней, как они плыли вверх по Амазонке, уже несколько сотен миль отделяли их от океана, на восток и запад расстилался бескрайний, как море, горизонт, а на юге не было видно ничего, кроме песчаного острова с редкими зарослями кустарника. Все так же безостановочно бежала вода, густая и грязная, в ней кишели крокодилы, над ней кружились птицы, вниз по реке бесконечной чередой плыли стволы деревьев. И бесцельность всего этого, отчаянная бесцельность наполняла душу Холройда.

Город Алемквер, с жалкой церквушкой, с тростниковыми навесами вместо домов и пепельно-серыми руинами, оставшимися от лучших времен, казался таким же затерянным в огромной пустыне Природы, как шестипенсовик в песках Сахары.

Холройд был молод; в тропики он попал впервые, приехав из Англии, где природа полностью покорена, стиснута оградами, стоками и каналами. И вот здесь ему неожиданно открылась ничтожность человека. Шесть дней, все удаляясь от моря, они плыли по заброшенным протокам, и человек был здесь такой же редкостью, как диковинная бабочка. Сегодня они могли увидеть каноэ, завтра — отдаленное поселение, а на третий день — вообще ни одной живой души. Холройд начал сознавать, что человек — и в самом деле редкое животное, непрочно обосновавшееся на этой земле.

С каждым днем он сознавал это все более отчетливо, проделывая извилистый путь к реке Батемо в обществе этого удивительного капитана, в распоряжении которого одна-единственная пушка, а на руках приказ не тратить ядер. Холройд прилежно изучал испанский, но застрял на настоящем времени и изъяснялся в основном существительными. Кроме него, единственным человеком, знавшим несколько английских слов — да и те он постоянно путал, — был негр-кочегар. Помощник капитана португалец да Кунха говорил по-французски, но как мало был похож его язык на тот, которому Холройд обучался в Саутпорте, и их общение ограничивалось приветствиями и простейшими фразами о погоде.

Погода же, как и все в этом удивительном новом мире, не считалась с человеком: удушающая жара стояла и днем и ночью, воздух и даже ветер обжигали, как горячий пар, насыщенный запахами гниющих растений. Аллигаторы и неведомые птицы, мошкара разных видов и размеров, жуки и муравьи, змеи и обезьяны, казалось, удивлялись, что может делать человек в этой атмосфере, где солнце не приносит радости, а ночь — прохлады.

Ходить в одежде стало невыносимо, но и сбросить ее — значило заживо обуглиться днем, а ночью отдать себя на съедение москитам; находясь на палубе, можно было ослепнуть от яркого света, а оставаясь в каюте — задохнуться.

Среди дня прилетали какие-то насекомые, норовившие побольнее ужалить в щиколотку или запястья. Единственный, кто отвлекал Холройда от всех этих физических страданий, был капитан Жерилло, но он стал совершенно несносен: изо дня в день он рассказывал незатейливые истории своих любовных похождений и нудно, будто перебирал четки, перечислял вереницу своих безымянных жертв. Иногда он предлагал заняться спортом, и они стре-

ляли в аллигаторов. Изредка, завидев в зарослях человеческие поселения, они сходили на берег и оставались там день-другой, пили вино или просто сидели и болтали. Однажды ночью они танцевали с девушками-креолками, которых вполне устраивал бедный испанский язык Холройда без прошедшего и будущего. Но это были отдельные яркие просветы на фоне долгого унылого течения реки, вверх по которой их тянули мерно стучавшие моторы. На всем судне, от кормы и, пожалуй, до самого носа, царило веселое и соблазнительное языческое божество в образе большой винной фляги. На каждой стоянке Жерилло все больше и больше узнавал о муравьях и постепенно проникся интересом к своей миссии.

— Это совсем новый вид муравьев. Мы должны стать — как это у вас называется? — энтомологами. Муравьи очень крупные. Пять сантиметров, а попадаются и побольше! Просто смешно: нас послали ловить насекомых, словно мы обезьяны... Правда, они пожирают страну... — Тут капитан взорвался: — Представьте, вдруг возникнут какие-нибудь осложнения с Европой, а я торчу здесь... Скоро мы будем в верховьях Рио-Негро, а пушка моя бездействует.

Он потер колено и задумался.

— Люди, которые здесь танцевали, пришли из других мест. Они потеряли все, что имели. Однажды среди бела дня на их дома напали муравьи. Все выбежали на улицу. Знаете, когда появляются муравьи, каждый должен удирать поскорей, и дом захватывают муравьи. Если вы останетесь, они сожрут вас. Понимаете? И вот через некоторое время люди вернулись. Они говорили: «Муравьи ушли». Но муравьи вовсе не ушли. Люди пытались войти в дом — чей-то сын отважился. И муравьи на него напали.

— Набросились всем роем?

— Укусили его. Он тут же выскочил из дому и с воплем побежал. Бежит без оглядки прямо к реке, кидается в воду и топит муравьев. Вот так-то... — Жерилло замолчал, наклонился к Холройду и, глядя на него своими томными глазами, постучал костяшками пальцев по его колену. — В ту же ночь он умер, как будто был ужален змеей.

— Отравлен? Муравьями?

— Кто знает? — Жерилло пожал плечами. — Может быть, они его очень сильно искусали... Когда я принимал это назначение, я думал, что буду сражаться с людьми. А муравьи — они приходят и уходят. Человеку тут нечего делать.

Капитан часто потом заводил разговор с Холройдом о муравьях. И всякий раз, как им случалось плыть мимо любого, даже самого крошечного жилья, затерянного среди водного простора, солнечного света и далеких деревьев, Холройд, сделавший уже кое-какие успехи в языке, мог различить все чаще повторяющееся слово «Sauba»*. Оно преобладало над остальными.

Теперь и Холройд начал испытывать интерес к муравьям, и по мере приближения к месту назначения этот интерес становился все острее. Жерилло неожиданно оставил свои прежние темы, а лейтенант-португалец стал разговорчив. Он знал кое-что о муравьях, пожирающих листья, и делился своими познаниями. Все, что слышал от него Жерилло, он передавал иногда по-английски Холройду. Он рассказывал ему о маленьких муравьях-работниках, которые образуют целые полчища и сражаются, о больших муравьях — командирах и вождях, которые заползают человеку на шею и кусают в кровь. Рассказывал, как они обгрызают листья и откладывают яйца, и о том, что муравейники в Каракасе достигают иногда сотни ярдов в поперечнике... Два дня подряд трое мужчин обсуждали, есть ли у муравьев глаза. На вторые сутки спор стал слишком ожесточенным. Спас положение Холройд, отправившись в лодке на берег, чтобы поймать муравьев и проверить. Он захватил несколько экземпляров разных видов и вернулся на судно. Оказалось, что у одних есть глаза, у других — нет. Спор зашел и о том, кусаются муравьи или жалят.

— У тех муравьев большие глаза, — сказал Жерилло, успевший собрать сведения на ранчо. — Они не бегают вслепую, как другие. Нет! Они забиваются в угол и наблюдают за вами.

* Sauba — вероятно, на каком-то смешанном наречии означает «муравей».

— И жалят? — спросил Холройд.

— Да, эти жалят. Их укусы ядовиты. — Жерилло задумался. — Я не знаю, что может человек с ними сделать. Муравьи приходят и уходят.

— А эти не уходят.

— Они уйдут, — сказал Жерилло.

За Тамандой начинается длинный низкий безлюдный берег, который тянется на 80 миль. Минуя его, оказываешься у места слияния Гварамадемы с ее притоком Батемо, похожего на большое озеро; лес подступает все ближе и ближе и наконец придвигается совсем вплотную. Характер русла здесь меняется, часто попадаются коряги и камни, поэтому к вечеру «Бенджамен Констан» пришвартовался и стал под густую тень деревьев. Впервые за много дней повеяло прохладой, и Холройд с Жерилло засиделись допоздна, покуривали сигары и блаженствовали, отдыхая от жары. Жерилло был поглощен муравьями и все время думал о том, что они могут натворить. В конце концов, совершенно сбитый с толку, он решил выспаться и, расстелив матрац, лег на палубе. В последних его словах, произнесенных, когда, казалось, он уже уснул, прозвучало отчаяние: «Что можно поделать с этими муравьями?.. Вся затея совершенно бессмысленна».

В одиночестве Холройду оставалось лишь расчесывать искусанные комарами руки и предаваться размышлениям. Он сидел на фальшборте и прислушивался к чуть неровному дыханию Жерилло, пока тот окончательно не погрузился в сон. Потом его внимание привлекли шум и плеск реки, вновь пробудившие в нем чувство необъятности, которое он впервые испытал, когда покинул Пара и начал подниматься вверх по течению. Фонарь еле светил, на носу еще слышался говор, затем все стихло. Холройд перевел взгляд со смутно черневшей башни в середине канонерки на берег, на темный таинственный лес, где порою мерцали огоньки светляков и не смолкали какие-то посторонние загадочные шорохи.

Непостижимая беспредельность этих мест изумляла и подавляла его. Он знал, что в небесах людей нет, что звезды — это маленькие точки в необъятных просторах. Знал,

что океан огромен и неукротим. Но в Англии он привык думать, что земля принадлежит человеку. И в Англии она в самом деле принадлежала человеку: дикие звери и растения живут там по его милости и доброй воле, там повсюду дороги, изгороди и царит полная безопасность. Даже судя по атласу, земля принадлежит человеку; вся она раскрашена так, чтобы показать его права на нее в противоположность не зависящей ни от кого синеве океана. Раньше Холройд считал само собой разумеющимся, что наступит время, и везде на вспаханной и обработанной земле будут проложены трамвайные линии и благоустроенные дороги, воцарятся порядок и безопасность. Теперь он начал в этом сомневаться.

Тянувшийся бесконечно лес казался непобедимым, а человек выглядел в нем в лучшем случае редким и непрошеным гостем. Предположим на минуту, что муравьи тоже начнут накапливать знания, как это делают люди с помощью книг и всяческих ученых записей, применять оружие, создавать великие империи, вести планомерную и организованную войну.

Холройд вспомнил услышанные Жерилло рассказы о муравьях, с которыми им предстояло встретиться. Они пускают яд наподобие змеиного и повинуются более крупным особям — вождям, как и муравьи-листоеды. Это муравьи-хищники, и куда они проникают, там и остаются.

Лес совсем затих. Вода непрерывно плескалась о борт судна. Над фонарем вился бесшумный, призрачный рой мотыльков.

Жерилло шевельнулся в темноте и вздохнул. «Что же делать?» — пробормотал он, повернулся и снова умолк. Жужжание москитов отвлекло Холройда от размышлений, которые становились все более мрачными.

II

На следующее утро Холройд узнал, что они находятся в сорока километрах от Бадамы, и его интерес к берегам стал еще сильнее. Он подымался на палубу каждый раз,

когда представлялась возможность внимательно осмотреть местность. Нигде Холройд не мог заметить присутствия человека, если не считать развалин дома, заросших сорными травами, и зеленого фасада монастыря в Можу, оставленного давным-давно; из его оконного проема тянулось дерево, а вокруг пустых порталов обвивались гигантские вьюны. В то утро над рекой пролетали стайки странных желтых бабочек с полупрозрачными крыльями; многие из них садились на судно, и матросы их убивали.

На десятки миль вокруг повсюду шла молчаливая борьба гигантских деревьев, цепких лиан, причудливых цветов, и повсюду крокодилы, черепахи, бесконечные птицы и насекомые чувствовали себя уверенно и невозмутимо, а человек... Человек распространял свою власть всего лишь на небольшую вырубку, которая не покорялась ему; сражался с сорняками, сражался с насекомыми и дикими животными, только чтобы удержаться на этом жалком клочке земли. Он становился добычей хищников и змей, всяких тварей, тропической лихорадки и уступал в этой борьбе. Человек был явно вытеснен из низовьев реки и повсеместно отброшен назад. Заброшенные бухты еще назывались здесь «каза», но руины белых стен и полуобвалившиеся башни свидетельствовали об отступлении. Здесь хозяйничали скорее пума и ягуар, чем человек.

Но кто же был настоящим хозяином?

На протяжении нескольких миль этого леса, наверное, куда больше муравьев, чем людей на всем земном шаре. Мысль эта показалась Холройду совершенно новой. Понадобились какие-нибудь тысячелетия, чтобы люди перешли от варварства к цивилизации и почувствовали себя на этом основании хозяевами будущего и властелинами земли. Но что помешает муравьям пройти ту же эволюцию?

Известные до сих пор виды муравьев живут небольшими общинами, по нескольку тысяч особей, и не предпринимают никаких совместных действий против окружающего их большого мира. Однако у них есть язык, у них есть разум! Почему же они должны остановиться на этой ступени, если человек не остановился?

Было уже за полдень, когда они приблизились к покинутой куберте. Сначала она не производила впечатления покинутой: оба ее паруса были подняты и недвижно висели в безветрии полдня, а впереди на носу, рядом со сложенными веслами, сидел человек. Другой как будто спал, лежа ничком на продольном мостике, какие бывают на шкафуте больших лодок. Но вскоре по ходу куберты и ее движению наперерез канонерке стало ясно, что с ней происходит что-то неладное. Жерилло наблюдал за лодкой в бинокль и обратил внимание на странно темнеющее лицо человека, сидевшего на палубе, — багровое лицо без носа. Вернее, не сидевшего, а скорчившегося. И чем дольше смотрел на него капитан, тем больше отталкивал его этот человек, но вместе с тем он не мог отвести от него бинокля.

Наконец он все-таки перестал смотреть и пошел за Холройдом. Вернувшись, капитан окликнул куберту. Он окликнул ее опять, когда куберта проскользнула мимо канонерки. Отчетливо видно было ее название: «Санта Роза». Подплыв совсем близко и оказавшись в кильватере «Бенджамена Констана», она слегка нырнула носом, и скорчившийся на палубе человек вдруг рухнул, как будто все суставы у него распались. Шляпа его слетела, обнажившаяся при этом голова явила собой довольно плачевное зрелище, тело безжизненно грохнулось и покатилось за фальшборт, скрывшись из виду.

— Каррамба! — вскрикнул Жерилло, обернувшись к Холройду, который уже подымался на мостик.

— Вы видели? — спросил капитан.

— Он мертв! — сказал Холройд. — Мертв. Вам бы следовало послать шлюпку. Там что-то неладно.

— Вы не заметили случайно его лица?

— А что у него с лицом?

— Оно... У-у-х! У меня нет слов...

Капитан отвернулся и тотчас вошел в роль энергичного и требовательного командира.

Канонерка подплыла к куберте, стала параллельно его изменчивому курсу и спустила на воду шлюпку с лейтенантом да Кунха и тремя матросами, которые должны

были подняться на «Сайта Розу». Когда лейтенант ступил на борт судна, любопытство заставило капитана подрулить судно почти вплотную, и Холройд смог окинуть взглядом всю «Санта Розу», от палубы до трюма.

Теперь он ясно видел, что вся команда куберты состояла из двух мертвецов; он не мог разглядеть их лиц, однако по раскинутым рукам, на которых клочьями висело мясо, видно было, что трупы подверглись какому-то необычному процессу разложения. Сначала внимание Холройда сосредоточилось на двух загадочных кучах грязной одежды и бессильно висевших конечностях, а затем его взгляд обратился к раскрытому трюму, набитому сундуками и ящиками, потом к корме, на которой зияла необъяснимой пустотой небольшая каюта. Холройд заметил, что средняя часть палубы усеяна движущимися черными точками.

Эти точки приковали его внимание. Они двигались по радиусам от лежащего человека, напоминая — сравнение сразу пришло ему в голову — толпу, которая расходится после боя быков. Холройд почувствовал, что рядом стоит Жерилло.

— Капитан, бинокль при вас? — спросил он. — Можете направить его прямо на палубу?

Что-то недовольно буркнув, Жерилло исполнил его просьбу и передал бинокль. Несколько мгновений Холройд разглядывал палубу.

— Это муравьи, — сказал он и отдал обратно бинокль.

Ему показалось, что эти большие черные муравьи очень похожи на обычных и отличаются от них лишь размерами да еще тем, что на более крупных какое-то серое одеяние. Никаких других подробностей он заметить пока не успел.

Над бортом куберты показалась голова лейтенанта да Кунха, и последовал короткий разговор.

— Вы должны осмотреть палубу, — сказал Жерилло. Лейтенант возразил, что куберта полна муравьев.

— Но у вас ведь есть сапоги!

Лейтенант поспешил переменить тему.

— Отчего умерли эти люди? — спросил он.

Капитан пустился в объяснения, которые Холройд не мог понять, и начался спор, становившийся все жарче и жарче. Холройд ваял бинокль и снова стал разглядывать сначала муравьев, потом трупы на куберте.

Он описал мне этих муравьев очень подробно. По его словам, они были черного цвета и такой же величины, как виденные им до сих пор. Двигались они в определенном, сознательно выбранном направлении, что совсем не походило на механическую суету обычных муравьев. Приблизительно каждый двадцатый был значительно крупнее своих собратьев, отличаясь от них к тому же огромной головой. Ему вспомнились рассказы о вождях муравьев-листоедов, которые правят своими соплеменниками; подобно им, большеголовые, казалось, тоже направляли и координировали общее движение. Двигались они очень странно, откидываясь назад, будто отталкивались передними ногами. И Холройду вдруг привиделось (он не мог бы поручиться за точность из-за дальности расстояния), что на большинстве муравьев, в том числе и на крупных, одежда, которая держится на туловище с помощью блестящей белой перевязи, словно сплетенной из металлических нитей.

Услышав, что спор между капитаном и его помощником зашел слишком далеко, Холройд резко опустил бинокль.

— Произвести осмотр куберты — ваша обязанность, — заявил капитан. — Таков мой приказ.

Лейтенант, по-видимому, был склонен не подчиниться приказу. Немедленно из-за его спины показалась голова одного из матросов-мулатов.

— Я думаю, этих людей убили муравьи, — коротко сказал Холройд по-английски.

Капитан пришел в ярость и ничего не ответил.

— Я, кажется, приказал вам начать осмотр! — крикнул он по-португальски лейтенанту. — Если вы тотчас не начнете, это будет бунт, форменный бунт. Бунт и трусость! Где же мужество, которое должно воодушевлять всех нас? Я прикажу заковать вас в кандалы, застрелить, как собаку!

Он разразился потоком проклятий и ругательств, метался по палубе, потрясал кулаками, и видно было, что он совсем не владел собой, а лейтенант, бледный и притихший, стоял и смотрел на него. Пораженные разыгравшейся сценой, подошли остальные члены команды.

Когда капитан на минуту утихомирился, лейтенант неожиданно принял героическое решение: он отдал честь, весь как-то подобрался и стал взбираться на палубу куберты.

— А-а-ах! — воскликнул Жерилло, и рот его захлопнулся, как мышеловка.

Холройд видел, как муравьи отступают перед сапогами да Кунхи. Португалец медленно подошел к распростертому телу, наклонился над ним, задумался, потом стащил с него куртку и перевернул труп. Из одежды роем поползли черные муравьи, и да Кунха быстро отскочил назад, давя насекомых сапогами.

Холройд взял бинокль. Он увидел, что муравьи бросились врассыпную от ног захватчика и делают то, чего никогда не делали муравьи, известные ему прежде. Поведение их не имело ничего общего со слепыми движениями обычных представителей этого рода: они смотрели на человека, как смотрит вновь собирающаяся толпа на рассеявшее ее гигантское чудовище.

— Отчего он погиб? — прокричал капитан.

Холройд достаточно понимал по-португальски, чтобы уловить слова: «Труп слишком изъеден, и поэтому трудно понять причину».

— Что там, в носовой части? — снова крикнул Жерилло.

Лейтенант сделал несколько шагов вперед и продолжал отвечать по-португальски. Внезапно он остановился и стал сбивать что-то у себя с ноги. Он шел какой-то странной походкой, словно пытаясь наступить на что-то невидимое, а затем быстро зашагал к борту. Потом он весь напружинился, повернул назад, упрямо двинулся к трюму, поднялся на фордек, где были закреплены весла, на миг склонился над вторым трупом, громко застонал и твердой походкой направился назад к каюте. Повернувшись к капитану,

он вступил с ним в беседу, сдержанную и почтительную с обеих сторон и совсем непохожую на гневный и оскорбительный выпад всего несколько минут назад. Холройд уловил только обрывки разговора.

Он снова посмотрел в бинокль и с удивлением обнаружил, что муравьи исчезли со всех открытых мест на палубе. Он направил бинокль во мрак каюты и трюма, и ему показалось, что темнота полна настороженных глаз.

Все решили, что куберта оставлена людьми, но так как она кишмя кишела муравьями, отправлять туда на ночевку матросов было опасно. Приходилось брать ее на буксир. Лейтенант пошел на нос, чтобы принять и закрепить конец, а находившиеся в шлюпке матросы привстали, чтобы в нужный момент помочь.

Холройд снова пошарил биноклем вокруг. Он все больше и больше убеждался, что на куберте происходит какая-то огромная, хотя и малоприметная, таинственная работа. Он разглядел, как муравьи-гиганты, ростом, наверное, в два дюйма, волоча грузы странной формы и непонятного назначения, стремительно двигались из одного укромного места в другое. По открытым участкам они бежали не колоннами, а широкой рассыпной цепью, и движение их удивительно напоминало перебежки современной пехоты под неприятельским огнем. Часть их нашла укрытие в куче одежды рядом с трупом, а вдоль борта, куда должен был сейчас направиться да Кунха, сосредоточилась целая армия.

Холройд не видел, как муравьи набросились на лейтенанта, но и теперь не сомневается в том, что на него было совершено настоящее согласованное нападение. Лейтенант внезапно вскрикнул, разразился проклятиями и стал колотить себя по ногам.

— Меня ужалили! — завопил он, обратив к капитану горящее ненавистью лицо.

Потом скрылся за бортом, прыгнул в шлюпку и сразу же бросился в реку. Холройд услышал всплеск воды.

Трое матросов вытащили его и положили в лодку. Той же ночью он умер.

III

Холройд и капитан вышли из каюты, в которой лежало распухшее и обезображенное тело лейтенанта, и, стоя рядом на корме, не сводили глаз с зловещего судна, плывшего за ними на буксире. Была душная темная ночь, и только таинственные вспышки зарниц освещали тьму. Смутный черный треугольник куберты качался в кильватере канонерки, паруса надувались и хлопали, над кренившимися мачтами плыл густой дым, и в нем непрерывно вспыхивали искры.

Мысли Жерилло все возвращались к тем злобным словам, которые произнес лейтенант в предсмертной горячке.

— Он сказал, что я убил его. Но это же просто абсурд. Ведь кто-то должен был подняться на куберту. Неужели нам бежать от этих проклятых муравьев, как только они покажутся? — возмущался капитан.

Холройд молчал. Он думал об организованном броске маленьких черных существ, переползающих через освещенную солнцем пустую палубу.

— Он обязан был пойти, — твердил Жерилло. — Он погиб, выполняя свой долг. Кого он может упрекать? Убит! Да, бедняга был просто — как это называется? — ну, невменяемым, что ли? Чуточку не в своем уме. Он весь раздулся от яда. Г-м.

Наступило долгое молчание.

— Мы потопим куберту. Сожжем ее.

— А дальше что?

Вопрос вывел Жерилло из себя. Плечи его поднялись, руки взметнулись в негодующем жесте.

— Так что же прикажете делать? — закричал он, переходя на злобный визг. — Что бы ни было, — бушевал он, — а я сожгу живьем каждого муравья в одиночку на этом проклятом судне!

Холройд молча слушал его. Издали доносились вопли и вой обезьян, наполняя знойную ночь зловещими звуками; когда же куберта подошла ближе к берегу, к ним прибавилось гнетущее кваканье лягушек.

— Что же делать? — повторил капитан после долгой паузы. Потом, неожиданно исполнившись свирепой решимости и разразившись проклятиями, он приказал сжечь «Санта Розу» без всякого промедления. Всем пришлась очень по душе эта мысль, и матросы с жаром взялись за дело. Они выбрали трос, отрубили его, подожгли куберту паклей, пропитанной керосином, и вскоре «Санта Роза», весело потрескивая, пылала в необъятной тропической ночи. Холройд наблюдал, как во мраке тянется вверх желтое пламя и багровые вспышки зарниц, зажигаясь и угасая над вершинами деревьев, на мгновение выхватывают их силуэты из темноты. Позади Холройда стоял кочегар и тоже смотрел на пламя. Он был настолько возбужден, что даже прибегнул к своим лингвистическим познаниям.

— «Sauba» делать пх, пх. Ох-хо! — И громко расхохотался.

А Холройд думал о том, что у маленьких существ там, на куберте, есть глаза и мозг.

Все происходящее казалось ему чем-то невероятно глупым и ложным, но что было делать?

Тот же вопрос с новой силой возник наутро, когда канонерка подошла наконец к Бадаме.

Селение это, с его домиками, крытыми пальмовыми листьями, с сахарным заводом, заросшим плющом, с небольшим причалом из досок и камыша, поразило тишиной и безмолвием; в это жаркое утро здесь не видно было никаких признаков человека. Муравьев же на таком расстоянии разглядеть было невозможно.

— Все ушли, — сказал Жерилло. — Но мы все-таки попробуем: нужно покричать и посвистать.

Холройд принялся кричать и свистеть. И тут капитана начали одолевать мучительные сомнения. Наконец он заявил:

— Нам остается только одно.

— Что? — спросил Холройд.

— Опять кричать и свистеть.

Так они и сделали.

Капитан ходил по мостику, разговаривая сам с собою и жестикулируя. Можно было подумать, что множество мыслей обуревает его мозг. С губ срывались отрывки каких-то слов. Он как будто обращался на испанском или португальском к воображаемому судилищу. Уже немного тренированное ухо Холройда уловило, что речь идет о боеприпасах. Вдруг Жерилло прервал свои раздумья и обратился к Холройду по-английски:

— Мой дорогой Холройд! Что же нам делать?

Вооружившись полевым биноклем, они сели в лодку и поплыли к берегу, чтобы изучить местность. На краях грубо сколоченного причала им удалось разглядеть крупных муравьев, неподвижные позы которых наводили на мысль, что они наблюдают за людьми. Жерилло несколько раз выстрелил в них из пистолета, но безрезультатно.

Между ближайшими домами Холройд различал какие-то странные земляные сооружения, очевидно, построенные муравьями, завоевавшими селение. Наши исследователи миновали пристань и позади нее увидели лежавший на земле скелет человека с белоснежной набедренной повязкой. Бросив грести, они стали вглядываться в него.

— Я обязан думать об их жизнях, — сказал вдруг Жерилло.

Холройд недоуменно взглянул на него, не сразу догадавшись, что он имеет в виду разноплеменный сброд, составлявший команду корабля.

— Высадить отряд на берег? Нет, это невозможно, никак невозможно. Все будут отравлены и распухнут, страшно распухнут и умрут, обвиняя меня одного. Совершенно невозможно... Если уж высаживаться на берег, то только мне, мне одному в толстых сапогах. Я сам ответчик за свою жизнь. Может, я останусь в живых. Или лучше не высаживаться? Просто не знаю, как быть. Не знаю.

Холройд подумал, что он все сам прекрасно знает, но промолчал.

— Эта история, — заявил вдруг капитан, — затеяна, чтобы поднять меня на смех. Вся история!

Они покружили вокруг дочиста обглоданного скелета, осмотрели его с разных сторон и вернулись на канонерку. К этому времени колебания Жерилло стали совершенно мучительными.

Наконец были разведены пары, и после полудня канонерка поплыла вверх по реке, как будто еще надеясь найти у кого-то ответ на тяжкий вопрос. К заходу солнца она возвратилась и бросила якорь. Собиравшаяся и бурно разразившаяся гроза утихла, наступила прохладная и спокойная ночь, на палубе все уснули. Все, кроме Жерилло. Он беспокойно метался по палубе и что-то бормотал. На рассвете он разбудил Холройда.

— Господи, в чем же дело? — спросил тот.

— Решено, — сказал капитан.

— Что, высаживаться на берег? — спросил Холройд, с которого сразу слетел сон.

— Нет, — ответил капитан и умолк. — Решено, — повторил он.

Холройд нетерпеливо ждал.

— Да, — сказал капитан. — Я выстрелю из большой пушки.

И он выстрелил! Одному богу известно, что подумали об этом муравьи, но он это сделал. Он выстрелил дважды, соблюдая торжественный ритуал. Матросы заткнули уши ватой. Все дело смахивало на военную операцию. Сначала ударили по старому сахарному заводу и разрушили его, потом снесли пустую лавку позади причала. Затем у Жерилло началась неизбежная реакция.

— Ничего хорошего из этого не выйдет, — сказал он Холройду. — Ничего хорошего. Ни черта. Мы должны вернуться назад за указаниями. Они подымут тарарам из-за ядер, настоящий тарарам. Вы еще не знаете, Холройд...

Он стоял и в полной растерянности смотрел на все окружающее.

— Но что же еще можно было сделать!

После полудня канонерка отправилась в обратный путь, вниз по реке, и к вечеру часть экипажа высадилась, чтобы похоронить тело лейтенанта на берегу, где еще не успели появиться новые муравьи.

IV

Мне довелось услышать эту историю урывками от Холройда недели три тому назад. Новый вид муравьев не дает ему покоя, и он вернулся в Англию с намерением «возбудить», как он говорит, «умы людей» рассказом об этих муравьях, пока еще не слишком поздно. По его словам, они угрожают Британской Гвиане, которая находится немногим больше тысячи миль от нынешней области их распространения, и министерству колоний следует немедленно за них взяться. Холройд заявляет со страстной убежденностью:

— Это думающие муравьи. Поймите, что это значит! Они, несомненно, являются серьезным бедствием, и бразильское правительство поступило весьма благоразумно, предложив премию в пятьсот фунтов за эффективный способ их истребления. Столь же верно, что со времени своего первого появления три года назад в районе Бадамы эти муравьи одержали немало выдающихся побед. Фактически они оккупировали весь южный берег реки Батемо протяженностью приблизительно в шестьдесят миль, полностью изгнали оттуда людей, заняли плантации и сеттльменты и захватили по меньшей мере один корабль.

Ходит даже слух, что каким-то необъяснимым образом они переправились через довольно широкий приток Капуараны и продвинулись на много миль к самой Амазонке. Можно не сомневаться, что они гораздо разумнее и обладают более совершенным общественным устройством, чем известные до сих пор виды муравьев: они не рассеяны отдельными общинами, а в сущности, организованы в единую нацию. Но особая и непосредственная опасность для человека заключается не столько в этом, сколько в сознательном применении яда против более сильного врага. По-видимому, их яд весьма схож со змеиным. Он вырабатывается всеми муравьями этого вида, применяют же его при нападении на человека более крупные их экземпляры, пользуясь острыми, как игла, кристаллами.

Подробную информацию о новых претендентах на мировое господство получить, конечно, трудно. Не существует прямых свидетелей их деятельности (если не считать Холройда с его беглыми показаниями), ибо очевидцы не уцелели в столкновении с ними. В районе Верхней Амазонки ходят самые невероятные легенды о смелости и мощи этих муравьев. Легенды эти растут с каждым днем, по мере того как, неуклонно продвигаясь вперед, завоеватели вызывают страх и тревожат воображение человека. Необычайным маленьким существам приписывается умение не только пользоваться орудиями труда, применять огонь и металлы, создавая чудеса инженерной техники, которые потрясли наши северные умы (мы еще не привыкли к таким чудесам, как тоннель под Парахибой, вырытый в 1841 году saub'ами из Рио-де-Жанейро в том месте, где река столь же широка, как Темза у Лондонского моста); им приписывается также метод организованной и подробной регистрации и передачи сведений, аналогичный нашему книгопечатанию. До сих пор они упорно продвигались вперед, захватывая новые территории, вынуждая к бегству или неся гибель всем живущим здесь людям. Их численность быстро растет, и Холройд твердо уверен, что в конце концов они вытеснят человека из всей тропической зоны Южной Америки.

Скажите, почему они не должны двигаться дальше тропиков Южной Америки?

Правда, в настоящее время они находятся именно там. Если они будут продвигаться и впредь, то к 1911 году или около того они атакуют ветку железной дороги, проложенную вдоль Капуараны, и обратят на себя внимание европейских капиталистов.

К 1920 году они доберутся до среднего течения Амазонки. По моим расчетам, к 1950 или самое позднее к 1960 году они откроют Европу.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КОСТЮМ

Был однажды маленький человечек, которому его мать подарила великолепный костюм. Костюм был зеленый и золотой, и соткан он был так нежно и тонко, что я не в силах описать вам этого. При нем к тому же был галстух, оранжевый и пушистый, который завязывался под подбородком, а новенькие пуговицы сияли, как звезды. Маленький человечек был невыразимо горд и счастлив своим костюмом и, надев его в первый раз, остановился перед длинным зеркалом, ослепленный и полный восторга, не в силах оторваться от своего отражения.

Ему хотелось побывать в нем повсюду и показать его всем людям. Он вспомнил все места, в которых когда-либо был, и все виды, описание которых слышал. и старался представить себе, какое бы чувство он испытал, если бы он увидал теперь все эти места и виды в своем новом платье. Ему хотелось тотчас же выйти в новом костюме на горячее солнце в высокую траву на луг. Лишь бы поносить его. Но мать сказала — «нет!» Она объяснила ему, что он должен всячески беречь свое платье, потому что у него никогда не будет другого, такого же прекрасного; он должен щадить и хранить его и надевать только в редких и торжественных случаях. «Это твое свадебное платье», — сказала она.

Она обернула пуговицы тонкой бумагой, чтобы их яркая новизна не потускнела, и прикрепила маленькие предохранительные заплатки к манжетам, на локтях и повсюду, где платье легче всего могло испортиться. Он злился и противился этому всеми силами, но что он мог поделать?

Наконец ее наставления и уговоры подействовали, и он согласился снять свое прекрасное платье, аккуратно сложить его по складкам и спрятать. Это было почти то же, что лишиться его. Но он не переставал мечтать о том, чтобы надеть его опять, и грезил о тех торжественных случаях, когда сможет, наконец, облачиться в свое великолепное платье, не заботясь ни о чем, без предохранительных заплаток, без бумаги на пуговицах, надеть его таким, как оно есть — восхитительное и невыразимо прекрасное.

Раз ночью, когда он, по своему обыкновению, мечтал о нем, ему пригрезилось, будто он снял с одной из пуговиц тонкую бумагу и увидел, что блеск пуговицы несколько потускнел. Это ужасно огорчило его во сне. Он тер бедную померкшую пуговицу, тер ее изо всех сил, а она как будто делалась еще тусклее. Он проснулся и лежал без сна, думая о блеске, который слегка потускнел, и представляя себе, что он почувствует, если одна из пуговиц действительно утратит хоть немного свою первоначальную сияющую свежесть, когда торжественный случай (каков бы он ни был), наконец, настанет. И мысль эта уже не оставляла его и приводила его в отчаяние. И когда в следующий раз мать позволила ему надеть платье, он почувствовал искушение — и едва устоял против него — хоть чуточку приподнять кусочек бумаги и посмотреть, остались ли пуговицы в самом деле такими же блестящими, как раньше.

Он чинно шел по дороге в церковь, полный неистового желания. Потому что вам нужно знать, что мать позволяла ему иногда, с бесконечными наставлениями и всяческими предосторожностями, завернув пуговицы бумагой и прикрепив заплатки, надеть великолепный костюм: например, по воскресеньям, чтобы пойти в церковь, когда на дворе не было ни дождя, ни пыли или чего-нибудь другого, что могло бы повредить костюму; а если солнце казалось слишком горячим для его нежных красок, она давала ему в руку зонтик, чтобы защитить костюм. И всегда после этого он сам чистил платье щеткой, безукоризненно складывал его, как она научила его, и снова прятал.

И всем этим стеснениям, которыми мать связывала его, когда он надевал костюм, он всегда подчинялся. Он подчинялся им всегда до того раза, как он проснулся раз в одну странную ночь и увидел лунный свет, сиявший за окном. Ему показалось, что этот свет не обычный свет луны, и ночь — не обыкновенная ночь, и некоторое время он продолжал лежать совсем сонный, с этой странной уверенностью в уме. Мысль присоединялась к мысли, точно существа, горячо шепчущие в темноте. Вдруг он выпрямился в своей маленькой постельке с внезапной бодро-

стью; сердце его колотилось быстро, быстро, а тело трепетало с головы до ног. Он решился. Он знал, что сейчас наденет свое платье так, как его следует носить. Он не колебался. Ему было страшно, ужасно страшно, но он был рад, рад бесконечно. Он встал с кровати и остановился на минуту перед окном, глядя на залитый лунным сиянием сад и дрожа перед тем, что он собирался сделать. Воздух был полон дробного стрекотанья сверчков и шепота, бесконечно мелких шумов крошечных живых существ. Боясь разбудить спящий дом, он осторожно прошел по скрипящим половицам к большому темному гардеробу, где лежал сложенным его великолепный костюм. Он вынул одну принадлежность за другой и мягко, но нетерпеливо сорвал тонкую бумагу с пуговиц и все заплатки, пока платье не предстало перед ним — совершенное и восхитительное, такое, каким он видел его, когда мать впервые — это было, казалось, уже так давно! — подарила ему его. Ни одна пуговица не потускнела, ни одна нитка не поблекла на его милом костюме. Он был так рад, что чуть не плакал, когда бесшумно и торопливо надевал его. Затем он осторожно и быстро вернулся к окну, которое выходило в сад, и постоял перед ним минуту, сияя в лунном свете со своими пуговицами, мерцавшими, как звезды. Потом он вышел на крыльцо и, стараясь производить как можно меньше шороха, спустился вниз на садовую дорожку. Он стоял перед домом своей матери, и дом был белый и почти такой же светлый, как и днем. Все ставни, кроме его окна, были закрыты, точно глаза, которые спят. Деревья бросали на стены спокойные тени, похожие на сложное черное кружево. Сад при луне был совеем не тот, что днем; лунный свет вплетался в изгороди и тянулся призрачными паутинами от ветки к ветке. Каждый цветок светился белизной или алым сумраком, а воздух весь трепетал от стрекотанья маленьких сверчков и трелей невидимых соловьев, распевавших в гуще деревьев.

В мире не было тьмы, — а одни лишь теплые таинственные тени. Все листья и ветки были окаймлены и исчерчены радужными бриллиантами росы. Ночь была теплее всех ночей, когда-либо спускавшихся на мир, а небеса каким-то чудом приблизились, сделались еще просторнее и, несмотря на большую, цвета слоновой кости, луну, которая царила над миром, были полны звезд.

Маленький человечек не кричал и не пел, несмотря на всю свою бесконечную радость. Он стоял некоторое время, точно пораженный, потом со странным легким криком вытянул руки вперед и побежал, как будто желая обнять сразу всю бесконечность мира. Он бежал не по аккуратно разбитым дорожкам, правильно перерезавшим сад, а мчался через клумбы, через мокрые высокие душистые травы, через табак, купы призрачных белых цветов мальвы, сквозь гущу божьих деревьев и лаванды и, утопая в ней по колено, через широкую лужайку резеды. Он добежал до большой изгороди и прорвался через нее. Шипы терновника глубоко царапали его и вырывали нити из великолепного костюма, а репейник и колючие травы цеплялись и приставали к нему, но он не обращал на это внимания. Он не беспокоился, потому что знал, что все это часть того торжественного случая, по которому он томился.

— Я рад, что надел свой костюм, — говорил он, — я рад, что на мне мой костюм.

За изгородью он увидел утиный пруд или, во всяком случае, то, что считалось днем утиным прудом; но ночью это была большая чаша, полная серебряного лунного света, звенящего от пения лягушек, чудесного серебряного сияния, заплетающегося и свертывающегося в странные узоры, и маленький человечек бросился вниз, в воду, между тонких черных камышей, погрузившись сначала по колено, потом по пояс и по плечи, разбивая обеими руками воду на блестящие черные маленькие волны, качающиеся трепещущие маленькие волны, между которыми в сетях, сплетенных из отражений задумчивых прибрежных деревьев, томились звезды. Он шел сначала бродом, потом поплыл, пересек таким образом пруд и вышел на другой стороне, оставляя за собой след, который казался ему не примятой утиной травой, а чистым серебром, стекавшим длинными звенящими нитями. И он направился вверх че-

рез преображенные заросли ивняка и по некошенным семенным травам дальнего берега. Он выбежал, радостный и запыхавшийся на большую дорогу.

— Я рад, — говорил он, — невыразимо рад, что на мне платье, которое подходит к этому случаю.

Большая дорога устремлялась прямо, прямо, как летит стрела, в темно-синий колодец неба под луной, и он шел вдоль этой белой блестящей дороги, между поющих соловьев, то бегом, вприпрыжку, то медленно, радуясь своему костюму, который мать соткала для него неутомимыми любящими руками. Глубокая пыль покрывала дорогу, но она ему казалась лишь мягкой белизной. Большая мрачная ночная бабочка начала порхать вокруг его мокрой, блестящей и торопящейся фигуры. Сначала он не обращал на нее внимания, потом замахал руками и проплясал с ней какой-то танец, в то время как она кружилась вокруг его головы.

— Прелестная бабочка! — воскликнул он, — милая бабочка и чудная ночь, чудеснейшая ночь в мире! Ты находишь мое платье прекрасным, дорогая бабочка? Таким же прекрасным, как твои крылышки и все эти серебряные одежды земли и неба?

И бабочка кружилась все ближе и ближе, так что ее бархатные крылышки стали задевать, наконец, его губы....

На следующее утро его нашли мертвым, со сломанной шеей, на дне каменоломни. Его великолепное платье было слегка окровавлено, запачкано тиной и дурно пахло, но лицо сияло таким счастьем, что, увидев его, вы поняли бы в самом деле, каким он умер счастливым, так и не узнав в прохладном струящемся серебре траву из утиного пруда.

БОГ ДИНАМО

МОРСКИЕ ПИРАТЫ

1

До необычайного происшествия в Сидмауте особый вид Haploteuthis ferox был описан в науке только в самых общих чертах, на основании полупереваренных щупальцев, добытых близ Азорских островов, да изуродованного тела, исклеванного птицами и изъеденного рыбами, которое было найдено в начале 1896 года мистером Дженнингсом у мыса Лендс-Энд.

И действительно, ни в одной области зоологии мы не бродим в такой темноте, как в той, которая изучает глубоководных кефалоподов. Только случайность, например, привела к открытию князя Монакского, нашедшего летом 1895 года около дюжины новых форм. Добыча включала и вышеупомянутые щупальца. Это произошло совершенно неожиданно. Китоловы убили за Тэрсейрой кашалота; в предсмертных судорогах он бросился прямо на яхту князя, но не рассчитал сил, перекатился через нее и издох в двадцати ярдах от руля. Во время агонии он выбросил большое количество каких-то крупных предметов. Князь, смутно разобрав, что это что-то ему незнакомое и, по-видимому,

интересное, сумел благодаря своей находчивости вытащить их из воды, прежде чем они затонули. Он приказал привести в движение винты и заставил эти предметы вертеться в созданных таким образом водоворотах. Тем временем быстро спустили шлюпку. Так вот эти куски и оказались целыми кефалоподами и частями их. Некоторые экземпляры достигали гигантских размеров и почти все были совершенно не известны науке!

По-видимому, эти большие и проворные твари, населяющие средние глубины моря, навсегда останутся неизвестными нам; держась всегда под водой, они неуловимы для сетей и могут попасть к нам в руки только в результате какого-нибудь редкого, непредвиденного происшествия вроде вышеуказанного. Что касается Haploteuthis ferox, например, мы до сих пор ничего не знаем о них, так же как о местах рождения сельдей или морских путях лосося. Зоологи так и не могут объяснить их неожиданное появление у наших берегов. Возможно, что голод поднял их из глубины. Но, может быть, лучше не вдаваться в разные гадательные рассуждения и прямо приступить к нашему рассказу.

Первым человеческим существом, увидевшим своими глазами живого Haploteuthis, точнее: первым человеческим существом, оставшимся в живых, увидев его, — так как теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купающимися и катающимися в лодках, пронесшаяся вдоль побережья Корнуэлса и Дэвона в начале мая, была вызвана именно этой причиной, — был удалившийся от дел чайный торговец по фамилии Физон, проживавший в пансионе в Сидмауте. Это произошло днем, когда он гулял по тропинке вдоль скал между Сидмаутом и бухтой Ладрам. Скалы здесь очень обрывистые, но в одном месте в их красной поверхности вырублен ступенчатый спуск. Мистер Физон находился как раз возле этого места, когда внимание его привлекла шевелящаяся масса, которую он сначала принял за стаю птиц, дерущихся из-за какой-то добычи, поблескивавшей на солнце розовато-белым отсветом. Было время отлива, и масса эта,

находившаяся довольно далеко, кроме этого, отделялась еще широкой полосой скалистых рифов, покрытых темными морскими водорослями и местами перерезанных серебристыми лужами. Нужно еще сказать, что мистера Физона ослеплял блеск расстилавшегося вдали моря.

Посмотрев через минуту еще раз в ту сторону, он заметил, что ошибся: над грудой кружилось множество птиц, главным образом галок и чаек; крылья чаек ослепительно сверкали в солнечных лучах, и птицы казались крошечными по сравнению с лежавшей внизу массой. Любопытство мистера Физона, конечно, еще более возросло от того, что его первое впечатление оказалось ошибочным.

Так как мистер Физон гулял исключительно для собственного удовольствия, вполне естественно, что он вместо того, чтобы идти к бухте Ладрам, решил посмотреть на загадочную массу. Он подумал, что это, может быть, какая-нибудь большая рыба, случайно выброшенная на берег и бьющаяся на песке. И вот он стал поспешно спускаться по крутой, длинной лестнице, останавливаясь приблизительно через каждые тридцать футов, чтобы перевести дыхание и взглянуть на таинственный предмет.

Сойдя к подножью скалы, Физон оказался, конечно, ближе к заинтересовавшему его предмету; но тот был теперь как раз на фоне пылающего неба и выглядел поэтому темным и неясным. То, что казалось в нем розоватым, было теперь закрыто грудой покрытых водорослями валунов. Все-таки мистер Физон разглядел, что масса состоит из семи округленных тел, — не то отдельных, не то соединенных в одно целое, — и заметил, что птицы все время кричат, облетая массу, но, видимо, боятся приблизиться к ней.

Мистер Физон, увлекаемый любопытством, начал пробираться по источенным волнами скалам. Убедившись, что густой слой морских водорослей делает их очень скользкими, он остановился, снял ботинки и засучил брюки выше колен. Он сделал это, конечно, для того, чтобы не поскользнуться и не упасть в одну из луж; кроме того, он, может быть, просто воспользовался, как это сделали

бы многие, предлогом хоть на минуту вернуться к ощущениям детства. Во всяком случае, несомненно, что это спасло ему жизнь.

Он приблизился к своей цели с той уверенностью, которую полная безопасность здешних мест внушает их обитателям. Круглые тела двигались взад и вперед. Только поднявшись на груду валунов, о которой я упоминал, он обнаружил страшный смысл своего открытия. Это застигло его врасплох.

Когда он показался на гребне, округлые тела распались и обнаружили розовый предмет, который оказался наполовину съеденным человеческим телом, — мужчины или женщины, он не мог определить. А округлые тела оказались неведомыми, чудовищно выглядевшими тварями, по форме немного напоминающими осьминога с огромными подвижными щупальцами, извивающимися на песке. Шкура их неприятно блестела, как лакированная кожа. Изгиб окруженного щупальцами рта, странный нарост надо ртом и большие осмысленные глаза придавали этим существам какое-то уродливое сходство с лицом человека. Туловища их по величине напоминали крупную свинью; щупальца, как ему показалось, были длиной в несколько футов. Он полагает, что чудовищ было по меньшей мере семь или восемь. В двенадцати ярдах позади них, в пене возвращающегося прилива, из моря выползали еще два.

Они лежали, распластавшись на камнях, и глаза их уставились на Физона со злобным любопытством. Но, повидимому, мистер Физон не испугался и даже не понял, что он подвергается опасности. Его спокойствие, нужно думать, объясняется вялостью их движений. Но, конечно, он был потрясен и вознегодовал, увидев, что эти возмутительные твари пожирают человеческое тело. Он подумал, что им попался утопленник. Мистер Физон закричал на них, чтобы отогнать. Увидев, что это на них не действует, он поднял большой камень и запустил им в одно из чудовищ. И вот чудовища, расправляя щупальца, медленно двинулись к нему. Они осторожно ползли, обмениваясь друг с другом тихими, мурлыкающими звуками.

Тут только мистер Физон понял, что ему угрожает, и побежал назад. Пробежав двадцать ярдов, он остановился и оглянулся. Он был уверен, что чудовища очень неповоротливы. Но — увы! — щупальца передового уже цеплялись за скалистый гребень, на котором он только что стоял!

Увидев это, он опять закричал — теперь уже от страха — и пустился бежать. Он перескакивал через камни, скользил, перебирался вброд по пересеченному водой пространству, отделяющему его от берега. Высокие красные утесы вдруг отодвинулись страшно далеко, и двое рабочих, занятых исправлением ступенек спуска и не подозревавшие о беге, в котором ставкой была человеческая жизнь, казались ему существами из другого мира. Он слышал, как чудовища плескались в луже в каком-нибудь десятке шагов от него. Один раз он поскользнулся и упал.

Чудовища преследовали Физона до самого подножья скал и отступили тогда, когда у их основания к нему присоединились рабочие. Втроем они забросали чудовищ камнями, а потом поспешили в Сидмаут, чтобы заручиться помощью и лодками и вырвать оскверненное тело из щупальцев этих гнусных тварей.

2

Не удовольствовавшись своим первым опытом, мистер Физон тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения.

Прилив уже начался, и пришлось сделать довольно большой круг, чтобы добраться до места. Когда они, наконец, добрались, истерзанное тело уже исчезло. Вода прибывала, затопляя одну за другой груды тинистых камней, И четверо в лодке — рабочие, лодочник и мистер Физон — стали смотреть уже не на берег, а на воду под килем.

Сначала им удалось различить в воде только очень немногое: темную и густую чащу водорослей ламинарии, в которой изредка мелькала рыба. Они искали приключений и поэтому громко выражали свое разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно уплывало в откры-

тое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физону качанье привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте, отчаянно борясь друг с другом из-за чего-то: может быть, из-за утопленника. Через минуту бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой.

Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тотчас же они заметили суетливое движение в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что все дно между водорослями словно усеяно глазами.

— Уроды проклятые! — крикнул один из рабочих. — Да их тут целые дюжины!

Тотчас же чудовища начали подниматься на поверхность. Мистер Физон впоследствии описал автору этих строк поразительную картину появления чудовищ из колеблющейся заросли ламинарий. Ему казалось тогда, что это длилось довольно долго, но, вероятно, на самом деле все произошло в несколько секунд. Сперва появились одни глаза, потом показались щупальца, которые вытягивались то там, то здесь, раздвигая чащу водорослей. Потом странные существа начали увеличиваться в размере, пока, наконец, дна не стало видно за их переплетающимися телами и концы щупальцев не показались над волнующейся поверхностью воды.

Одна из тварей дерзко всплыла у самой лодки и, цепляясь за нее тремя из своих заканчивающихся присосами щупальцев, перебросила четыре остальных через борт, как будто намереваясь не то перевернуть лодку, не то забраться в нее. Мистер Физон тотчас же схватил багор и, яростно колотя им по мягким щупальцам твари, заставил ее отступить. Тут он получил удар в спину, чуть не сваливший его за борт: дело в том, что лодочнику пришлось пустить в ход весло, чтоб отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Щупальца отступили и погрузились в воду.

— Лучше уберемся отсюда, — сказал мистер Физон, дрожа всем телом.

Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за весла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупальцев. Все молчали. Мистер Физон выразил общее желание. Притихшие и испуганные, с вытянутыми, бледными лицами, они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались.

Но только весла погрузились в воду, как темные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движения и обвились вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петлеобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на весла и рванули изо всех сил — но без результата: так застревает лодка в плавучих массах водорослей.

— Помогите! — крикнул лодочник, и мистер Физон со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло.

В это время человек с багром, — его звали, кажется, Ивэн, — с проклятием вскочил и, нагнувшись над бортом, стал, насколько это ему удавалось, наносить удары по кольцу щупальцев, которые сомкнулись вокруг подводной части лодки. Оба гребца тоже вскочили, чтобы найти лучшую точку опоры и вытащить весла. Лодочник передал свое весло мистеру Физону, и тот изо всех сил принялся тащить его. А в это время лодочник, открыв большой складной нож и тоже наклонившись над бортом, начал рубить обвившиеся вокруг весла скользкие присосы.

Мистер Физон, шатаясь от судорожных колебаний лодки, стиснув зубы, задыхаясь, с надувшимися от напряжения жилами на руках, вдруг устремил взгляд в море. В пятидесяти шагах от них по мощным валам надвигающегося прилива прямо к ним плыла большая лодка. Мистер Физон заметил трех женщин и ребенка; лодочник был на веслах, а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физон думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь; потом он подумал о ребенке. Он тотчас же опустил

весло, отчаянным движением вскинул руки и крикнул компании в лодке, чтобы она скорей отъезжала «ради бога». Мистер Физон даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма, что, конечно, свидетельствует о его скромности и мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в двадцати ярдах от них.

В ту же минуту мистер Физон почувствовал, что лодка сильно закачалась, и хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физон обернулся и увидел, что Хилл с искаженным от ужаса лицом корчится у передней уключины, а правая рука его погружена в воду за бортом и кто-то тянет ее вниз. Он издавал только резкие короткие крики: «О-о-о!» Мистер Физон думает, что Хилл был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить, как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Ивэн и второй рабочий багром и веслом били по воде справа и слева от погруженной руки Хилла. Физон инстинктивно стал так, чтобы выровнять лодку.

Тогда Хилл, дюжий, здоровый человек, сделал отчаянное усилие и почти встал на ноги. Он вытащил руку из воды. Она была опутана сложным сплетением коричневых канатов. Глаза ухватившего его чудовища, глядя прямо и решительно, на мгновение показались на поверхности. Лодка кренилась все больше и больше, и вдруг коричневато-зеленая вода хлынула через борт, Хилл поскользнулся и упал всем корпусом на борт; рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хилл перевернулся и ударил сапогом по колену мистера Физона, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение вокруг пояса и шеи Хилла обвились новые щупальца, и после короткой и судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, Хилл был перетянут через борт, а лодка выпрямилась от сильного толчка, который едва не перебросил мистера Физона через другой борт и скрыл от его глаз борьбу, продолжавшуюся в воде.

Мистер Физон выпрямился, напрасно стараясь найти равновесие, как вдруг заметил, что борьба с чудовищами и поднимающийся прилив снова отнесли их к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь четырех ярдах плоский камень равномерно вздымался над омывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физон вырвал у Ивэна весло, изо всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул. Он почувствовал, что ноги его скользят по камню. С отчаянным усилием он заставил себя перепрыгнуть на соседний камень. Он споткнулся, упал на колени и снова поднялся.

— Берегись! — крикнул кто-то, и большое тело ударило его сзади.

Он растянулся плашмя в луже, оставленной приливом, сбитый с ног одним из рабочих, и, падая, услышал придушенные, отрывистые крики, как он думал тогда, Хилла. Мистер Физон подивился пронзительности голоса Хилла и разнообразию его оттенков. Кто-то перепрыгнул через него, поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги и, не оглядываясь на море, промокший до костей, со всей быстротой, на какую делал его способным страх, побежал к берегу. Перед ним по отмели между камнями, на небольшом расстоянии друг от друга, спотыкаясь, бежали оба рабочих.

Наконец мистер Физон оглянулся через плечо и, увидев, что погони нет, огляделся. Он был ошеломлен. С самого момента появления кефалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчет в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна.

Над ним сияло безоблачное послеполуденное небо, и море колыхалось в ослепительном блеске; пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие, темные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах ярдах в двенадцати от берега. Хилл и чудовища, напряжение и ярость смертельной борьбы исчезли, как будто их вовсе не было.

Сердце мистера Физона неистово колотилось. Он дрожал всем телом и тяжело дышал.

Однако чего-то не хватало. Несколько мгновений он не мог сообразить, чего именно. Солнце, море, небо, скалы — чего же еще? Потом он вспомнил о лодке с катающимися. Она исчезла. Уж не выдумал ли он ее? Он обернулся и увидел двух рабочих. Они стояли рядом под нависшей массой высоких розовых скал. Он спросил себя, не следует ли ему сделать еще одну, последнюю, попытку спасти Хилла. Но его нервное напряжение улеглось, он чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернулся к берегу и направился, спотыкаясь и шлепая по воде, к своим спутникам.

Оглянувшись еще раз, он увидел в море две лодки; та, которая была дальше, неуклюже качалась, опрокинутая кверху килем.

3

Вот каково было появление Haploteuthis ferox на девонширском побережье. Это было самое опасное нападение чудовищ вплоть до настоящего времени. Если сопоставить рассказ мистера Физона с несчастными случаями при катании на лодках и купании, о которых я уже упоминал, с отсутствием в этом году рыбы у корнуэльских берегов, нам станет ясно, что стаи этих прожорливых выходцев из морских глубин пробирались за добычей вдоль заливаемой приливом береговой линии.

Высказывалось предположение, будто силой, поднявшей их на поверхность и побудившей к переселению, был голод. Но я лично склоняюсь к теории, выдвинутой Хемсли. Хемсли утверждает, что стая этих тварей приохотилась к человеческому мясу, доставшемуся ей в результате крушения какого-нибудь корабля, погрузившегося в ее владения, и вышла из своей привычной зоны в поисках этого лакомства. Подстерегая и преследуя суда, она добралась до наших берегов по следам трансатлантических пароходов. Но обсуждать здесь убедительные, прекрасно обоснованные доводы Хемсли, пожалуй, неуместно.

Может быть, аппетиты стаи удовлетворились добычей в одиннадцать человек, потому что, насколько удалось выяснить, во второй лодке было десять. Во всяком случае, в этот день чудовища ничем не обнаружили своего присутствия у Сидмаута. Весь вечер и всю ночь после происшествия берег между Ситоном и Бадли-Солтертоном находился под надзором четырех лодок таможенной стражи, вооруженной гарпунами и кортиками. С вечера к ним присоединилось множество так или иначе вооруженных экспедиций, организованных частными лицами. Мистер Физон, однако, не принял участия ни в одной из них.

Около полуночи с одной из лодок, находившейся в море приблизительно в двух милях от берега к юго-востоку от Сидмаута, донеслись взволнованные крики и показались странные сигналы фонарем: в обе стороны и сверху вниз. Ближайшие лодки тотчас же поспешили на тревогу. Храбрецы в лодке — моряк, викарий и два школьника — действительно увидели чудовищ, которые прошли под их лодкой. Как и все живущие в глубине существа, животные фосфоресцировали. Они проплыли приблизительно на глубине пяти-шести ярдов, подобные отблескам лунного света в черной воде. Втянув щупальца, словно погруженные в спячку, медленно перекатываясь и подвигаясь клинообразной стаей, они плыли на юго-восток.

Сидевшие в лодке передавали свои впечатления восклицаниями, отчаянно жестикулируя. Сначала к ним подошла одна лодка, потом — другая; под конец вокруг них образовалась маленькая флотилия из восьми или девяти лодок, и в тишине ночи поднялся шум, словно гомон на рынке. Желающих преследовать стаю оказалось очень мало или даже вовсе не оказалось: у людей не было ни оружия, ни опыта для такой рискованной охоты, и скоро — может быть, даже с чувством некоторого облегчения — все повернули назад, к берегу.

А теперь я перейду к тому, что является, пожалуй, самым поразительным фактом во всей этой удивительной истории. У нас нет никаких сведений о дальнейшем движении стаи, хотя весь юго-западный берег был настороже.

Можно, пожалуй, считать показательным тот факт, что третьего июня в Сарке на берег был выброшен кашалот. А через две недели и три дня после сидмаутского приключения на песчаный берег в Кале выплыл Haploteuthis. Он был еще живой. Несколько свидетелей видели, как его щупальца судорожно двигались; но, по-видимому, он уже подыхал. Некий господин Пуше достал ружье и застрелил его.

Это был последний живой Haploteuthis. Их больше не видели и на французском берегу. Пятнадцатого июня почти не поврежденный труп чудовища был выброшен на берег близ Торкэ, а через несколько дней судно биологической морской станции, производящее исследование близ Плимута, выловило гниющее туловище чудовища с глубокой рубленой раной, нанесенной кортиком. В последний день июня мистер Экберт Кэйн, художник, купаясь близ Ньюлина, вдруг вскинул руки, закричал и пошел ко дну. Его друг, купавшийся вместе с ним, не сделал попытки спасти его и сейчас же поплыл к берегу. Вот последнее происшествие, которое еще раз напомнило об этом необыкновенном набеге из морской глубины. Сейчас еще преждевременно утверждать, что набег не повторится, но будем думать, надеяться, что чудовища теперь ушли, — ушли навсегда в непроницаемые для солнечного света океанские глубины, из которых они так странно и неожиданно выплыли.

ДЖИММИ — ПУЧЕГЛАЗЫЙ БОГ

—Не каждому доводилось быть богом, — сказал загорелый мужчина. — А вот мне пришлось. Со мной всяко бывало.

Я заметил, что говорит он со мной явно свысока.

— Кажется, куда уж больше, верно? — сказал он. И продолжал: — Я из тех, кто уцелел, когда пошел ко дну «Морской разведчик». Фу ты, пропасть! Как летит время!

Двадцать лет прошло. Вы, верно, и не помните, что это за «Морской разведчик».

Название как будто знакомое. Я стал припоминать, где и когда я его слышал. «Морской разведчик»?

— Что-то такое с золотым песком... — начал я неуверенно. — А что именно...

— Вот-вот, — подхватил он. — Дело было в одном паршивом проливчике... Зашел он туда случайно, укрыться от пиратов. Это было еще до того, как с ними покончили. А в тех местах были вулканы какие-то, и всюду, где не надо, торчали скалы. Неподалеку от Суны много таких мест, там только гляди да поглядывай, не то враз налетишь на риф. Ну, мы и ахнуть не успели, как посудина ушла под воду, глубина — двадцать сажен, а на борту золота на пятьдесят тысяч фунтов, и песка и в слитках.

— Спасся кто-нибудь?

— Трое.

— Да, да, припоминаю, — сказал я. — Там еще велись потом спасательные работы...

Едва я произнес эти слова, загорелый разразился такой ужасной бранью, что меня взяла оторопь. Он перешел на более обычные ругательства и вдруг замолчал.

— Прошу прощения, — сказал он, — но... как услышу про спасательные работы...

Он наклонился ко мне.

— Я ведь тоже в это ввязался. Хотел заделаться богачом, а заделался богом. Как вспомню, душа горит...

Это, знаете, не сахар — быть богом, — опять начал он и потом высказал еще несколько столь же категорических афоризмов, которые, однако, ничего не объясняли. Наконец он вернулся к своему рассказу.

— Нас было трое: я, один матрос по имени Джекобс и Олвейз — помощник капитана с «Морского разведчика». Он-то и заварил кашу. Помню, мы плыли в шлюпке, и он подбросил нам эту мыслишку, всего-то два словечка сказал. Он был мастак по части всяких таких затей. «На этой посудине, — говорит, — осталось сорок тысяч фунтов, и уж кто-кто, а я-то точно знаю место, где она лежит». Ну,

дальше уж не требовалось большого ума, чтобы смекнуть, что к чему. Он и заправлял всем с начала и до конца. Втянул в это дело братьев Сандерсов — у них была своя шхуна «Гордость Бенин» — и еще купил водолазный костюм — подержанный, с аппаратом для сжатого воздуха, так что не надо было нагнетать воздух помпой. Он бы и нырял сам, да не переносил глубины. А настоящие спасатели мотались где-то у Старр Рейса, за сто двадцать миль оттуда, и пресерьезно сверялись по карте, которую он самолично для них состряпал.

И весело же нам было на этой шхуне, скажу я вам! Все плавание мы балагурили, выпивали и тешили себя самыми радужными надеждами. Дело казалось нам ясным и простым, это был, как говорят тертые парни, «верняк». Мы все рассуждали, как там успехи у тех блаженных дураков, у настоящих спасателей — вышли-то они на два дня раньше нас, — и хохотали до упаду. Обедали мы все вместе в каюте Сандерсов; занятная получилась команда: все капитаны и ни одного матроса, — и тут же торчал водолазный скафандр, дожидался своего часа. Младший Сандерс был парень смешливый, а это чучело и вправду потешное: огромная круглая башка, выпученные глазища. Сандерс и устроил из него забаву. Назвал его «Джимми Пучеглазый» и разговаривал с ним, как с человеком. Спрашивал, не женат ли он и как поживает миссис Пучеглазая и маленькие Пучеглазики. Прямо живот надорвешь. И каждый божий день все мы пили за здоровье Джимми, отвинчивали один глаз и вливали ему в нутро стаканчик рому, так что под конец от него уже не резиной воняло, а несло, как из винной бочки. Веселое было времечко, скажу я вам, мы и не чуяли, бедолаги, что нас ждет.

Сами понимаете, мы вовсе не собирались пороть горячку и рисковать понапрасну. Целый день мы осторожно, прощупывая дно, пробирались к «Морскому разведчику» — он затонул как раз между двух вязких серых гребней, это были языки лавы, и они круто подымались со дна, чуть что из воды не торчали. Пришлось остановиться за полмили, чтобы бросить якорь в безопасном месте, и тут мы разругались: кому остаться на борту? А та посудина как пошла ко дну, так на том же месте и лежала, даже видно было верхушку одной мачты. Спорили мы, спорили и всей оравой полезли в лодку. И я, надев водолазный костюм, ушел под воду. Было это в пятницу утром, едва только начинало светать.

Вот это было чудо! И сейчас вижу эту картину. Заря чуть занялась, и все кругом выглядело как-то чудно. Кто не был в тропиках, думает, там все сплошь ровный берег, да пальмы, да прибой. Как бы не так! В том местечке, к примеру, ничего похожего не было. Мы-то привыкли: скалы — так уж скалы, и волна о них бьется. А тут тянутся под водой этакие изогнутые серые насыпи, будто отвалы железного шлака, а понизу зеленая плесень; кое-где по хребту машут ветками колючие кусты: вода гладкая, стекло стеклом, и отсвечивает тускло, как свинец, а в ней застыли огромные водоросли, бурые, даже красные, и между ними ползает и шныряет разная живая тварь. А дальше, за этими отвалами, за рвами и котловинами, — гора, и по склонам лес вырос после пожаров и камнепадов последнего извержения. И на другой стороне тоже лес, а над ним торчат, будто развалины, будто — как бишь его? — амбатеатр из черных и рыжих угольев, из лавы этой самой, и посередке, точно в бухте, плещется море.

Так вот, значит, рассвет едва начинался, и все кругом казалось еще серым, белесым, и, кроме нас, в проливе не видать ни души. Только за грядой скал, ближе к открытому морю, стояла на якоре «Гордость Бенин».

Ни души, — повторил он и продолжал не сразу: — Даже не представляю, откуда они взялись. А мы-то были уверены, что кругом никого нет, и Сандерс-младший, бедняга, распевал во все горло. Я влез в шкуру Джимми Пучеглазого, только шлем еще не надел. «Одерживай, — предупредил Олвейз. — Вот она, мачта». Глянул я одним глазком через планшир и схватился за шлем, а тут Сандерс-старший круто развернул лодку, и я чуть не вывалился за борт. Завинтили мне гляделки в шлеме, все в порядке, я закрыл клапан в поясе, чтобы воздух не поступал

и легче было погружаться, и прыгнул в воду ногами вперед: лестницы-то у нас не было. Лодка закачалась, все, не отрываясь, смотрели мне вслед, а меня с головой укрыла темнота и водоросли вокруг мачты. Наверное, даже самый осторожный человек на свете не стал бы в таком месте никого опасаться. Уж очень пустынно и глухо там было.

Конечно, и то возьмите в расчет — ныряльщик я никакой. И никто из нас водолазом не был. Сколько пришлось повозиться, пока мы освоились с этим балахоном, а погружался я в первый раз. Ощущение премерзкое. Уши заложило — беда! Знаете, бывает: зевнешь или чихнешь — и отдает в ухо, — так вот, оно похоже, только в десять раз хуже. Башка трещит, вот тут, во лбу, прямо раскалывается и тяжелая, будто от сильной простуды. Дышать трудно. И под ложечкой сосет, идешь вниз, а чувство такое, словно наоборот, вверх тебя подымает, и конца этому нет. И не можешь задрать голову и посмотреть, что там, над тобой, и что делается с ногами — тоже не видать. И чем глубже, тем становится темнее, да еще на дне черный ил и пепел. Будто пятишься из утра обратно в ночь.

Из тьмы, точно привидение, показалась мачта, потом стаи рыб, потом заколыхался целый лес красных водорослей; бац! — я глухо стукнулся о палубу «Морского разведчика», и от меня, словно летом рой мух с помойки, метнулись рыбешки, кормившиеся мертвецами. Я отвернул кран, пустил сжатый воздух, потому что в скафандре стало душновато и все еще, несмотря на ром, пахло резиной, и стою, прихожу в себя. Здесь, внизу, было прохладно, и это помогло мне отдышаться.

Полегчало мне, начал я осматриваться. Удивительное это было зрелище. Даже свет необыкновенный — будто сумерки, и отдает красным, это из-за водорослей, они так и вьются лентами по обе стороны корабля. А высоко над головой свет зеленовато-синий, точно в лунную ночь. Палуба целехонька, пустая и гладкая, только выломаны две мачты да есть небольшой крен на правый борт; а нос и корма теряются во тьме кромешной. И не видать ни одного мертвеца, я подумал: верно, они лежат за бортом в водорослях; но после нашел скелеты двух человек в пассажирских каютах, там, где их настигла смерть. Как-то не по себе мне было, стою на палубе и понемногу все узнаю: вот местечко у поручней, тут я любил покурить в ясную ночь, а вон в том уголке один малый из Сиднея частенько любезничал со вдовушкой-пассажиркой. Оба они были не худенькие, а теперь — месяца не прошло — на них даже детенышу краба нечем поживиться...

Я всегда любил пофилософствовать, вот и потратил добрые пять минут на эти размышления, а уж потом отправился вниз, где хранилось это треклятое золото. Поиски оказались делом нескорым, двигался я больше ощупью, тьма — хоть глаз выколи, только из люка чуть сочился тусклый синий свет. Вокруг шныряли какие-то твари, одна легонько ткнулась в стекло очков, другая цапнула меня за ногу. Крабы, наверное... Я поддел ногой кучу какого-то непонятного хлама, нагнулся и поднял что-то такое все в шишках и шипах. Что бы вы думали? Позвоночник. Я, правда, не из брезгливых... Мы заранее до тонкости все обсудили, к тому же Олвейз точно знал, где стоял сундук. Я нашел его с первого раза. Мне удалось приподнять его за один угол на дюйм, не больше.

Он внезапно оборвал рассказ.

— Я держал его в руках, понимаете? — сказал он. — Золото! На сорок тысяч фунтов чистого золота! Я заорал «ура» или вроде того и чуть не оглох в своем шлеме. Мне уже не хватало воздуха, да и устал я — пробыл под водой уже минут двадцать пять — и решил, что с меня довольно. Отправился наверх через тот же люк и только высунул голову над палубой, вижу, страшенный крабище, как бешеный, прыгнул в сторону и мигом исчез за бортом. Я не на шутку струхнул. Вылез на палубу, закрыл клапан сзади на шлеме, чтобы скопился воздух и вынес меня наверх. И замечаю: что-то шлепает над головой, будто лупят веслом по воде, — но вверх не поглядел. Думал, наши мне сигналят, что пора подниматься.

И тут мимо меня промелькнуло что-то тяжелое, воткнулось в деревянную обшивку и дрожит. Я глянул, а это

длинный нож — я не раз видал его в руках Сандерса-младшего. Уронил, думаю, дурак, чуть меня не проткнул, ругаю его на все корки и начинаю подниматься к свету. Я был уже почти у верхушки мачты, как вдруг — бац! Что-то на меня свалилось, и чей-то башмак стукнул меня спереди по шлему. Потом навалилось что-то еще, оно отчаянно билось. Чувствую: увесистая штука, давит на голову, и вертится, и крутится. Если бы не башмак, я бы подумал, что это громадный осьминог или вроде того. Но осьминоги башмаков не носят. Все это случилось в одну минуту. Я почувствовал, что опять иду ко дну, растопырил руки, чтоб удержаться, но тут вся эта тяжесть соскользнула с меня и ухнула вниз, а меня подняло вверх...

Он помолчал.

— Я увидал голое черное плечо, а за ним лицо Сандерса-младшего, шею ему насквозь проткнуло копье, а изо рта и из раны будто розовый дым клубился в воде. Так они и ушли вниз, вцепившись друг в друга и кувыркаясь, они уже не в силах были выпустить друг друга. Еще миг — и я хлопнулся шлемом о днище негритянского каноэ, чуть голову не расшиб. Негры! Целых два каноэ.

Жутко мне стало. Через борт перевалился Олвейз — в нем торчали сразу три копья. Вокруг меня в воде бултыхались ноги нескольких чернокожих. Всего я разглядеть не мог, но сразу понял, что игра кончена, отвернул до отказа клапан и опять пошел на дно вслед за беднягой Олвейзом, только пузыри надо мной взвились. Сами понимаете, до чего я был поражен и напуган. Я пролетел мимо Сандерса-младшего и того негра — они опять поднимались вверх и еще трепыхались из последних сил, миг — и я опять стою впотьмах на палубе «Морского разведчика».

Фу ты, пропасть, думаю, попал я в переделку! Негры? Сперва решил, так и так мне крышка — в воде задохнусь, а вынырну — копьем проткнут. Я не знал в точности, насколько у меня хватит воздуха, да и не очень-то хотелось отсиживаться под водой. Жарко мне было и мутило ужасно, да и струсил я до чертиков. Мы совсем забыли про туземцев, про этих грязных папуасов, будь они прокляты!

Всплывать здесь нет никакого смысла, но что-то делать нужно. Недолго думая, я перебрался через борт, спрыгнул прямо в водоросли и, как мог быстро, зашагал прочь в темноте. Только один раз остановился, стал на колени, задрал голову — чуть в шлеме шею не свернул — и посмотрел вверх. Вижу, все пронзительно яркое, зелено-голубое, и качаются два каноэ, а между ними наша лодка, все очень маленькие, издали будто две черточки, а посередке перекладина. У меня засосало под ложечкой, и еще я подумал, отчего это они так раскачиваются и зарываются носом...

Это были, пожалуй, самые скверные десять минут в моей жизни — бреду в темноте, спотыкаюсь, грудь сдавило так, что ребра трещат, словно тебя заживо в землю закопали, и мутит от страха и дышать уже нечем, только воняет ромом и резиной. Фу ты, пропасть! Немного погодя я почувствовал, что дно под ногами вроде как пошло покруче вверх. Скосил глаза, еще раз посмотрел, не видать ли каноэ и лодку, и иду дальше. Вот уже над головой воды на фут, не больше; попытался я разглядеть, куда иду, но, понятно, ничего не увидел, только отражение дна. Рванулся я вперед и будто пробил головой зеркало. Глаза очутились над водой, вижу: впереди отмель, берег, а чуть отступя — лес. Осмотрелся — ни туземцев, ни нашей шхуны не видать, их заслонила груда застывшей вздыбленной лавы. По дурости своей я вздумал бежать в лес. Шлем не снял, только отвернул одно стекло, жадно глотнул воздух, немного отдышался и зашагал на берег. До чего же воздух показался мне чистым и вкусным — сказать невозможно!

Конечно, если подметки у тебя свинцовые, в четыре дюйма толщиной, а голова всунута в медный шар величиной с футбольный мяч и вдобавок ты пробыл тридцать пять минут под водой, чемпионом по бегу не станешь. Я бежал, а выходило, что едва тащился, словно пахарь за плугом. Полпути не прошел и вдруг увидал десятка полтора чернокожих — вышли из лесу, будто нарочно меня встречать, и рты разинули от изумления.

Стал я как вкопанный и обругал себя последним дураком. Удрать обратно в воду у меня было столько же надеж-

ды, как у перевернутой черепахи. Я только завернул опять стекло очков, чтоб руки были свободны, и жду. Что мне еще оставалось?

Однако они не больно спешили, и я смекнул, в чем дело. «Джимми Пучеглазый, — говорю, — красавчик мой, это они на тебя загляделись». От пережитых опасностей и от резкой перемены этого окаянного давления я, видно, был малость не в себе. «Чего уставились? — говорю, словно дикари могли меня слышать. — Кто я такой, по-вашему? Ну-ну, глазейте, то ли еще будет!» Завернул выводной клапан и давай травить сжатый воздух из пояса — раздулся весь, как хвастливая лягушка. Это их совсем ошарашило. Вот провалиться, ни шагу больше не ступили, а потом один за другим хлоп на четвереньки. Они никак не могли взять в толк, что это перед ними за чудище, и оказали мне самый любезный прием, очень это было разумно с их стороны! Я подумал было потихоньку отступить к воде и удрать, но нет, пустая затея. Сделай я шаг назад — и они на меня набросятся. С отчаяния я двинулся к ним по отмели этакой мерной тяжелой поступью — иду и важно размахиваю толстыми ручищами А у самого душа в пятках.

Но в трудную минуту что лучше всего выручает — это когда у тебя вид почудней. Я это и раньше знал и потом приходилось убеждаться. Нам-то с малолетства известно, что за штука водолазный костюм, нам и не понять, каково темному дикарю такое увидеть. Одни сразу дали тягу, другие скорей принялись биться оземь головой. А я все шагаю — важно, не торопясь, вид у меня дурацкий и хитрый, точь-в-точь водопроводчик, которому ненароком работы привалило. Ясное дело, они приняли меня за какое-то сверхъестественное существо.

Потом один вскочил и тычет в меня пальцем, а сам как-то весь вихляется, а остальные таращат глаза то на меня, то на море. «Что-то там стряслось», — думаю. Повернулся — медленно, важно, чтоб достоинство свое не уронить, вижу: огибает мыс пара каноэ и тащит на буксире нашу бедную старушку «Гордость Бенин». Тут я вконец расстроился. Но они, видно, ждали одобрения, и я неопределенно помахал руками. Потом повернулся и опять гордо зашагал к лесу. Помнится, я все твердил, как помешанный: «Господи, пронеси и помилуй! Господи, пронеси и помилуй!» Только круглый дурак, который сроду не нюхал опасности, позволит себе смеяться над молитвой.

Но эти черномазые вовсе не собирались меня отпускать. Они затеяли какие-то танцы с поклонами и понемногу оттеснили меня на тропу между деревьев. Уж не знаю, за кого там они меня принимали, только ясно, что не за британского подданного, а я на сей раз вовсе не спешил объявлять им свое подданство.

Если вы незнакомы с обычаями дикарей, может, вы и не поверите, но эти заблудшие темные души прямиком отвели меня к своему, что ли, капищу и представили старому черному камню. К тому времени я уже стал понимать, до чего они темные, и едва только увидал это божество, сразу смекнул, как себя вести. Я завыл басом «уау-уау» и выл очень долго, и все размахивал руками, а потом этак медленно, торжественно повалил идола набок и уселся на него. Мне до смерти хотелось посидеть, водолазный костюм для прогулок в тропиках — одежда не очень-то подходящая. Ну а их это совсем доконало, я видел, у них прямо дух захватило, когда я уселся на их идола, но через минуту они очухались и принялись во всю мочь мне кланяться.

Вижу я, все оборачивается хорошо, и мне малость полегчало, хоть плечи и ноги совсем разломило от тяжести.

Одно меня точило: вот вернутся те дикари, что были в каноэ, как-то они на все это посмотрят? Вдруг они видели меня в лодке, пока я не нырнул, да еще без шлема? Может, они с ночи следили за нами из засады. Тогда они будут обо мне другого мнения, чем эти. Мне показалось, я много часов маялся, ничего хорошего не ожидая. Наконец поднялась суматоха, и я понял, что они прибыли.

Но они тоже в меня поверили — вся их проклятая деревня поверила. Видно, я их взял тем, что битых двенадцать часов кряду, не меньше, просидел с грозным видом, не шевелясь, точно истукан, не хуже, чем эти, знаете, еги-

петские идолы. Попробовали бы вы, каково это да в такой жаре и вонище! Я думаю, никому из них и не снилось, что внутри сидит человек. Они решили, что просто большой кожаный идол вылез из моря и принес им счастье. Но до чего меня замучила усталость! И жара! И духотища проклятая! До чего воняло резиной и ромом! Да еще они тут суетятся! Передо мной лежала плоская плита — обломок лавы, дикари развели на ней смрадный костер и то и дело кидали в него кровавые куски мяса; сами они, скоты, пировали в сторонке, а что похуже — сжигали в мою честь. Я уже малость проголодался, но теперь-то я понимаю, как боги ухитряются обходиться без еды: вокруг них всегда воняет горелым. Дикари приволокли со шхуны много всякой всячины, и среди прочего я увидел насос для нагнетания сжатого воздуха, — тут на душе у меня стало чуточку полегче; потом набежали парни и девушки, целая орава, и завели вокруг меня бесстыжие пляски. Удивительное дело, каждый народ оказывает уважение на свой манер. Будь у меня под рукой хороший нож, я бы многих отправил на тот свет, уж очень они меня взбесили. А я все сидел этак чинно, как в гостях, ничего лучше придумать не мог. Потом настала ночь, и в оплетенном прутьями капище стало, на их вкус, слишком темно (дикари, знаете, боятся темноты), и я начал этак сердито мычать; тогда они разложили снаружи большие костры и оставили меня одного в темной хижине; наконец-то я мог без помехи отвернуть стекла очков и собраться с мыслями, и не надо было ни от кого скрывать, как мне худо. Бог ты мой! До чего мне было тошно!

Я ослаб и хотел есть, а мысли вертелись и вертелись, точно жук на булавке, — суеты много, а толку чуть. Никак с места не сдвинешься, все одно и то же. Жалел я товарищей — они, конечно, были ужасные пьяницы, но такой участи не заслужили; молодой Сандерс с копьем в глотке так и стоял у меня перед глазами. И еще я думал о сокровищах, что остались на «Морском разведчике», — как бы их достать и куда бы запрятать понадежнее, а потом уехать и снова вернуться за ними. И еще задача: где бы раздобыть

чего-нибудь поесть? Прямо голова кругом шла. Попросить знаками, чтобы меня накормили, я боялся: будет слишком по-человечьи — и просидел голодный почти до самого рассвета. К этому времени деревня затихла, и я, не в силах больше терпеть, вышел из капища и разыскал в миске какую-то дрянь вроде артишоков и немного кислого молока. Остатки я сунул среди других жертвоприношений, чтобы намекнуть им, какая еда мне по вкусу. А наутро они пришли поклониться мне, а я сижу, неподвижный и величественный, на их прежнем боге, в точности как сидел вечером. Прислонился спиной к столбу посреди хижины и заснул. Вот так я и стал у язычников богом, конечно, по-настоящему это не бог, а одно богохульство, да ведь не всегда можно выбирать.

Хвастать не хочу, однако должен признаться: пока я был у этих дикарей богом, им необыкновенно везло. Особенных заслуг себе приписывать не стану, но удачу я им принес. Они воевали с другим племенем и победили, и я получил уйму приношений, от которых мне не было никакого толку; и рыба так и шла к ним в сети, и сорго на полях уродилось на диво. Они считали, что и шхуну захватили по моей милости. Недурно для начинающего бога, скажу я вам. И верьте не верьте, но я пробыл богом у этого дикого племени без малого четыре месяца.

Ну а что мне оставалось делать? Но водолазный костюм я все-таки иногда снимал. Я заставил их соорудить внутри капища конурку вроде алтаря, немало помучился, пока втолковал им, что от них требуется. Ужасно трудно было добиться, чтобы они поняли, чего я хочу. Не мог же я ронять свое достоинство и коверкать их тарабарский язык (даже если б я и умел разговаривать по-ихнему), и не пристало мне без конца махать руками у них перед носом. Вот я и стал рисовать на песке картинки, потом присаживался рядом и гудел, как пароходная сирена. Порой они делали все наоборот. Но всегда очень старались. И все время я ломал голову, как бы довести до конца затею с этим треклятым золотом. Каждую ночь перед рассветом я в полном облачении выходил из капища и отправлялся к про-

ливу взглянуть на то место, где на дне лежал «Морской разведчик», а однажды в лунную ночь даже попробовал добраться до него, но водоросли, скалы, темнота — все было против меня, пришлось отступить. Возвратился, когда солнце поднялось уже высоко, и вижу — на берегу стоят толпой мои глупые папуасы и молятся: дескать, морской бог, вернись к нам, пожалуйста. Я столько раз спотыкался и падал, всплывал и опять уходил под воду, что еле держался на ногах и был зол, как черт, а тут эти дурни прыгают и скачут от радости... я чуть было не начал лупить их по башкам всех подряд. Терпеть не могу лишних почестей.

А потом явился миссионер. Чтоб ему провалиться! Дело было за полдень, я важно восседал в наружной части капища, все на том же старом черном камне. И вдруг за стеной зашумели, залопотали, а потом слышу голос этого самого миссионера. «Они молятся пням и камням», — говорил он толмачу, и я мигом догадался, в чем дело. Пока я отдыхал, одно стекло очков было вывернуто, я и крикнул, недолго думая: «Пням и камням, говоришь? А ну-ка, иди сюда, сейчас я разобью твою ослиную башку». За стеной затихли было, опять залопотали, а потом он входит, как водится, с библией в руках — щуплый, рыжеватый, в очках, на голове пробковый шлем. Разглядел он меня в полутьме — круглая медная башка, выпученные глазища — и, смею сказать, малость оторопел. «Ну, — говорю, — почем ситец идет?» По совести, не люблю я миссионеров.

Потешался я над этим проповедником. Где уж ему было со мной тягаться! Спрашивает, кто я такой, а у самого поджилки дрожат. А я отвечаю: если, мол, хочешь узнать, кто я, читай, что у меня на ногах написано. Он нагнулся, а толмач, понятно, суеверный, как все чернокожие, подумал, что это он кланяется мне, — и сам скорей бух мне в ноги! Мои папуасы так и завыли от восторга, и после этого миссионерам уже нечего было делать в моей деревне, по крайней мере таким, как этот.

Но я, конечно, свалял дурака, что так от него отделался. Будь у меня хоть капля ума, я бы сразу рассказал ему про сокровище и взял бы его в компанию. Он бы, конечно, согласился. Малый ребенок и тот быстро смекнул бы, что неспроста тут появился скафандр, когда пропал «Морской разведчик». И вот неделю спустя утром выхожу я из своей хижины и вижу: по проливу тащится «Материнство», спасательное судно из Старр Рейса, прощупывает дно. Конец всему, даром только я мучился. Фу ты, пропасть! И взбесился же я! Стоило сидеть чучелом в этом вонючем балахоне! Четыре месяца!

Загорелый опять прервал свой рассказ и разразился неистовой бранью.

— Подумать только! — снова заговорил он почеловечески. — На сорок тысяч фунтов золота!

— А тот проповедник потом вернулся? — спросил я.

— Еще бы! Чтоб ему пусто было! Он поклялся моим папуасам, что внутри ихнего бога сидит человек, и решил им торжественно это доказать. Но внутри-то ничего не оказалось, опять я его провел. Я терпеть не могу разные сцены и объяснения, так что поспешил убраться, двинулся по берегу домой, в Бению: днем скрывался в зарослях, а по ночам таскал в деревнях чего-нибудь поесть. Единственное оружие — копье. Ни одежды, ни денег. Ничего. Всего имущества, как говорится, собственная шкура. А в голове так и сверлит — плакали восемь тысяч фунтов золотом, моя пятая доля...

А дикари задали ему жару, голубчику, — и поделом! Решили, что это он спугнул их счастье.

БОГ ДИНАМО

Главный механик, обслуживавший в Кемберуэлле три динамо-машины, которые с жужжанием и грохотом подавали ток электрической железной дороге, был родом из Йоркшира, и звали его Джеймс Холройд. Этот рыжий тупой битюг с кривыми зубами был опытным электриком,

но горьким пьяницей. Он сомневался в существовании Верховного божества, но верил в цикл Карно*, читывал Шекспира и считал, что тот слабо разбирается в химии. Его помощник был родом откуда-то с Востока, и звали его Азума-зи. Впрочем, Холройд звал его Пу-ба. Холрейд вообще предпочитал работать с неграми: они безропотно сносили его постоянные пинки и не совались к механизмам, чтобы узнать, как они действуют. Холройд так никогда и не понял, какие неожиданные повороты могут произойти в сознании негра, столкнувшегося с электричеством — этим венцом современной цивилизации; хотя в конце концов главному механику все же пришлось это узнать.

Этнография казалась бессильной для определения расовой принадлежности Азума-зи. Пожалуй, он больше всего приближался к негроидам, хотя волосы его были скорее волнистыми, чем курчавыми, а переносица вполне заметна. Да и кожа была, пожалуй, коричневой, а не черной, и белки глаз отливали желтизной. Широкие скулы и узкий подбородок придавали его лицу какое-то выражение вероломства. Голова, широкая сзади, переходила в низкий узкий лоб, словно его мозг был повернут в обратную сторону по сравнению с мозгом европейца. Как ни мал он был ростом, запас его английских слов был еще меньше. Разговаривая, он издавал массу странных звуков, совершенно бессмысленных для собеседника, а редкие членораздельные слова его были замысловаты и напыщенны. Холройд пытался очистить от скверны его языческие верования и часто под пьяную руку читал ему лекции о вреде суеверий и поносил миссионеров. Однако Азума-зи предпочитал не вступать в споры о своих богах, хоть и получал за это пинка.

Азума-зи, едва прикрытый куском белой ткани — чего было явно маловато, — явился из Стрейтс Сеттлментс и высадился в лондонском порту прямо из кочегарки парохода «Лорд Клайв». С детства он слышал о величии и богатстве Лондона, где все женщины белы и светловолосы и даже нищие на улицах белые. И вот, позванивая в карманах только что заработанными монетами, он прибыл сюда, чтобы поклониться храму цивилизации. В день его приезда стояла гнетущая погода: с бурого неба на грязные улицы сыпался мелкий, истерзанный ветром дождь; Азума-зи смело кинулся в омут развлечений, но очень скоро очутился вновь на улице, больной, без гроша в кармане теперь уже европейского платья — бессловесное животное, если не считать скудного запаса самых необходимых слов; он был низвергнут из рая, чтобы гнуть спину на Холройда и переносить его издевательства в машинном зале электростанции Кемберуэлла. А для Джеймса Холройда это было самое любимое занятие.

В Кемберуэлле стояли три динамо с моторами. Те два, что находились здесь с самого начала, были невелики, но недавно установили еще одно — побольше. Маленькие машины не слишком шумели — ремни их, жужжа, бежали по шкивам, щетки гудели и искрили, и воздух со свистом вихрился между полюсами: у-у-у, у-у-у. Крепление одной из машин ослабло, она вибрировала, и пол в зале непрестанно дрожал. Но все эти звуки тонули в рокоте большого динамо, они поглощались могучим биением его железного сердца, в такт которому гудели все металлические части машины. У посетителя голова начинала идти кругом от непрерывной пульсации моторов, от вращения гигантских колес, от бега шариковых клапанов, внезапных выхлопов пара и прежде всего от низкого монотонного воя большого динамо. Механику этот последний звук указывал на неисправность машины, но Азума-зи считал его признаком могучей и гордой силы чудовища. Я хотел бы, если бы было возможно, чтобы грохот машинного зала непрерывно звучал в ушах читателя, чтобы наш рассказ шел под аккомпанемент гула машин. Это был ровный поток оглушительных шумов, из которых ухо выхватывало то один звук, то другой; прерывистый храп, сопение, вздохи паровых двигателей, чмоканье и хлопки снующих поршней, глухое содрогание воздуха под ударами спиц гигантских маховиков, щелканье то натягивающихся, то ослабе-

* Цикл Карно — обратимый круговой процесс, представляющий идеальный рабочий цикл тепловой машины.

вающих ремней, визгливый клекот малых машин, и над всем этим — порой неразличимый для усталого уха, но потом исподволь снова овладевавший сознанием — тромбонный вой большого динамо. Пол непрестанно дрожал и сотрясался под ногами. Это было странное, беспокойное место; не удивительно, что и мысли не текли здесь плавно и привычно, но судорожно дергались какими-то нелепыми зигзагами.

И все три месяца, пока длилась стачка механиков, предатель Холройд — человек с черной душой — и простой чернокожий Азума-зи никуда не отлучались из этого мира вихрей и содроганий; они даже спали и ели в маленькой деревянной пристройке между машинным залом и воротами.

Вскоре после появления Азума-зи Холройд прочел ему лекцию о своем большом динамо. Ему пришлось кричать, чтобы негр услышал его сквозь грохот и рев машин.

— Взгляни-ка! — кричал Холройд. — Куда до него твоим языческим богам!

И Азума-зи глядел. Вначале слов нельзя было разобрать, а потом он услышал:

— ...может убить сто человек. Намного мощнее других машин, — говорил Холройд. — Это уже что-то вроде бога.

Холройд гордился своим большим динамо и так расписывал его мощь и силу, что в конце концов эти рассказы, подкрепленные постоянным гулом и сумятицей, вызвали в кудрявой черной голове Азума-зи самый неожиданный и странный ход мыслей. Холройд наглядно объяснил с десяток способов, которыми машина может убить человека, а однажды заставил Азума-зи испытать легкий удар током, чтобы тот понял, какая в ней таится сила. С тех пор в минуты передышки от работы — тяжкой работы, так как он трудился и за себя и за Холройда — Азума-зи садился и неотрывно смотрел на большое динамо.

Щетки время от времени искрили и выплевывали голубые язычки — тогда Холройд чертыхался, но в остальное время машина работала ровно и ритмично, словно дышала. Приводной ремень скрипел по оси, а где-то сзади всегда раздавалось самодовольное уханье поршня. Динамо было живым существом; с утра до ночи оно дышало в этом большом, просторном зале, а они с Холройдом заботились о нем; оно не было узником или рабом, толкающим корабли, как другие знакомые ему двигатели — жалкие пленники мудрого британца; это была царственная машина, властвовавшая над всеми остальными. Азума-зи про себя называл большую машину Богом Динамо, маленькие он презирал. Они часто капризничали и ломались, а большое работало без перебоев. Какое оно огромное! Как ровны и легки все его движения! В нем больше величия и спокойствия, чем во всех статуях Будды, которые он видел в Рангуне, — те боги неподвижны, а машина живет. Без устали крутятся огромные черные катушки, кольца, не останавливаясь, бегут под щетками, и все покрывает басовое гудение главного якоря. Все это как-то волновало и будоражило Азума-зи.

Азума-зи не любил работать. Стоило Холройду отвернуться, чтобы уговорить сторожа принести еще виски, как Азума-зи садился и впивался взглядом в Бога Динамо, хотя его место было вовсе не здесь, а у топки, за двигателями; и ведь если Холройд заставал негра сидящим без дела, он бил его куском толстой медной проволоки. Иногда Азума-зи подходил совсем близко к гиганту и смотрел на огромный кожаный привод, бегущий над головой. На ремне чернела большая заплата, которая тоже вертелась вместе с приводом, и в вечном грохоте и сутолоке Азума-зи почему-то нравилось следить, как она возвращается снова и снова. И в такт этому круговому ритму странные мысли начинали кружиться в мозгу Азума-зи.

Ученые говорят, что дикари наделяют душой камни и деревья, — а в машине куда больше жизни, чем в камне или в дереве. Ведь Азума-зи все еще оставался дикарем; цивилизация наложила на него отпечаток не более прочный, чем ткань его грошового костюма или слой угольной пыли на покрытом синяками лице. Его отец поклонялся упавшему метеориту, и, может быть, кровь его далеких предков окропляла путь колесницы Джаггернаута.

Он пользовался всяким случаем, чтобы коснуться большого динамо: оно неудержимо влекло его к себе. Он чистил и протирал его до тех пор, пока металлические части не начинали ослепительно сверкать. При этом его охватывало мистическое чувство служения. Он подходил и ласково трогал руками вращающиеся катушки. Боги, которым он поклонялся, были ведь так далеко. А в Лондоне люди прятали своих богов.

Постепенно его смутные ощущения стали более четкими, оформились в мысли и в конце концов воплотились в действия. Однажды утром, войдя в грохочущий зал, он низко склонился перед Богом Динамо, а когда Холройд отлучился, — подошел и шепнул гремящей машине, что он ее раб и молит сжалиться над ним и спасти от Холройда. И в этот миг редкий луч солнца проник сквозь открытую арку содрогающегося машинного зала, и ревущий, крутящийся Бог Динамо весь засветился бледным золотом. И Азума-зи понял, что его служение угодно богу. Теперь он уже не чувствовал себя одиноким, а ведь он был так одинок в Лондоне. С тех пор, даже если его работа кончалась, что бывало не часто, он не спешил уйти из машинного зала.

В следующий же раз, когда Холройд дурно обошелся с ним, Азума-зи подошел к Богу Динамо и шепнул: «Ты видишь, о господин!» — и машина словно ответила ему сердитым рычанием. С этой минуты ему начало казаться, что стоит Холройду подойти к динамо, как в реве бога появляются угрожающие нотки. «Мой господин ждет своего часа, — сказал себе Азума-зи, — но глупец еще не преступил меру своего зла». И он надеялся и тоже ждал часа расплаты.

Однажды пробило катушку; Холройд осматривал место поломки — дело было после обеда, — и его случайно тряхнуло током; Азума-зи, стоявший за мотором, видел, как механик подпрыгнул и обругал неисправную катушку.

— Он предупрежден, — сказал про себя Азума-зи. — Но мой господин слишком терпелив.

Вначале Холройд хотел было растолковать «черномазому», как работает динамо, чтобы тот мог хоть изредка заменять его в машинном зале. Но когда он заметил, что Азума-зи так и липнет к гиганту, это показалось ему подозрительным. Он смутно чувствовал, что помощник что-то замышляет, и, решив, что тот переложил масла для смазки катушек и случайно стер полировку, крикнул зычным голосом, перекрывая шум:

— Эй, Пу-ба, посмей только еще раз сунуться к большому динамо! Шкуру спущу!

Кроме того, именно потому, что Азума-зи нравилось быть около большой машины, механик считал, что надо держать его от нее подальше.

Азума-зи повиновался, но позже был пойман на месте преступления, когда кланялся Богу Динамо. Холройд скрутил ему назад руку и пнул ногой, как только негр повернулся, чтобы уйти. И когда потом Азума-зи стоял за мотором и со злобой смотрел в спину ненавистного механика, ему показалось, что машина гудит как-то по-новому и словно изрыгает угрозы на его родном языке.

Никто толком не знает, что такое безумие. Но мне кажется, что в то время Азума-зи был безумен. В непрестанном грохоте и вихре машинного зала его ничтожные познания и огромный запас суеверного воображения смешались и превратились в нечто очень близкое к сумасшествию. Именно так возникла в его мозгу идея принести Холройда в жертву фетишу Динамо, — и идея эта наполнила его душу странным трепетным ликованием.

В ту ночь двое мужчин и их черные тени были единственными обитателями машинного зала. Большая дуговая лампа, освещавшая зал, мигала и отбрасывала неверные багровые блики. Позади машин лежали черные тени. Регуляторы двигателей, вращаясь, то выскакивали на свет, то скрывались в тени, поршни стучали гулко и ровно. Мир, видимый сквозь открытую стену зала, казался туманным и невероятно далеким. Там царила полная тишина, ибо грохот машин заглушал все внешние звуки. Вдалеке маячил черный забор двора, за которым тянулись серые призрачные дома, а наверху в темно-синем небе мерцали бледные звезды. Внезапно Азума-зи пересек середину зала

под бегущими кожаными приводами и вошел в тень большого динамо. Щелк! — и якорь завертелся быстрее.

— Какого черта ты полез к рубильнику! — заорал Холройд. — Сколько раз я говорил...

Но тут он увидел глаза Азума-зи, который вышел из тени и двинулся на него.

Миг — и перед большим динамо завязалась отчаянная схватка.

— Ах ты, болван черномазый! — выдохнул механик, когда коричневая рука схватила его за горло. — Смотри, напорешься на контактные кольца!

В следующую секунду он очутился на полу и почувствовал, что Азума-зи тащит его назад к Богу Динамо. Инстинктивно он выпустил врага из рук, желая спастись от машины...

Рассыльный, который стремглав прибежал со станции, чтобы узнать, что случилось в машинном зале, встретил Азума-зи у ворот, около сторожки. Азума-зи бессвязно пытался что-то объяснить, но рассыльный так ничего и не разобрал и поспешил в машинный зал. Динамо с грохотом работали, и с виду все было на месте, только в воздухе стоял характерный запах паленого волоса. А затем он вдруг заметил на передней поверхности большого динамо массу какого-то странного сморщенного вещества и, приглядевшись, узнал исковерканные останки Холройда.

На мгновение рассыльный остановился в замешательстве. Затем увидел лицо и судорожно закрыл глаза. Так, с закрытыми глазами, чтобы снова невзначай не увидеть механика, он повернулся на каблуках и выбежал из зала за помощью.

Когда Азума-зи увидел, как умирает Холройд в объятиях Великого Динамо, он сначала чуть-чуть испугался — что с ним теперь будет? Но в то же время он испытывал странное ликование — конечно, это была на нем милость Бога Динамо. И к тому времени, когда пришел человек со станции, он уже придумал, как вести себя, а главный инженер, прибежавший на место катастрофы, естественно, ухватился за мысль о самоубийстве. Инженер и не заметил

бы Азума-зи, если бы не надо было задать негру несколько вопросов. Видел ли Азума-зи, как Холройд покончил с собой? Нет, Азума-зи ничего не мог видеть: он стоял у котла топки двигателя, пока не услышал, что у динамо изменился звук. Допрос был коротким: ведь никому и в голову не приходило подозревать его.

Исковерканные останки Холройда, снятые электриком с машины, были поспешно прикрыты закапанной кофе скатертью. Кто-то догадался привести врача. Главный инженер больше всего был озабочен тем, как бы поскорее пустить в ход динамо, ибо семь-восемь поездов уже простаивали в темных туннелях электрической железной дороги. Азума-зи отвечал — впопад или невпопад — на вопросы всех, кто по долгу службы или просто из любопытства заходил в машинный зал; наконец инженер отослал его обратно к топке.

На улице, у ворот, конечно, уже собралась толпа: лондонские зеваки почему-то всегда толкутся по нескольку дней на месте происшествия; двум или трем репортерам удалось как-то проникнуть внутрь машинного зала, и один даже добрался до Азума-зи. Но главный инженер — сам журналист-любитель — выпроводил их вон!..

Вскоре тело увезли, и возбуждение улеглось. Азума-зи тихо стоял у своей топки, и в мерцании раскаленных углей ему снова и снова мерещилась фигура человека, который сначала яростно извивался, стараясь вырваться, а потом затих. Через час после убийства машинный зал выглядел для случайного посетителя так, словно здесь ничего не случилось. Стоя у топки, негр видел, что Бог Динамо попрежнему вращается рядом со своими младшими братьями; стучат колеса, и пар в цилиндрах ухает точно так же, как это было весь вечер. Ведь с точки зрения физики инцидент был совершенно незначительным — произошло всего лишь временное отклонение потока электронов. Только теперь вместо коренастой тени Холройда в узкой полосе света на сотрясающемся полу, под бегущими приводами, двигалась стройная фигура и длинная тень главного инженера.

— Разве я не услужил своему господину? — чуть слышно спросил Азума-зи, невидимый в темном углу, и в ответ ему голос большого динамо зазвучал ясно и зычно. И когда он глядел на большой вращающийся механизм, им вновь овладело странное, болезненное возбуждение, исчезнувшее было со смертью Холройда.

Азума-зи никогда не видел, чтобы человека убивали так быстро и безжалостно. Большая гудящая машина уничтожила свою жертву, ни на секунду не прервав ровного движения. Воистину это был могущественный бог.

Ничего не подозревающий инженер стоял к нему спиной и царапал что-то на листке бумаги. Тень его лежала у ног гигантской машины.

Может быть, Бог Динамо все еще голоден? Его раб готов служить ему.

Азума-зи, крадучись, сделал шаг вперед; потом остановился. Инженер перестал писать, прошел в конец зала и начал осматривать щетки крайнего динамо.

Азума-зи, казалось, не мог решиться... Потом неслышно скользнул в тень, к рубильнику, и там замер. Вскоре послышались шаги возвращающегося инженера. Он остановился на прежнем месте, не подозревая, что в десяти шагах прячется сжавшийся в комок убийца. Большое динамо вдруг зашипело, и тут Азума-зи прыгнул на него из темноты.

Инженер почувствовал, что кто-то обхватил его сзади и тащит к большому динамо. Брыкаясь, он вцепился в голову негра и с силой потянул ее вниз; сжимавшие его руки разжались, и ему удалось отскочить от машины. Но Азума-зи снова схватил его и уперся ему в грудь курчавой головой; они топтались на месте, качаясь и тяжело дыша, и борьба эта, казалось, длилась целую вечность. Но вот инженеру удалось впиться губами в черное ухо — он в бешенстве укусил негра. Азума-зи хрипло взвизгнул.

Они покатились по полу, и негру — «ценой уха?» — мелькнуло в голове у инженера — удалось вырваться из зубов врага, и теперь он начал его душить. Инженер беспомощно хватал руками воздух и тщетно пытался ударить

Азума-зи ногой, как вдруг снаружи послышался спасительный звук чьих-то быстрых шагов. В один миг Азума-зи вскочил и кинулся к большому динамо. К вою машины по-прежнему примешивалось шипение. Вошедший служащий компании в ужасе смотрел, как Азума-зи схватился руками за оголенные провода, тело его судорожно дернулось, и он повис неподвижно, с исказившимся лицом.

— Какое счастье, что вы вошли именно сейчас! — сказал инженер, все еще не в силах подняться с пола. Он взглянул на содрогающееся тело.

— Страшная смерть, зато быстрая.

Чиновник все никак не мог оторвать глаз от трупа. Он был не из тех, кто сразу понимает, что произошло.

Наступило молчание.

Инженер встал на ноги, его шатало. Он медленно оттянул пальцем воротник рубашки и повертел головой.

— Бедный Холройд. Теперь я понимаю.

Затем почти автоматически подошел к рубильнику и перевел энергию снова на снабжение железной дороги. Когда он это сделал, прилипшее тело отделилось от машины и упало лицом вниз. Динамо опять гудело зычно и чисто, и якорь быстро рассекал воздух.

Так бесславно закончилось поклонение Божеству Динамо — вероятно, самое недолговечное из всех людских верований. Но даже это божество могло похвастаться одним мучеником и одним человеческим жертвоприношением.

БАБОЧКА GENUS NOVO

Вы слышали, вероятно, о Гэпли? Не о В.-Т. Гэпли-сыне, а о знаменитом Гэпли, открывшем насекомое Periplaneta Hapilia, об энтомологе Гэпли? В таком случае вам известно, по крайней мере, то, что между Гэпли и профессором Паукинсом была страшная вражда. Но все же

некоторые последствия ее, может быть, откроют вам нечто новое. Для тех же, кто ничего не знает об этой вражде, необходимо предпослать несколько пояснительных слов, которые ленивый читатель может пропустить, лишь слегка пробежав их, если захочет.

Поразительно, до какой степени широко распространено незнакомство с таким действительно важным обстоятельством, как эта вражда между Гэпли и Паукинсом! С другой стороны, та составившая эпоху в науке полемика, которая потрясла Геологическое общество, осталась, как я твердо верю, почти совершенно неизвестной вне кружка членов этого учреждения. Мне даже приходилось слышать, как люди, получившие прекрасное общее образование, считают знаменательные сцены, имевшие место на заседаниях общества, чем-то вроде дрязг на собраниях прихожан. И все же великая вражда английского и шотландского геологов продолжалась уже полвека и оставила глубокие и обидные следы в науке. А дело Гэпли и Паукинса, хотя оно и имеет, может быть, более личный характер, столь же сильно, если еще не сильнее, разожгло страсти. Средний человек не имеет представления о том, какой фанатизм воодушевляет научного исследователя, в какую ярость вы можете привести его противоречиями. Это «odium theologicum» в новой форме. Находятся, например, люди, которые охотно сожгли бы профессора Рея Ланкастера из Смитфилда за его трактат о моллюсках в «Энциклопедии». Это фантастическое включение крылоногих в разряд головоногих... Но я уклонился в сторону от Гэпли и Паукинса.

Началось это много лет назад с описания жесткокрылых насекомых, составленного Паукинсом, причем в описание это он не включил новый вид, открытый Гэпли. Последний, всегда отличавшийся придирчивостью, ответил язвительной критикой, уничтожающей всю классификацию Паукинса*. Паукинс в своем возражении** высказал

* «Некоторые замечания по поводу пересмотра вопроса о Mi-crolepidoptera». // Журн. энтомологического общества, 1863.

** «Добавление к некоторым замечаниям». Ibid., 1864.

предположение, что микроскоп Гэпли имеет те же недостатки, что и его способность производить наблюдения, и назвал его «безответственным болтуном, сующимся не в свое дело» (Гэпли в то время еще не был профессором). В своем ответе* Гэпли упомянул о запутавшихся компиляторах и как бы мимоходом назвал обзор Паукинса диковинной нелепостью. Это был бой врукопашную. Во всяком случае, читателя вряд ли могут заинтересовать подробности того, как ссорились эти великие люди, как они все больше и больше расходились во мнениях, пока от жесткокрылых не перешли к спорам по всем вообще вопросам энтомологии. Произошли события достопамятные. Иногда заседания Королевского энтомологического общества были чрезвычайно похожи на заседания палаты общин. В общем, по-моему, Паукинс был ближе к истине, чем Гэпли. Но Гэпли искусно пускал в ход свою риторику, имея редкий для ученого дар все обращать в смешную сторону. Он обладал огромным запасом энергии и сохранил горькое чувство обиды по поводу непризнания открытого им вида. Между тем, Паукинс был человеком медлительным, говорил скучно, видом напоминал бочку, с доказательствами обращался чрезвычайно добросовестно, и его подозревали в том, что он торгует музейными предметами. Поэтому молодежь группировалась вокруг Гэпли и рукоплескала ему. Долго шла борьба; с самого начала в ней был элемент гнева, а под конец это обратилось в беспощадную вражду. Последовательные удачи и неудачи то той, то другой стороны — то терзания Гэпли по поводу успеха Паукинса, то превосходство первого над последним, — все это относится скорее к области истории энтомологии, нежели к предмету настоящего рассказа.

Но в 1891 году Паукинс, здоровье которого было в течение некоторого времени расстроено, напечатал свой труд о «мезобласте» ночной бабочки «мертвая голова». Что такое «мезобласт» ночной бабочки «мертвая голова» — безразлично для нашего рассказа. Но труд этот был гораздо ниже обычного уровня и тем самым доставил Гэпли по-

* «Дальнейшие замечания». Ibid.

вод, который он поджидал годами. Он работал, вероятно, день и ночь, чтобы как можно лучше воспользоваться выпавшим на его долю удобным случаем.

В тщательно составленном докладе он разнес Паукинса в пух и прах — можно себе представить его растрепанные черные волосы и дикий блеск в глазах, когда он вызывал своего противника на бой. Паукинс возражал сдержанно, неубедительно, с томительными паузами и тем не менее злобно. Нельзя было не видеть, что он хочет уколоть Гэпли, но не может. Однако лишь немногие из слушателей — я не был на этом заседании — заметили, что он сильно болен.

Гэпли сбил противника с ног и хотел прикончить его. Вскоре после доклада он произвел зверское нападение на Паукинса. Это был очерк о развитии бабочки вообще — очерк, куда вложен был огромный умственный труд, но вместе с тем и ожесточенно полемический тон. Примечание редактора свидетельствует о том, что тон этот был еще несколько смягчен. Очерк этот должен был покрыть Паукинса стыдом, вогнать его в краску. Выхода для него не было — доводы были убийственны, тон в высшей степени дерзкий. Для человека на склоне лет это ужасная вещь.

Мир энтомологов, затаив дыхание, ожидал ответа со стороны Паукинса. Он непременно попытается возразить, потому что всегда отличался смелостью. Но когда последовало возражение, то оно всех удивило, потому что возражение Паукинса заключалось к том, что он схватил инфлюэнцу, перешедшую в воспаление легких, и умер.

Впечатление получилось, быть может, не менее сильное, чем от возражения, которое он мог бы написать при данных обстоятельствах, и настроение значительных кругов повернулось против Гэпли. Те самые люди, которые чрезвычайно радостно поощряли обоих гладиаторов, стали серьезны при виде таких последствий. Нельзя было сомневаться в том, что огорчения побежденного в споре Паукинса ускорили его смерть. Даже для научных споров есть предел, говорили серьезные люди. Еще одно сокрушительное нападение было уже сдано в печать и появилось накануне похорон. Я не думаю, что Гэпли принимал меры, чтобы задержать его. Люди вспомнили, как Гэпли травил своего соперника, и забыли о недостатках этого соперника. Над свежей могилой неподходяще читать уничтожающие сатиры. Это было отмечено в ежедневных газетах. Именно это и заставляет меня думать, что вы, вероятно, слышали о Гэпли и его полемике. Но, как я уже заметил, научные труженики живут в своем особом мире: половина тех людей, которые ежегодно проходят по Пикадилли до Академии, не могли бы вам сказать, где помещаются ученые общества.

В глубине души Гэпли не мог простить Паукинсу его смерти. Во-первых, это было с его стороны подлой уловкой — он просто боялся того, как бы Гэпли не стер его в порошок, к чему все было уже готово; а во-вторых, в мыслях Гэпли получился странный пробел. В продолжение двадцати лет он усиленно работал семь дней в неделю, засиживаясь иногда далеко за полночь — работал с микроскопом, скальпелем, сеткой для ловли насекомых, с пером в руках, — и почти вся его работа целиком была связана с Паукинсом. Европейская известность, которую приобрел Гэпли, явилась как некий случайный придаток к его великой антипатии. Во время последней полемики он доработался до предела. Полемика эта убила Паукинса, но и его, так сказать, обрекла на бездействие. Доктор посоветовал ему прекратить на некоторое время работу и отдохнуть. Поэтому Гэпли отправился в тихую деревню в Кенте, где день и ночь размышлял о Паукинсе и о всех тех хороших вещах, которых теперь нельзя сказать о нем.

Наконец Гэпли начал понимать, куда влечет его это занятие. Он решил побороть свои мысли и принялся читать романы. Но он все же не мог не думать о Паукинсе — он видел Паукинса бледным, произносящим свою последнюю речь. Каждая фраза в романе давала Гэпли прекрасный повод для этого. Гэпли перешел на фантастические рассказы и увидел, что они его не захватывают. Начал читать «Вечерние развлечения на острове», пока здравый смысл окончательно не возмутился в нем, как чертенок,

закупоренный в бутылку. Принялся за Киплинга, но оказалось, что Киплинг «ничего не доказывает», будучи в то же время непочтительным и вульгарным (у этих ученых совсем особые понятия!) Гэпли, к несчастью, попробовал читать «Внутреннее обиталище» Безант — и тут первая же глава опять направила ход его мыслей на ученые общества и Паукинса.

Тогда Гэпли обратился к шахматам и нашел, что это несколько лучше успокаивает. Вскоре он изучил все ходы, главные гамбиты и наиболее встречающиеся эндшпили — и начал побеждать приходского священника. Но потом цилиндрическая фигура короля у противника начала походить на Паукинса — это Паукинс стоит и тщетно открывает рот, чтобы протестовать против мата. Гэпли решил бросить шахматы.

Быть может, изучение какой-нибудь новой отрасли знаний окажется в конце концов самым лучшим развлечением. Лучший отдых состоит в перемене занятий. Гэпли решил погрузиться в изучение инфузорий и выписал из Лондона один из своих небольших микроскопов вместе с монографией Хейлибота. Он думал, что если ему удастся затеять добрую ссору с Хэйлиботом, то он, может быть, окажется в состоянии зажить новой жизнью и забыть о Паукинсе. Вскоре он засел за работу со своим обычным рвением и принялся изучать микроскопических обитателей придорожного пруда.

На третий день занятий Гэпли обнаружил новый вид в местной фауне. Он работал поздно вечером с микроскопом. Единственным источником света в комнате была яркая лампочка с зеленым абажуром особой формы. Как все опытные микроскописты, он держал оба глаза открытыми — это единственный способ избежать сильного утомления. Правым глазом он смотрел в инструмент — там перед ним лежало светлое и ясное круглое поле, по которому медленно подвигалась темная инфузория. Левым глазом Гэпли смотрел, как бы ничего не видя. Смутно сознавал он, что перед ним медная трубка инструмента, освещенная часть поверхности стола, лист бумаги для заметок, подставка лампы, а вокруг погруженная в темноту комната.

Вдруг внимание его переместилось от правого глаза к левому. Стол был покрыт тканой скатертью, довольно ярко окрашенной. Рисунок был выткан золотом и кое-где красными и бледно-голубыми нитями по сероватому фону. В одном месте рисунок как будто сместился, и здесь краски как бы передвигались и колебались.

Гэпли быстро откинул голову назад и стал смотреть обоими глазами. Рот у него открылся от изумления.

Перед ним сидела большая бабочка; крылья ее были раскрыты, как у бабочки!

Странно, что она могла попасть в комнату — ведь окна были закрыты. Странно, что она не привлекла внимания Гэпли, когда влетела туда где теперь сидит. Странно, что она так подходит к рисунку скатерти. Еще страннее, что ему, Гэпли, великому энтомологу, она совершенно неизвестна. Чувства не могли его обманывать. Она медленно ползла по направлению к лампе.

— Новый вид, черт возьми! И это в Англии! — воскликнул Гэпли, пристально вглядываясь.

Потом он вдруг подумал о Паукинсе. Паукинса это совсем с ума свело бы. А Паукинс вот взял да и умер!

Что-то в голове и туловище насекомого стало удивительно напоминать Паукинса — совсем так же, как это было с шахматным королем.

— К черту Паукинса! — сказал Гэпли. — Но я должен поймать ее. — И, оглядываясь, не найдется ли чего под рукой, чтобы прикрыть бабочку, он медленно встал со стула.

Вдруг насекомое взлетело, ударилось о край абажура — Гэпли слышал это — и скрылось в темноте.

В один миг сорвал Гэпли абажур, так что комната осветилась. Бабочка исчезла, но вскоре наметанный глаз Гэпли заметил насекомое на обоях у двери. Он направился туда, приготовившись накрыть его абажуром. Однако раньше чем он подошел достаточно близко, бабочка снялась с места и принялась летать по комнате. Как и все бабочки, эта летала, внезапно останавливаясь и меняя на-

правление, как бы исчезая в одном месте и снова появляясь в другом. Один раз Гэпли промахнулся своим абажуром; потом еще раз.

На третий раз он задел за микроскоп. Инструмент покачнулся, ударился о лампу, опрокинул ее и с шумом свалился на пол. Лампа покатилась по столу и, к счастью, погасла. Гэпли очутился в темноте. Вздрогнув, он почувствовал, что диковинная бабочка задела его за лицо.

Это могло свести с ума. Свечей у него не было. Если открыть дверь, насекомое улетит. В темноте он совершенно ясно увидел Паукинса, который смеялся над ним. Паукинс всегда смеялся раскатисто. Гэпли в бешенстве выругался и топнул ногой по полу.

Раздался робкий стук в дверь.

Потом дверь чуть-чуть приоткрылась, очень медленно. Позади красного пламени свечи показалось встревоженное лицо хозяйки дома. Седые волосы ее были покрыты ночным чепчиком, а на плечи было накинуто что-то красное.

— Что это тут так грохнуло? — спросила она. — Разве что-нибудь...

У приоткрытой двери показалась порхающая бабочка.

— Закройте дверь! — проговорил Гэпли и бросился в двери.

Дверь быстро захлопнулась. Гэпли остался один в темноте. Потом в наступившей тишине он услышал, как хозяйка взбежала вверх по лестнице, закрыла свою дверь на ключ, протащила по комнате что-то тяжелое и приставила к двери.

Гэпли сообразил, что его поведение и внешний вид представляются странными и возбуждают тревогу. К черту эту бабочку и Паукинса! Однако ему стало жалко упустить бабочку. Он ощупью нашел дорогу в переднюю, нащупал там спички, причем смахнул на пол свой цилиндр, который громыхнул, как барабан. С зажженной свечой он вернулся в гостиную... Бабочки нигде не было видно. Был, однако, момент, когда ему показалось, что она порхает вокруг его головы. Совершенно неожиданно Гэпли решил оставить бабочку в покое и лечь спать. Но он был взволнован. Всю ночь то и дело просыпался: он видел перед собой то бабочку, то Паукинса, то хозяйку. Два раза за ночь он слезал с кровати и мочил голову холодной водой. Одно было ему вполне ясно: хозяйка не могла понять, что это за странная бабочка, — страннее всего для нее было то, что ему не удалось поймать эту бабочку. Никто, кроме энтомолога, не мог бы ясно представить себе его самочувствия. Вероятно, хозяйка была напугана его поведением, но Гэпли никак не мог придумать, как все это ей объяснить. Он решил просто ничего не говорить о происшедшем ночью. Напившись чаю, он увидел ее в саду и решил пойти поговорить с ней, чтобы успокоить.

Он повел с ней беседу о бобах и картофеле, о пчелах и гусеницах, о ценах на фрукты. Она отвечала своим обычным тоном, но глядела на него несколько подозрительно и, прогуливаясь с ним, держалась так, чтобы между ними всегда приходилась или клумба цветов, или грядка бобов, или что-нибудь еще в таком же роде. Через некоторое время это начало его чрезвычайно раздражать, и, чтобы скрыть досаду, он пошел домой. Потом он отправился прогуляться.

Бабочка, в которой странным образом было что-то паукинсовское, не отставала от него во время этой прогулки, хотя он изо всех сил старался не думать о ней. Раз как-то он увидел ее совершенно явственно: с распростертыми крыльями, она сидела на старой каменной стене, проходящей вдоль парка с западной стороны. Но когда он подошел поближе, то оказалось, что это только два пятнышка серых и желтых лишаев.

— Вот, — сказал Гэпли, — обратная сторона мимикрии: вместо того чтобы бабочка походила на камень, здесь камень похож на бабочку!

Один раз что-то пронеслось и запорхало вокруг его головы, но усилием воли он снова отогнал от себя это ощущение.

Среди дня Гэпли зашел к священнику и завел с ним беседу на богословские темы. Они сидели в маленькой беседке, покрытой терновником, курили и спорили.

— Взгляните на эту бабочку! — воскликнул вдруг Гэпли, указывая на край деревянного стола.

— Где? — спросил священник.

— Разве вы не видите? Вон бабочка, на том краю стола! — сказал Гэпли.

— Разумеется, не вижу, — ответил священник.

Гэпли как громом поразило. Он тяжело вздохнул. Священник глядел на него внимательно. Ясно, что он ничего не видел.

— Вера видит не лучше, чем наука, — сказал Гэпли невпопад.

— Я не понимаю вашей точки зрения, — ответил священник, думая, что тот продолжает развивать свои доводы.

На следующую ночь Гэпли увидел, что бабочка ползет по его стеганному одеялу. Он уселся на краю кровати и принялся рассуждать сам с собой. Неужели это только галлюцинация? Он сознавал, что выбит из колеи, и отстаивал здоровье своего рассудка с той же сосредоточенной энергией, которую прежде применял в борьбе с Паукинсом. Умственные привычки так упорны, что ему все еще казалось, будто он борется с Паукинсом. Он был хорошо знаком с психологией. Ему было известно, что подобные зрительные иллюзии появляются в результате умственного напряжения. Но вся суть была в том, что он не только видел бабочку — он слышал, как она стукнулась о край абажура, как толкнулась потом в стену; он почувствовал, как она задела его лицо в темноте.

Он посмотрел на бабочку. Это было совсем непохоже на сон, он ясно и определенно видел ее при свете свечи. Видел ее волосатое тельце, коротенькие перистые усики, членистые ножки, даже то место на крыле, где пыль стерлась. Вдруг он почувствовал досаду на самого себя за то, что боится маленького насекомого.

Этой ночью хозяйка заставила служанку лечь спать вместе с ней, потому что ей страшно было оставаться одной. Кроме того, она заперла дверь на ключ и придвинула к ней комод. Обе они прислушивались и разговаривали шепотом, когда улеглись в кровать, но не происходило ничего такого, что могло бы их встревожить. Около одиннадцати часов они рискнули потушить свечку и задремали. Вдруг они проснулись, сели на кровати и стали в темноте прислушиваться.

Затем они услыхали, что кто-то ходит в туфлях взад и вперед по комнате Гэпли. Опрокинулся стул, и раздался громкий удар чем-то мягким по стене. Потом какая-то фарфоровая вещица с камина упала и разбилась о решетку. Внезапно открылась дверь, и они услышали, как Гэпли вышел из комнаты на площадку лестницы. Они прижались друг к другу и прислушивались. Он как будто танцевал на лестнице. То быстро спускался вниз через три или четыре ступеньки, то опять поднимался наверх, а потом побежал в переднюю. Они услышали, как повалилась подставка для зонтиков и разбилось окно. Потом застучал засов и загремела цепочка. Он открыл дверь.

Они поспешили к окну. Ночь была пасмурная, туманная; почти сплошной слой густых облаков быстро несся, закрывая луну. Забор и деревья перед домом чернели на беловатом фоне дороги. Они увидели Гэпли, похожего на привидение, в рубашке и белых кальсонах. Он бегал взад и вперед по дороге и хлопал руками по воздуху. Он то останавливался, то быстро бросался на что-то неведомое, то подкрадывался большими шагами. Наконец он скрылся из глаз, спустившись по дороге вниз, в долину.

Потом, пока они спорили, кому из них пойти и закрыть дверь, Гэпли вернулся назад. Шел он очень быстро и вошел прямо в дом, тщательно закрыл дверь и спокойно отправился в спальню. Затем наступила полная тишина.

— Миссис Колвилл, — позвал ее Гэпли на следующее утро, стоя внизу около лестницы. — Надеюсь, я не обеспокоил вас ночью?

— Да, вам следует спросить об этом, — сказала миссис Колвилл.

— Дело в том, что я лунатик, а последние две ночи у меня не было снотворного. Особенно вам беспокоиться

нечего. Мне досадно, что я так глупо себя вел. Я сейчас спущусь вниз в Шоргем и достану какое-нибудь средство, чтобы крепко заснуть. Следовало сделать это еще вчера.

Но на полпути, около меловых ям, снова появилась бабочка. Он продолжал идти, стараясь думать о шахматных задачах, но ничего не выходило. Насекомое полетело прямо ему в лицо, и он, защищаясь, ударил по нему шляпой. Вслед за тем им опять овладело бешенство — прежнее бешенство... то самое бешенство, в которое его так часто приводил Паукинс. Он продолжал идти вперед, подпрыгивая и нанося удары по кружащемуся перед ним насекомому. Вдруг он ступил ногой в какую-то пустоту и полетел кувырком.

Гэпли лишился на некоторое время сознания, а когда очнулся, то оказалось, что он сидит на куче камней у меловой ямы с подвернутой ногой. Странная бабочка все еще порхала вокруг него. Он ударил по ней рукой и, повернув голову, увидел, что к нему идут два человека. Одним из них был сельский доктор. Гэпли подумал, что это вышло очень кстати. Потом ему пришло в голову с чрезвычайной живостью, что никто никогда не сможет увидеть диковинную бабочку, кроме него самого, и что ему следует помалкивать о ней.

Однако поздно вечером, когда его сломанная нога была уже перевязана, у него появилась лихорадка, и он забыл о том, что надо быть сдержанным. Он лежал, вытянувшись во весь рост в кровати, и начал водить глазами по комнате, чтобы увидеть, не здесь ли еще бабочка.

Он старался не делать этого, но безуспешно. Вскоре он заметил, что насекомое сидит недалеко от его руки, около ночника, на зеленой скатерти, которой был покрыт столик. Крылья бабочки шевелились. С внезапно вспыхнувшим гневом Гэпли хватил по бабочке кулаком. Сиделка проснулась и громко вскрикнула. Он промахнулся.

— Это бабочка, — сказал он и добавил: — Одно воображение. Пустяки!

Все время он совершенно ясно видел, как насекомое ползает по карнизу и мечется по комнате. Видел также, что

сиделка ничего этого не видит и с удивлением на него смотрит. Надо держать себя в руках. Он знал, что он — погибший человек, если не будет держать себя в руках. Но когда ночная тьма начала рассеиваться, лихорадочное состояние усилилось, и сам страх перед тем, что он увидит бабочку, заставлял Гэпли видеть ее. Около пяти часов, как только начало светать, он попытался слезть с кровати и поймать бабочку, хотя в ноге чувствовалась жгучая боль. Сиделке пришлось чуть не драться с ним. По этому поводу его привязали к кровати. Тогда бабочка расхрабрилась, и однажды он почувствовал, что она уселась у него голове. Он начал изо всех сил бить себя руками — ему связали руки. Тогда бабочка явилась снова и поползла по лицу. Гэпли плакал, ругался, вопил, просил снять с него насекомое, но все было напрасно.

Доктор был болваном. Он лечил от всех болезней и был круглым невеждой в психиатрии. Он просто говорил, что нет никакой бабочки. Если бы он был умнее, то, может быть, сумел бы избавить Гэпли от его горькой доли — он мог бы войти в мир иллюзий и покрыть ему лицо кисеей, как тот просил. Но, как я уже сказал, что доктор был болваном, и, пока нога не срослась, Гэпли держали привязанным к кровати, а воображаемая бабочка ползала по нему. Она не покидала его, когда он бодрствовал, и обращалась в чудовище, когда он спал. Когда он бодрствовал, страшно хотелось спать, а заснув, он просыпался с диким криком.

Поэтому Гэпли доживает теперь свои дни в обитой тюфяками комнате, и его мучит надоедливая бабочка, которой никто не видит, кроме него. Доктор больницы для душевнобольных называет это галлюцинацией. Когда Гэпли приходит в относительно спокойное состояние и может говорить, он уверяет, что это дух Паукинса, что, следовательно, эта бабочка является единственным экземпляром, и что стоит потрудиться, чтобы поймать ее.

КРАСНЫЙ ГРИБ

Мистер Кумс чувствовал отвращение к жизни. Он спешил прочь от своего неблагополучного дома, чувствуя отвращение не только к своему собственному, но и ко всякому бытию, свернул в переулок за газовым заводом, чтобы уйти подальше от города, спустился по деревянному мосту через канал к Скворцовым коттеджам и очутился в сыром сосновом бору, один, вдали от шума и суматохи человеческого жилья. Больше нельзя терпеть. Он даже ругался, что было совсем не в его привычках, и громко повторял, что больше этого не потерпит.

Мистер Кумс был бледнолицый человечек с черными глазами и холеными, очень темными усиками. Стоявший торчком тугой, слегка поношенный воротничок создавал видимость двойного подбородка, а пальто, хотя и потертое, было отделано каракулем. Перчатки, светло-коричневые с черными полосками, были разорваны на кончиках пальцев. В его внешности, как сказала однажды его жена в те милые, безвозвратные, незапамятные дни, короче говоря, еще до их женитьбы, было что-то воинственное. А теперь она называла его — хоть и дурно разглашать то, что говорится наедине между мужем и женой, — она называла его: «Настоящее чучело».

Впрочем, она не скупилась и на другие нелестные прозвища.

Заваруха опять началась из-за этой нахалки Дженни. Дженни была приятельницей жены и без всякого приглашения со стороны мистера Кумса упорно являлась каждое воскресенье пообедать и портила весь день. Это была крупная, разбитная девушка, любившая крикливо одеваться и пронзительно хохотать, но ее сегодняшнее вторжение превзошло все, что было раньше: она притащила своего приятеля, франтоватого и одетого так же безвкусно, как и она сама. И вот мистер Кумс, в накрахмаленном чистом воротничке и воскресном сюртуке, сидел за обеденным столом, безмолвный и негодующий, в то время как жена его и гости болтали без умолку о таких пустяках, что уши вяли, и громко смеялись. Скрепя сердце он вытерпел все это, но вот после обеда (который «по обыкновению» запоздал) мисс Дженни не придумала ничего лучше, как сесть за пианино и наигрывать негритянские песенки, словно был будничный день, а не воскресенье. Нет! Человеческая природа не в силах вынести такого надругательства! Услышат соседи, услышит вся улица — это позор! Он не мог больше молчать!

Он хотел было заговорить, но почувствовал, что бледнеет, и от робости у него перехватило дыхание. Он сидел у окна на стуле — креслом завладел новый гость. «Воскресенье!» — с трудом выдавил он из себя, повернувшись к ним, и в тоне его слышалась угроза. «Воск-ресе-енье!» Да, голос был, что называется, «зловещий».

Дженни продолжала играть, но жена, просматривавшая стопку нот на крышке рояля, вперила в него сердитый взгляд.

— Опять что-то не так? — сказала она. — Людям и поразвлечься нельзя?

— Я не возражаю против разумных развлечений, — сказал маленький мистер Кумс, — но не намерен слушать увеселительные песенки в воскресенье в своем доме.

— А чем плохи мои песенки? — Дженни оборвала игру и, зашуршав всеми оборками, повернулась на вертящемся стуле.

Кумс почувствовал, что назревает ссора, и, как все нервные, застенчивые люди в таких случаях, взял слишком вызывающий тон.

— Вы там поаккуратнее со стулом, — сказал он, — а то он не приспособлен к тяжестям.

— Оставьте в покое тяжести, — раздраженно сказала Дженни. — Что вы там прохаживались насчет моей игры?

— Я полагаю, вы не хотели сказать, мистер Кумс, будто вам неприятно поразвлечься музыкой в воскресенье? — спросил новый гость; он откинулся в кресле, выпустил облако папиросного дыма и улыбнулся с оттенком превосходства. А миссис Кумс говорила приятельнице:

— Играй, Дженни, не обращай внимания.

— Вот именно! — ответил гостю мистер Кумс.

— Могу я осведомиться, почему? — спросил гость. Он явно наслаждался своей папиросой, а также предвкушением ссоры. Это был долговязый малый в светлом щегольском костюме; в его белом галстуке красовалась серебряная булавка с жемчужиной. «Он проявил бы больше вкуса, надев черный костюм», — подумал мистер Кумс. Он ответил гостю:

— А потому, что мне это не подходит. Я деловой человек. Я должен считаться со своей клиентурой. Разумные развлечения...

— Его клиентура! — фыркнула миссис Кумс. — Только это от него и слышишь... Нам надобно делать это, нам нельзя делать то...

— А если тебе не нравится считаться с моей клиентурой, — ответил мистер Кумс, — зачем ты выходила за меня замуж?

— Непонятно! — вставила Дженни и повернулась к пианино.

— В жизни не видывала таких, как ты, — сказала миссис Кумс. — Начисто переменился с тех пор, как мы поженились. Прежде...

Дженни снова уже барабанила: тут-тум-тум!

— Послушайте, — проговорил мистер Кумс, выведенный наконец из себя. Он встал и возвысил голос: — Говорят вам, я этого не допущу. — И даже сюртук его топорщился от негодования.

— Ну-ну, без насилия, — произнес долговязый, приподнявшись.

— Да вы-то кто такой, черт возьми! — свирепо спросил мистер Куме.

Тут заговорили все разом. Гость заявил, что он «нареченный» Дженни и намерен защищать ее, а мистер Кумс ответил, что пусть себе защищает где угодно, но только не в его (мистера Кумса) доме; а миссис Кумс сказала, что хоть бы он постыдился так оскорблять гостей и что он превращается (как я уже упоминал) в настоящее чучело; а

кончилось все тем, что мистер Кумс приказал своим гостям убираться вон, а те не ушли, и он сказал, что тогда придется уйти ему самому. С пылающим лицом, со слезами на глазах выбежал он в переднюю, и пока он там сражался с пальто — рукава сюртука упорно вздергивались кверху — и смахивал пыль с цилиндра, Дженни снова заиграла, и ее наглое «тум-тум-тум» провожало его до порога. Он хлопнул дверью так, что, казалось, весь дом задрожал. Вот что было непосредственной причиной его скверного настроения. Теперь вам понятно, почему он испытывал такое отвращение к жизни?

И вот, расхаживая по скользким лесным тропинкам — был конец октября, и всюду из-под ворохов хвои и по канавам пестрели грибные гнезда, — он припоминал всю горестную историю своей женитьбы. Она была несложна и достаточно обычна. Теперь он начал понимать, что жена вышла за него из простого любопытства и из желания избавиться от тяжелой, изнурительной, плохо оплачиваемой работы в мастерской. Но, как большинство женщин ее круга, она была недалекой и не понимала, что обязана помогать мужу в его работе. Она была падка до развлечений, многословна, общительна и гостеприимна и явно разочаровалась, поняв, что замужество не избавило ее от гнета бедности... Его заботы раздражали ее, а на малейшее замечание она заявляла, что он вечно брюзжит. Почему он не мог быть таким милым, как раньше? А Кумс был безответный человечек, вскормленный на книге «Помогай самому себе» и лелеявший скромную мечту о «достатке», нажитом путем самоограничения и борьбы с конкурентами. Потом появилась Дженни, этот Мефистофель в женском облике, с ее вечной болтовней о воздыхателях, и начала таскать жену по театрам и «все в таком роде». Вдобавок у жены были тетки, двоюродные братья и сестры, и все они пожирали его состояние, оскорбляли его, мешали ему в делах, докучали лучшим клиентам и вообще портили ему жизнь, как только умели. Уже не впервые гнев и негодование, к которым примешивался какой-то смутный страх, гнали мистера Кумса из дому; он убегал прочь, яростно и гром-

ко клялся, что больше этого не потерпит, и так понемногу впустую растрачивал свой пыл. Но никогда еще он не испытывал такого глубокого отвращения к жизни, как сегодня; в этом повинны были, вероятно, и воскресный обед и пасмурное небо. А может быть, он начал наконец понимать, что неуспех его дел — это последствие его женитьбы. Сейчас ему угрожало банкротство, а там... Что ж, возможно, она и раскается, когда уже будет слишком поздно. А судьба, как я уже указывал, обсадила тропинку в лесу пахучими грибами, обсадила ее по обе стороны и густо и пестро.

Трудно приходится мелкому лавочнику, когда у него плохая подруга жизни. Весь его капитал вложен в дело, и покинуть жену означает для него примкнуть к армии безработных где-нибудь на чужбине. Развод для него — недосягаемая роскошь. Добрые, старые традиции законного, нерасторжимого брака безжалостно связывают его, и нередко дело кончается трагедией. Каменщики жестоко бьют своих жен, а герцоги им изменяют; но именно в среде маленьких клерков и лавочников все чаще в наши дни случаи убийства. Поэтому вполне понятно — и прошу отнестись к этому как можно снисходительней, — что воображение мистера Кумса обратилось к такому блистательному способу завершить его разбитые надежды, и некоторое время мысли его занимали бритвы, револьверы, столовые ножи и трогательные письма к следователю с именами врагов и христианской мольбой о прощении. Но вскоре злоба сменилась глубокой грустью. Он венчался в этом самом пальто и в этом самом сюртуке, первом и единственном, какой у него был в жизни. Еще вспомнилось, как он ухаживал за ней в этом самом лесу, и годы лишений ради того, чтобы накопить состояние, и светлые, полные надежд дни медового месяца. И вот как все это обернулось! Неужели провидение так немилосердно к людям! Им опять завладела мысль о смерти.

Он вспомнил о канале, над которым недавно проходил, и усомнился: покроет ли его с головой даже посредине, в самом глубоком месте. И среди этих грустных раздумий на глаза ему попался красный гриб. С минуту он тупо глядел на него, затем подошел и нагнулся, приняв его за оброненный кем-то кожаный кошелек. Тут он увидел, что это шляпка гриба, необычайно красного, как бы ядовитого оттенка, скользкая, глянцевитая, с кислым запахом. Он стоял, нерешительно протянув к нему руку, и вдруг мысль о яде пронзила его мозг. Тогда он сорвал гриб и выпрямился, держа его в руке.

Запах у гриба был острый, резкий, но не противный. Он отломил кусочек; свежая мякоть была светло-кремовой, но не прошло и десяти секунд, как она превратилась в изжелта-зеленую. Глядеть на это было забавно, и он отломил еще и еще кусочек. «Удивительные растения эти грибы», — подумал мистер Кумс. Все они содержат смертельный яд, как часто говорил ему отец, — смертельный яд.

«Самый подходящий момент для отчаянного шага. Здесь вот и сейчас, почему бы нет?» — раздумывал мистер Кумс. Он откусил кусочек, крохотный кусочек, самую малость. Во рту стало так горько, что он чуть не сплюнул, а потом начало печь, как будто он хватил горчицы с добавкой хрена и с грибным привкусом...

В своем возбуждении он и не заметил, как проглотил первый кусочек. Что же, съедобно или нет? Он чувствовал удивительную беспечность. Надо бы еще попробовать... В самом деле съедобно, даже вкусно! Отдавшись новым впечатлениям, он забыл о своих горестях. Ведь это была игра со смертью. Он снова откусил кусочек, на этот раз побольше. У него как-то странно закололо в пальцах на руках и на ногах. Сильнее забился пульс; кровь зашумела в ушах, как жернова. «Еще кусок... по-проб...» — пробормотал он. Он повернулся — ноги плохо слушались его — и поглядел по сторонам. Неподалеку он увидел красное пятно и попытался подойти к нему. «Недурной закусон, — бормотал он. — Э, да тут их еще...» Он рванулся вперед и, протянув к грибам руки, повалился ничком. Но трогать их не стал. Он вдруг забыл обо всем на свете.

Он перевернулся, присел и удивленно огляделся. Его старательно вычищенный цилиндр откатился к канаве. Он

приложил руку ко лбу. Что-то произошло, но что именно, он не мог ясно вспомнить. Как бы там ни было, тоска его рассеялась, на душе стало весело и легко! Но горло попрежнему горело. Внезапно он громко засмеялся. Его что-то огорчало? Он ничего не помнил. Во всяком случае, он не будет больше грустить. Он поднялся и с минуту стоял, пошатываясь, со светлой улыбкой глядя на окружающий мир. Кое-что он начал припоминать, впрочем, довольно смутно, — в голове вертелась какая-то карусель. Ну да, там, дома, он наскандалил из-за того, что люди хотели повеселиться. Они были совершенно правы; жизнь должна быть как можно радостней. Он пойдет сейчас домой и все уладит и успокоит их. А почему бы ему не набрать этих великолепных поганок и не угостить их? Набрать целую шляпу верхом. Вот этих красных с белыми крапинками и еще желтеньких. Да, он показал себя бирюком, ненавистником радости, но он все поправит. Как забавно надеть, скажем, пальто наизнанку и натыкать в карманы жилета веточки дикого терновника. И — с песней домой — весело провести вечер.

Как только мистер Кумс ушел, Дженни перестала играть и, повернувшись к присутствующим, спросила:

— Ну, из-за чего было поднимать такой шум?

— Вот видите, мистер Кларенс, что мне приходится терпеть от него... — сказала миссис Кумс.

— Уж очень горяч, — степенно произнес мистер Кларенс.

— И меня особенно удручает, — продолжала миссис Кумс, — что нет в нем ни малейшего понимания нашего положения; он только и думает, что о своей несчастной лавчонке. Соберу ли я иной раз небольшое общество, или куплю себе безделицу, чтобы приодеться немного, или потрачу на себя какой-нибудь пустяк из денег, отложенных на хозяйство, — сейчас же недовольство. «Бережливость», видите ли, «борьба за существование» и все такое. Он не спит ночами, все думает и думает и мучает себя, как бы ему сэкономить на моих расходах лишний шиллинг. Он как-то

потребовал даже, чтобы мы ели маргарин. Стоит мне уступить хоть раз — кончено!

— Безусловно, — подтвердила Дженни.

— Если мужчина ценит женщину, — произнес мистер Кларенс, откидываясь в кресле, — он должен быть готов приносить для нее жертвы. Что касается меня, — тут взгляд мистера Кларенса остановился на Дженни, — я не позволю себе и думать о браке, пока у меня не будет возможности жить с супругой на широкую ногу. А иначе это не что иное, как эгоизм. Сквозь невзгоды каждый мужчина должен пройти один, а не тащить с собой...

— Ну, с этим я не вполне согласна, — перебила его Дженни, — я не вижу, почему бы мужчине отказываться от помощи женщины... Лишь бы он не обращался с ней грубо... Грубость — это...

— Вы не поверите, — сказала миссис Кумс, — но я, видно, лишилась рассудка, когда выходила за него. Я должна была понять. Не будь тут моего отца, он отказался бы даже от свадебной кареты...

— Боже! До этого дойти! — сказал совершенно потрясенный мистер Кларенс.

— Все говорил, что деньги, мол, нужны ему для дела, и тому подобные глупости. Он не позволил бы мне нанять женщину, чтобы помогала мне раз в неделю, да тут я крепко взялась. А ведь какой крик он поднимает из-за денег, наступает на меня с книгами да со счетами, чуть не кричит: «Нам бы только продержаться в этом году, а там уже дело пойдет». А я говорю: «Если продержимся в этом году, то опять будет: «Нам бы только продержаться в следующем году». «Я тебя знаю, — говорю я ему. — Не добьешься ты, чтобы я себя заморила, превратила в какое-то пугало. Что же ты не женился на кухарке, — говорю, — раз тебе нужна кухарка, а на благопристойная девица... Я говорю...»

И все в том же роде. Но незачем дальше слушать этот малопоучительный разговор. Достаточно сказать, что с мистером Кумсом вскоре было покончено, и они приятно провели время у пылающего камина. Затем миссис Кумс вышла приготовить чай, а Дженни присела на ручку крес-

ла возле мистера Кларенса и кокетничала с ним, пока не раздался звон посуды.

— Что это мне будто послышалось... — лукаво спросила миссис Куме, входя, — и посыпались шутки о поцелуях... Они уютно сидели вокруг небольшого круглого столика, когда первые признаки возвращения мистера Кумса дали себя знать. Послышалось звяканье щеколды у наружных дверей...

— Вот и он, мой господин и повелитель, — сказала миссис Кумс, — уходит, как лев, а возвращается, как ягненок. Держу пари...

В лавке раздался грохот: по-видимому, упал стул. Кто-то прошел коридором, выделывая ногами замысловатые па. Затем дверь распахнулась, и появился Кумс, но Кумс преображенный. Безупречный воротничок был сорван. Старательно вычищенный цилиндр, до половины наполненный грибным крошевом, был зажат под мышкой, пальто вывернуто наизнанку, а жилет украшен цветущими пучками желтого дрока. Но что значили все эти незначительные изменения праздничного костюма в сравнении с тем, как изменилось его лицо! Оно было мертвенно-бледным, неестественно расширенные глаза горели, и горькая усмешка кривила посиневшие губы.

— Вее-селитесь! — сказал он, стоя в дверях. — Разумное развлечение. П-пляшите. — Танцуя, он сделал три шага вперед, остановился и отвесил поклон.

— Джим! — взвизгнула миссис Кумс.

А у мистера Кларенса от испуга отвисла челюсть.

— Чаю, — забормотал мистер Кумс. — Чай — хорошая штука. Поганки тоже...

— Напился, — проговорила Дженни слабым голосом. Никогда еще не видела она у пьяных такой мертвенной бледности лица, таких расширенных, горящих глаз.

Мистер Кумс протянул мистеру Кларенсу пригоршню ярко-красных грибов.

— Хор-роший закус-сон, — бормотал он — Попробуй.

Тон у него был очень приветливый. Но при виде их оторопелых лиц его настроение мгновенно переменилось,

как это бывает у ненормальных, и он поддался безудержной ярости. Казалось, недавний скандал пришел ему на память. Зычным голосом — миссис Кумс такого не знала — он крикнул:

— Мой дом, я здесь хозяин, ешьте, что вам дают! — Но не двинулся с места, не сделал ни одного резкого движения, прокричал безо всякого усилия, словно прошептал, и все еще протягивал им пригоршню красных грибов.

Кларенс не на шутку струсил. Не в силах выдержать полный ярости и безумия взгляд мистера Кумса, он вскочил на ноги, оттолкнул кресло и попятился. Кумс пошел на него. Дженни, не теряя времени, с легким вскриком юркнула за дверь. Миссис Кумс поспешила за ней вслед. Кларенс хотел увернуться; Кумс опрокинул столик с посудой, ухватил гостя за шиворот и пытался напихать ему в рот грибов. Кларенс без возражений оставил в его руках воротничок и выскочил в коридор; лицо его было облеплено красными крошками.

— Заприте его! — крикнула миссис Кумс, и это удалось бы сделать, если бы ее не покинули союзники; Дженни увидела, что дверь в лавку приоткрыта, устремилась туда и захлопнула ее за собой, а Кларенс поспешил укрыться в кухне. Мистер Кумс всем телом навалился на дверь, и жена его, заметив, что ключ остался по ту сторону двери, взбежала по лестнице и заперлась в спальне.

Новообращенный прожигатель жизни появился в коридоре; он уже растерял свои украшения, но чинный цилиндр с грибами все еще торчал у него под мышкой. Он поколебался, какой из трех путей ему избрать, и направился к кухне. Кларенс, тщетно возившийся с ключом, был вынужден отказаться от намерения отрезать мистеру Кумсу путь и подался в кладовку, где и был настигнут раньше, чем успел отворить дверь во двор. Мистер Кларенс крайне сдержан в описании того, что последовало. Вспышка мистера Кумса как будто уже улеглась, и он опять превратился в добродушного затейника. А так как вокруг лежали ножи — столовые и кухонные, — то Кларенс принял великодушное решение ублажать мистера Кумса, не доводить

дело до трагедии. Не подлежит сомнению, что мистер Кумс в свое удовольствие позабавился над мистером Кларенсом; они не могли бы резвиться дружнее, если бы знали друг друга с детства. Хозяин любезно уговаривал мистера Кларенса отведать грибы и, задав ему небольшую трепку, почувствовал глубокое раскаяние при виде изукрашенного лица гостя. Потом мистера Кларенса как будто бы сунули под кран и начистили ему лицо сапожной щеткой — он, по-видимому, твердо решил подчиняться любым прихотям сумасшедшего, — и, наконец, взъерошенного, полинявшего, обтрепанного сунули в пальто и выпроводили черным ходом, так как Дженни все еще преграждала выход через лавку. Тут блуждающие мысли мистера Кумса обратились к Дженни. Ей не удалось отворить выходную дверь, но засов спас ее в ту минуту, когда ключ мистера Кумса начал отпирать американский замок, и весь остаток вечера она просидела в лавке.

Затем мистер Кумс, очевидно, вернулся в кухню все еще в поисках развлечений и, несмотря на то, что был заядлым трезвенником, выпил (или вылил на лацканы своего первого и единственного сюртука) с полдюжины бутылок портера, которые миссис Кумс берегла на случай болезни. Он поднял веселый звон, отбивая горлышки бутылок тарелками — свадебным подарком жены — и распевая шутливые песенки; так началась грандиозная попойка. Он сильно порезался осколком бутылки, и это кровопролитие — единственное во всем нашем рассказе, — а также частые спазмы — ибо на неискушенного человека портер действует сильнее, — видно, кое-как угомонили демона грибного яда. Но мы предпочитаем набросить покров на заключительные события этого воскресного вечера. Все кончилось глубоким, все исцеляющим сном на углях в подвале.

Прошло пять лет. Опять стоял октябрьский полдень; и снова мистер Кумс прогуливался по сосновому лесу за каналом. Это был все тот же черноглазый человечек с темными усиками, что и в начале повествования, но его двойной подбородок был уже не только кажущимся. На нем было новое пальто с бархатными отворотами; изящный воротничок с отвернутыми уголками, отнюдь не жесткий и не топорный, заменил воротничок ходячего образца. На нем был блестящий новый цилиндр и почти новые перчатки с аккуратно заштопанной дырочкой на кончике пальца. Даже случайный наблюдатель заметил бы в его осанке отпечаток высокой добропорядочности, а закинутая назад голова указывала, что человек знает себе цену. Теперь он был хозяином с тремя помощниками. За ним следом, словно карикатура на него, шагал рослый загорелый парень — его брат Том, только что вернувшийся из Австралии. Они вспоминали о былых трудностях, и мистер Кумс только что обрисовал свое финансовое положение.

— Да, Джим, у тебя славное дельце, — сказал брат Том, — твое счастье, что ты сумел так его поставить при нынешней конкуренции. И твое счастье, что у тебя такая жена — во всем тебе помощница.

— Между нами говоря, — сказал мистер Кумс, — не всегда оно так было. Да, не всегда... В начале дамочка была с капризами. Женщины — забавные создания.

— Да что ты!

— Ну да. Ты и не поверишь, до чего она была взбалмошна и все старалась как-нибудь меня поддеть! Я был слишком покладистым, любящим, ну таким вот... знаешь... Она и вообразила, что и сам я и дело мое только для нее и существуем. Дом мой превратила в какой-то караван-сарай. Вечно тут торчали всякие знакомые, всякие приятельницы по работе со своими кавалерами. По воскресеньям распевались шутливые песенки, а лавка была в полном забросе. Она еще и глазки начала строить всяким юнцам. Говорю тебе, я не был хозяином в своем доме.

— Даже не верится!

— Право же. Конечно, я пытался ее вразумить и говорил ей: «Я не какой-нибудь граф, чтобы содержать жену, как балованного зверька. Я женился на тебе, чтобы иметь помощницу и подругу». Я говорил ей: «Ты должна мне помогать, вместе мы вытянем». Но она и слушать не хотела.

«Хорошо же, — сказал я, — мягок-то я мягок, пока не выйду из себя, а дело, — говорю, — к тому идет». Да куда там, она и не слушала!

— Ну и как же?

— С женщинами оно всегда так. Она не верила, что я способен на это — ну, что я могу выйти из себя. Женщины ее породы, Том, между нами говоря, уважают мужчину, если они его побаиваются. И вот, чтобы припугнуть ее, я и учинил скандал. Подружилась с женой на работе одна девица, Дженни, стала у нас бывать и привела как-то своего дружка. Мы с ним повздорили, и я ушел из дому сюда, в лес, — такой же вот был денек, как сегодня, — и все обдумал порядком. Потом вернулся да как наброшусь на них.

— Ты?

— Я. В меня словно бес вселился. Ее я не отколотил, удержался, но уж парню задал трепку, — в общем, чтобы показать ей, на что я способен... А он был здоровый парень! Оглушил я его и стал бить посуду и нагнал на нее такого страху, что она убежала и заперлась от меня.

— Ну а потом что?

— Вот и все! На следующий день я сказал ей: «Теперь ты знаешь, каков я, когда выйду из себя». И больше мне не пришлось ничего добавлять.

— И с тех пор ты счастлив? Да?

— Да, можно сказать, что и счастлив. Самое важное — это поставить на своем! Не будь того дня, я бы сейчас бродяжничал по дорогам, а она и вся ее семейка ворчали бы на меня, что вот я довел ее до нищеты. Знаю я все их штучки. Но ничего, теперь все в порядке. И ты это правильно сказал, что у меня славное дельце.

Они прошли несколько шагов, размышляя каждый о своем.

— Забавные существа — женщины! — сказал Том.

— Им нужна твердая рука, — сказал мистер Кумс.

— А грибов-то здесь сколько, — заметил Том, — и какой только от них прок!

Мистер Кумс поглядел вокруг.

— Я полагаю, что в них есть очень большой смысл, — сказал он.

Вот и вся благодарность, какую получил красный гриб за то, что, помрачив рассудок жалкого человечка, сделал его способным к решительным действиям и таким образом перевернул весь ход его жизни.

СОКРОВИЩЕ В ЛЕСУ

Челнок приближался к берегу, и перед путешественниками открылась бухта. Разрыв в сплошной пене прибоя указывал то место, где в море впадала речка. Течение ее можно было проследить по более густым и темно-зеленым зарослям девственного леса, покрывавшего склон холма. Лес подходил к самому берегу моря. Вдали возвышались горы, туманные, точно облака, и похожие на внезапно замерзшие волны. На море была легкая, почти незаметная зыбь. Небо сверкало.

Человек с самодельным веслом в руках перестал грести.

— Должно быть, где-то здесь, — произнес он и, положив весло, указал рукой.

Его товарищ, сидевший на носу челнока, внимательно вглядывался в берег. На коленях у него лежал пожелтевший лист бумаги.

— Поди-ка посмотри, Эванс! — сказал он.

Оба говорили тихо. Губы у них пересохли и шевелились с трудом.

Тот, кого звали Эвансом, пошатываясь, прошел вперед и заглянул через плечо спутника.

Бумага представляла собой грубо набросанную карту. Ее много раз складывали, она выцвела, измялась, была порвана по сгибам, так что приходилось соединять ее куски. На карте с трудом можно было различить очертания бухты, нанесенные почти стершимся карандашом.

— Вот риф, — сказал Эванс, — а здесь лагуна. — Он провел по карте ногтем. — Вот эта кривая, извилистая линия — река, наконец-то напьемся! А звездочка обозначает место, которое нам нужно.

— Видишь пунктирную линию? — сказал человек с картой. — Она прямая и идет от рифа к этим пальмам. Звездочка стоит как раз там, где линия перерезает реку. Когда войдем в лагуну, надо отметить это место.

— Странно, — сказал Эванс, помолчав, — для чего поставлены вот эти значки? Похоже на план дома или чего-то такого, но никак не пойму, почему эти черточки показывают то одно направление, то другое. А на каком языке тут написано?

— По-китайски, — сказал человек с картой.

— Ну, конечно, он же был китаец, — заметил Эванс.

— Все они были китайцы, — сказал человек с картой.

Оба сидели несколько минут молча, вглядываясь в берег, а челнок медленно плыл вперед по течению. Потом Эванс взглянул на весло.

— Твой черед грести, Хукер, — сказал он.

Хукер, не торопясь, сложил карту, сунул ее в карман, затем осторожно обошел Эванса и принялся грести. Движения его были медленными, как у обессилевшего человека.

Эванс сидел, полузакрыв глаза, и смотрел, как все ближе подступает пенистая коралловая гряда. Солнце теперь было почти в зените, и небо раскалилось, словно печь. Хотя они были близко от сокровища, Эванс не испытывал того возбуждения, которое предвкушал раньше. Напряженная борьба за карту, длительное ночное путешествие от материка в челноке без запаса еды и питья совсем доконали его, как он выразился. Он старался подбодрить себя, старался думать о золотых слитках, о которых говорили китайцы, но мысленно все время видел перед собой пресную воду, журчащую реку и ощущал невыносимую сухость во рту и в горле. Уже слышались ритмичные удары волн о рифы, лаская слух Эванса. Вода билась о борт челнока. При каждом взмахе весла с него падали капли. Эванс задремал.

Он смутно сознавал, что они приближаются к острову, но к этому примешивались странные сновидения. Он снова переживал ту ночь, когда они с Хукером случайно узнали тайну китайцев. Он видел деревья, залитые лунным светом, небольшой костер и темные фигуры трех китайцев, с одной стороны посеребренные луной, а с другой освещенные пламенем костра. Он слышал, как китайцы разговаривали между собой на ломаном английском языке, потому что все они были уроженцами разных провинций. Хукер первый уловил суть их разговора и посоветовал Эвансу прислушаться. Временами они ничего не могли расслышать, а те обрывки разговора, которые доносились до них, были непонятны. Речь шла о каком-то испанском судне с Филиппин, севшем на мель, и о его сокровищах, спрятанных до лучших времен. Людей с погибшего корабля осталось мало: одни заболели и умерли, кого-то убили в ссоре, наконец, те, кто уцелел, ушли в море на шлюпках, и о них ничего больше не было слышно. А потом Чанг Хи всего лишь год назад попал на остров и случайно наткнулся на слитки золота, пролежавшие там двести лет. Он бросил джонку, на которой приехал, и один с огромным трудом закопал сокровище в новом месте, очень надежном; он особенно подчеркивал надежность этого места, — очевидно, тут он чего-то не договаривал. Теперь ему нужны были помощники, чтобы вернуться на остров и извлечь сокровище. Затем в воздухе замелькала карта, и голоса затихли. Недурная история для ушей двух бродяг-англичан без пенни за душой! А затем Эванс увидел во сне, что он держит Чанг Хи за косу. Чего там, жизнь китайца не так священна, как жизнь европейца! Теперь перед Эвансом возникло хитрое лицо китайца; сперва выражение его было яростным и напряженным, как у внезапно потревоженной змеи, потом оно стало испуганным, жалким и в то же время полным затаенного коварства, а под конец Чанг Хи непонятно и неожиданно усмехнулся. Потом стало очень жутко, как это иногда бывает во сне. Чанг Хи что-то быстро и неясно бормотал, угрожая ему. Эванс видел груды золота, но Чанг Хи мешал ему и боролся с ним, отталкивая его от со-

кровища. Эванс схватил Чанг Хи за косу; какой большой этот желтолицый и с какой силой он отбивался, усмехаясь... Чанг Хи становился все больше и больше. Вдруг блестящие кучи золота превратились в ревущую печь, а огромный дьявол, удивительно похожий на Чанг Хи, но с большим черным хвостом, стал совать раскаленные уголья в глотку Эванса. Они сильно обжигали. Другой дьявол выкрикивал его имя: «Эванс, Эванс, не спи, болван!» Или это был голос Хукера?

Эванс очнулся. Они были у самого входа в лагуну.

— Здесь должны быть три пальмы, в одну линию с этими кустами, — сказал Хукер, — смотри-ка. Когда доплывем к зарослям, потом свернем вон к тому кусту и доберемся до места, как только войдем в речку.

Перед ними было устье реки. Увидев реку, Эванс воспрянул духом.

— Поторопись, друг, — воскликнул он, — а то, ей-богу, напьюсь морской воды!

Он сжал зубами руку и, не отрываясь, смотрел на серебряную полосу воды между скалами и зелеными зарослями.

Потом он чуть не с яростью взглянул на Хукера.

— Дай-ка мне весло, — проговорил он.

Они достигли устья. Проплыв немного вверх, Хукер зачерпнул горстью воду, попробовал и выплюнул. Проехав еще немного, он снова попробовал воду.

— Годится, — сказал он. и они стали жадно пить.

— К черту! — внезапно воскликнул Эванс. — Так не напьешься! — Рискуя выпасть из челнока, он перегнулся через борт и начал пить прямо из реки.

Наконец они напились, ввели челнок в небольшой приток реки и собрались вылезти на берег среди густых зарослей, спускавшихся к самой воде.

— Нам придется продираться сквозь заросли к берегу моря, чтобы найти кустарник и от него прямо идти туда, куда нам нужно, — сказал Эванс.

— Лучше проедем туда на лодке, — предложил Хукер.

Они снова вывели челнок в реку и стали грести к морю, а потом вдоль берега, туда, где рос кустарник. Здесь они остановились, втащили легкий челнок на берег и пошли к лесу; они шли до тех пор, пока лагуна и кустарник не оказались перед ними на одной линии. Эванс захватил с собой из челнока туземную одноконечную кирку с полированным камнем на конце поперечины. Хукер нес весло.

— Теперь прямо вон туда, — сказал он, — будем пробираться сквозь кусты, пока не выйдем к реке. А там поищем!

Они пробивались сквозь густые заросли тростника, гигантских папоротников и молодых деревьев. Сначала идти было трудно, но скоро стало попадаться все больше высоких деревьев с открытыми полянками между ними. Яркий свет солнца почти незаметно сменялся прохладной тенью. Наконец они очутились среди огромных деревьев, сплетавшихся высоко над их головами в зеленый шатер. Со стволов свешивались тускло-белые цветы, от одного дерева к другому перекидывались ползучие растения. Тени сгущались. На земле все чаще встречались бурые пятна мха и лишайников.

По спине Эванса пробежала дрожь.

— Здесь даже как-то холодно после жары на берегу, — сказал он.

— Надеюсь, мы правильно идем, — заметил Хукер.

Далеко впереди в густом мраке они увидели наконец просвет там, где лучи жаркого солнца пронизывали лес. Здесь был густой подлесок и росли яркие цветы. Затем они услыхали шум воды.

— Вот и река. Она, должно быть, близко, — заметил Хукер.

Берега реки густо заросли. Пышные растения, еще не получившие названия, зеленели среди корней высоких деревьев и поднимали к небу свои гигантские веерообразные листья. Было множество цветов, и какие-то ползучие растения с яркой листвой цеплялись за стволы. На поверхности широкой заводи, которую охотники за кладом снача-

ла не заметили, плавали большие овальные листья и бледно-розовые, точно восковые, цветы, напоминавшие водяные лилии. Дальше, где река сворачивала в сторону, она была покрыта пеной и шумела на порогах.

— Ну как? — сказал Эванс.

— Немного отклонились от прямой, — ответил Хукер, — так и следовало ожидать.

Он повернулся и стал всматриваться в прохладную густую тень безмолвного леса.

— Если побродить по берегу вверх и вниз, мы найдем то, что нам нужно.

— Ты говорил... — начал Эванс.

— Он говорил, что там груда камней, — закончил Хукер.

Оба внимательно посмотрели друг на друга.

— Давай для начала поищем немного ниже по течению, — предложил Эванс.

Они пошли вперед медленно, с любопытством оглядываясь по сторонам. Вдруг Эванс остановился.

— Что там за чертовщина? — проговорил он.

Хукер посмотрел туда, куда Эванс указывал пальцем.

— Что-то синее, — заметил он.

Они только что поднялись на пригорок и оттуда увидели какой-то непонятный синий предмет. Хукер почти сразу догадался, что это такое.

Он быстро пошел вперед и увидел мертвое тело с согнутой рукой; она-то и привлекла их внимание. Рука крепко сжимала кирку. Человек оказался китайцем. Он ничком лежал на земле, и по положению тела было ясно, что он мертв.

Хукер и Эванс подошли ближе и молча смотрели на зловещие останки. Труп лежал на открытой поляне под деревьями. Поблизости была китайская лопата, а дальше — разбросанная куча камней и возле нее свежевырытая яма.

— Кто-то здесь уже побывал, — хрипло промолвил Хукер.

Внезапно Эванс начал ругаться и топать ногами.

Хукер побледнел, но ничего не сказал. Он подошел к простертому телу и увидел, что шея мертвеца была красной и распухшей. Распухли также его руки и ноги.

— Фу! — сказал Хукер, резко отвернулся и подошел к яме. Он вскрикнул от удивления. — Болван! Все в порядке! — обратился он к Эвансу, который медленно шел за ним. — Сокровище здесь!

Он опять взглянул на мертвого китайца, а затем снова на вырытую яму.

Эванс подбежал к яме. Перед ним лежали тускло-желтые бруски, наполовину вытащенные из земли злополучным китайцем. Эванс наклонился над ямой и, расчистив руками землю, торопливо вынул один из тяжелых брусков. При этом какой-то маленький шип уколол его в руку. Он вытащил тоненький шип пальцами и поднял слиток.

— Только золото и свинец могут быть такими тяжелыми, — в радостном волнении сказал он.

Хукер все еще смотрел на тело. Что-то ему было непонятно.

— Он забежал вперед тайком от приятелей, — наконец заметил Хукер, — пришел сюда один, а здесь его укусила ядовитая змея. Интересно, как он нашел это место?

Эванс стоял, держа в руках слиток. Что значил какой-то мертвый китаец?

— Нам придется по частям перетащить все это на материк и на время опять закопать там, — проговорил он, — но как мы дотащим все эти слитки до челнока?

Он снял куртку, разложил ее на земле и бросил на нее два или три слитка. При этом он заметил, что еще один шип впился ему под кожу.

— Больше нам не снести, — сказал он и добавил с неожиданным раздражением: — На что ты там уставился?

Хукер взглянул на него.

— Невыносимо... У него такой вид... — Он кивнул в сторону трупа. — Он так похож...

— Чепуха! — сказал Эванс. — Все китайцы похожи друг на друга.

Хукер смотрел в лицо своему товарищу.

— Во всяком случае, я похороню его, прежде чем притронусь к сокровищу.

— Не валяй дурака, Хукер, — сказал Эванс. — Оставь эту падаль.

Хукер колебался. Он медленно осмотрел бурую землю вокруг.

— Меня это как-то пугает, — проговорил он.

— Вопрос в том, — сказал Эванс, — что делать с этими слитками: снова закопать их где-нибудь здесь или перевезти на челноке через пролив?

Хукер молчал. Тревожным взглядом обводил он высокие стволы деревьев и далекие, залитые солнцем зеленые ветви над головой. Когда глаза его остановились на китайце в синей одежде, он снова вздрогнул.

— Что с тобой, Хукер? — спросил Эванс. — Ты спятил?

— Так или иначе, надо унести отсюда золото, — ответил Хукер.

Он взялся за ворот куртки Эванса, а тот ухватился за полы, и они подняли золото.

— Куда пойдем? — спросил Эванс. — К челноку? Странно, — добавил он, сделав несколько шагов, — у меня все еще болят руки от гребли... Черт побери! Здорово болят. Придется сделать передышку.

Они положили куртку на землю. Лицо у Эванса побледнело, и лоб покрылся мелкими капельками пота.

— Что-то душно здесь, в лесу, — пробормотал он. С внезапным приступом необъяснимой ярости он закричал:

— Что толку весь день торчать здесь! Слушай-ка, поднимай куртку. Как ты увидел мертвого китайца, так ничего больше не делаешь, только глазеешь по сторонам!

Хукер пристально смотрел в лицо своему компаньону. Он помог поднять куртку со слитками, и они молча пошли дальше. Пройдя шагов сто, Эванс начал задыхаться.

— Что с тобой? — спросил Хукер.

Эванс, спотыкаясь, сделал еще несколько шагов, а затем с проклятием вдруг уронил куртку, так что золото вывалилось. С минуту он стоял, глядя на Хукера, и затем со стоном схватился за горло.

— Не подходи ко мне! — проговорил он, прислонившись к дереву, и более твердым голосом добавил: — Мне сейчас станет легче.

Пальцы его, сжимавшие ствол дерева, разжались, и он стал медленно сползать вниз, пока не рухнул бесформенной массой к подножию дерева. Руки его судорожно сжимались, лицо было искажено болью. Хукер подошел к нему.

— Не трогай меня! Не трогай! — задыхаясь, проговорил Эванс. — Положи золото на куртку.

— Может, помочь тебе? — спросил Хукер.

— Положи золото на куртку!

Когда Хукер поднимал слитки, он почувствовал, как что-то укололо его в большой палец. Он взглянул на руку и увидел тонкий шип дюйма в два длиной.

Эванс вскрикнул и стал кататься по земле.

У Хукера вытянулось лицо. Он смотрел на шип блуждающими глазами. Потом посмотрел на Эванса, который корчился на земле; его тело поминутно сводила судорога. Потом Хукер посмотрел туда, где между стволами деревьев и паутиной ползучих растений в тусклой серой дымке неясно виднелось тело китайца в синей одежде. Хукер вспомнил черточки в углу плана и сразу понял все.

— Господи, помоги мне! — проговорил он.

Эти ядовитые шипы были в точности похожи на те, которыми даяки стреляют из своих духовых ружей.

Хукер понял теперь, почему Чанг Хи был так уверен, что клад спрятан надежно. Он понял и усмешку Чанг Хи.

— Эванс ! — закричал Хукер.

Но Эванс лежал безмолвно и неподвижно, только руки и ноги у него временами подергивались в предсмертной судороге. В лесу стояла глубокая тишина.

Тогда Хукер принялся с отчаянием сосать то место на большом пальце, где виднелось крошечное розоватое пятнышко. Он сосал и сосал — он боролся за жизнь. Внезап-

но он почувствовал тупую боль в руках и плечах, пальцы его с трудом сгибались, и он понял, что сосать не стоит.

Он сразу опустил руку и сел рядом с грудой слитков. Положив подбородок на руки и опершись локтями на колени, он смотрел на все еще вздрагивавшее тело Эванса. В памяти снова возникла усмешка Чанг Хи. Тупая боль теперь подступала к горлу и понемногу усиливалась. Высоко над его головой легкий ветерок шевелил листву, и белые лепестки неведомого цветка, кружась, падали в лесном полумраке.

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЕЙШИЙ УСКОРИТЕЛЬ

ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА

ЦВЕТЕНИЕ СТРАННОЙ ОРХИДЕИ

БОГ ДИНАМО

М. Веллер

ИСПЫТАТЕЛИ СЧАСТЬЯ

Г. Уэллс

ЧУДОТВОРЕЦ


СОВРЕМЕННИКИ И КЛАССИКИ
М. ВЕЛЛЕР
Испытатели счастья


М. ВЕЛЛЕР
Испытатели счастья
СОВРЕМЕННИКИ
И
КЛАССИКИ